Уильям Фолкнер

Свет в августе



Свет в августе

Уильям Катберт Фолкнер

Аннотация
Уильям Фолкнер. Свет в августе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Аннотация

Американский Юг – во всей его болезненной, трагической и причудливой прелести. В романе «Свет в августе» кипят опасные и разрушительные страсти, хранятся мрачные семейные секреты, процветают расизм и жестокость, а любовь и ненависть достигают поистине античного масштаба…

Уильям Фолкнер
Свет в августе

William Faulkner
LIGHT IN AUGUST

© William Faulkner, 1932
© Перевод. В. Голышев, 2009
© ООО Издательство «АСТ МОСКВА», 2009

* * *

1

Сидя у дороги, глядя, как поднимается к ней по косогору повозка, Лина думает: «Я пришла из Алабамы; путь далекий. Пешком из самой Алабамы. Путь далекий». Думает *меньше месяца в пути, а уже в Миссисипи, так далеко от дома еще не бывала. И от Доуновой лесопилки так далеко не бывала с двенадцати лет*

Она и на Доуновой лесопилке не бывала, пока не умерли отец с матерью, хотя раз по шесть, по восемь в году, по субботам, ездила в город — на повозке, в платье, выписанном по почте, босые ноги поставив на дно, туфли, завернутые в бумагу, положив рядом с собой под сиденье. В туфли обувалась перед самым городом. А когда подросла, просила отца остановить повозку на окраине, слезала и шла пешком. Отцу не говорила, почему хочет идти, а не ехать. Он думал — потому что улицы гладкие, тротуары. А Лина думала, что, если она идет пешком, люди принимают ее за городскую.

Отец с матерью умерли, когда ей было двенадцать, — в одно лето, в рубленом доме из трех

комнат и передней, без сеток на окнах, в комнате, где вокруг керосиновой лампы вилась мошкара, а пол был вылощен босыми пятками, как старое серебро. Она была младшей из детей, оставшихся в живых. Мать умерла первой. Она сказала: «За папой ухаживай». Лина ухаживала. Однажды отец сказал: «Поедешь на Доунову лесопилку с Мак-Кинли. Собирайся, чтобы к его приезду была готова». И умер. Мак-Кинли, ее брат, приехал на повозке. Отца похоронили днем, в роще за деревенской церковью, и поставили сосновое надгробье. Утром она уехала навсегда — хотя, может быть, и не понимала этого — на повозке, с Мак-Кинли, на Доунову лесопилку. Повозка была чужая, брат обещал вернуть ее к ночи.

Брат работал на лесопилке. Все мужчины в деревне работали на лесопилке или при ней. Резали сосну. Резали уже семь лет и еще через семь должны были извести весь окрестный лес. Тогда часть оборудования и большинство людей, работавших на нем и существовавших благодаря ему и для него, погрузятся в товарные вагоны и уедут. Но часть оборудования останется — потому что новое всегда можно купить в рассрочку, — и уныло застывшие колеса, поражая взор, будут торчать над курганами битого кирпича

и жестким бурьяном, и выпотрошенные котлы упрямо, смущенно, озадаченно будут топорщить свои ржавые бездымные трубы над пнистой панорамой немой и мирной пустоши, непаханой, необороненой, в красных язвах буераков, прорытых тихими мокрыми дождями осени и бешеными косохлестами весенних равноденствий. И тогда иссосанные глистами самозваные наследники, растаскивая дома и сжигая их в плитах и очагах, не вспомнят самого названия деревни, которая и в лучшие дни не значилась в анналах почтового ведомства.

Когда приехала Лина, в деревне оставалось семей пять. Была там железнодорожная колея и станция, и раз в день товаропассажирский с воплем проносился мимо. Поезд можно было остановить красным флагом, но обычно он возникал из разоренных холмов внезапно, как привидение, и, лешим взвыв, — мимо недодеревеньки, стороной, как мимо потерянной бусины, когда порвалась нитка. Брат был двадцатью годами ее старше. Когда он забирал ее к себе, она его почти не помнила. Он жил в четырехкомнатном некрашеном доме с женой, изношенной от труда и родов. Чуть ли не по полгода в году невестка Лины либо ходила на сносях, либо оправлялась

после родов. В это время Лина делала всю работу по дому и смотрела за другими детьми. После она говорила себе: «Потому, видно, и сама так быстро обзавелась».

Спала в пристройке, в задней части дома. Там было окно, которое она научилась бесшумно отворять в темноте — потому что в пристройке спали, кроме нее, сперва старший племянник, потом двое старших, потом трое. Впервые открыла окно на девятом году своей жизни у брата. Она и открыть-то его успела всего раз десять, когда обнаружила, что его вообще не следовало открывать. Сказала себе: «Такое, видно, мое счастье».

Невестка сказала брату. Тут только он заметил, что она округлилась, а мог бы заметить и раньше. Он был суровый человек. Добродушие, мягкость, молодость (а было ему сорок только) и почти все остальное, кроме упрямой, безнадежной стойкости да угрюмой родовой гордости, вышло из него с потом. Он обозвал ее проституткой. Он угадал виновника (молодых холостяков, — а опилочных донжуанов и подавно, — насчитывалось еще меньше, чем семей в деревне), но она не признавалась, хотя виновник отбыл полгода назад. Она твердила только:

«Он меня вызовет. Он сказал, что вызовет меня», — непоколебимо, по-овечьи, черпая из тех запасов терпеливой прочной верности, на которые рассчитывает каждый Лукас Берч — не имея, впрочем, намерения оказаться под рукой, когда в этом будет нужда. Двумя неделями позже она снова выбралась через окно. Теперь это далось нелегко. «Было бы раньше так трудно, небось бы теперь не пришлось вылезать», — подумала она. Она могла бы уйти через дверь, днем. Никто бы ее не удерживал. Может быть, она это понимала. Но предпочла — ночью, через окно. С ней был веер из пальмовых листьев и другие пожитки, аккуратно увязанные в платок. В узелке лежали, среди прочего, тридцать пять центов — пяти– и десятицентовыми монетами. Башмаки на ней были братнины — его подарок. Поношены самую малость — никто из них летом башмаков не носил. Почувствовав под ногами дорожную пыль, она сняла башмаки и понесла в руках.

Так шла она вот уже почти месяц. Четыре недели пути и в сознании отпечатавшееся *далёко* — как мирный коридор, вымощенный крепкой, спокойной верой, населенный добрыми безымянными лицами и голосами: *Лукас Берч? Не знаю. Чтоб где-нибудь поблизости такой*

жил — не слыхал. Дорога эта? В Покахонтас. Может, он там. Может быть. Вон повозка в ту сторону. До места — не до места, а всё подвезет — и вот разматывается позади длинная однообразная череда мирных и неукоснительных смен дня и тьмы, тьмы и дня, сквозь которые она тащилась в одинаковых, неведомо чьих повозках, словно сквозь череду скрипоколесных вялоухих аватар: вечное движение без продвижения на боку греческой вазы.

Повозка поднимается к ней по косогору. Лина миновала ее милю назад. Повозка стояла у дороги, мулы спали в постромках, головой в ту сторону, куда шла она. Лина увидела повозку, увидела за забором у сарая двух мужчин на корточках. Только раз взглянула на повозку и мужчин, один лишь взгляд кинула — емкий, быстрый, простодушный и проницательный. Она не остановилась, скорей всего мужчины за забором даже не заметили, как она взглянула на них и на повозку. Она не оглядывалась. И, скрывшись из виду, продолжала идти, ступая медленно в расшнурованных башмаках, пока не взошла на пригорок в миле от них. Там она села на краю неглубокой канавы, свесила ноги, сняла башмаки. Немного погодя услышала повоз-

ку. Сперва ее было слышно. Потом стало видно, как она поднимается по косогору.

Лениво и сухо скрипит и громыхает немазаное, рассохшееся дерево и металл: трескучие оглушительные раскаты разносятся за полмили над знойной мореной одурью и безмолвием августовского дня. Мулы плетутся мерно, в глубоком забытьи, но повозка словно не движется с места. До того ничтожно ее перемещение, что кажется, она замерла навеки, подвешена на полпути — невзрачной бусиной на рыжей шелковине дороги. До того, что устремленный на нее взгляд не может удержать ее образа, и зримое дремотно плывет, сливается, как сама дорога с ее мирным однообразным чередованием дня и тьмы, как нить, уже отмеренная и вновь наматываемая на катушку. До того, наконец, что кажется, будто этот вялый оглушительный звук ничего собой не означает и доносится из какого-то пустячного, ерундового места, отдаленного больше чем расстоянием: морок, блуждающий в полумиле от собственных очертаний. «Так далеко слыхать, когда самой еще не видать», — думает Лина. Думает о себе так, словно опять едет — думает *все равно как ехала полмили до того, как влезла в повозку — до того, как повозка подъехала к ме-*

сту, где я ждала, а потом, когда слезу с повозки, она полмили все равно как со мной будет ехать. Ждет, уже не следя за повозкой, а мысль течет досуже, быстро, плавно, полная безымянных добрых лиц и голосов: *Лукас Берч? Спрашивала, говоришь, в Покахонтасе? Эта дорога? В Спрингвейл. Обожди тут. Скоро повозка будет в ту сторону, докуда едет — подвезет.* Думает: «А если он до самого Джефферсона едет, Лукас меня услышит прежде, чем увидит. Повозку услышит, а не догадается. Так что одну услышит прежде, чем увидит. А потом увидит меня и разволнуется. И двоих увидит прежде, чем вспомнит».

Сидя на корточках в тени конюшни Уинтерботома, Армстид и Уинтерботом видели, как она прошла по дороге. Они сразу увидели, что она молодая, беременная и нездешняя.

— Интересно, откуда это у ней живот, — сказал Уинтерботом.

— Интересно, издалека ли она его несет, — сказал Армстид.

— Видать, навещала кого-то в той стороне, — сказал Уинтерботом.

— Да нет, видать. А то бы я слышал. И там, в моей стороне, никого у ней нет. Тоже слышал бы.

— Видать, не просто так гуляет, — сказал Уин-

терботом. — Не такая у ней походка.

— Не долго ей одной гулять, будет ей попутчик, — сказал Армстид. Женщина уже удалялась — медленно, со своей набрякшей очевидной ношей. Она словно бы даже не взглянула на них, когда проходила мимо — в выгоревшем синем балахоне, с пальмовым веером и узелком в руках. — Не из ближних мест идет, — сказал Армстид. — Ишь как потопывает — верно, порядком отшагала и еще шагать да шагать.

— Видать, навещала кого-то в наших краях, — сказал Уинтерботом.

— Да нет, пожалуй. Я бы слышал, — сказал Армстид. Женщина шла. Не оглядывалась. И медленно ушла из виду — налитая, обстоятельная, неутомимая, как сам набирающий силу день. Ушла и из их беседы, и, может быть, даже — из их сознания. Ибо, чуть подождав, Армстид сказал то, что надумал сказать. Он уже дважды заявлялся сюда — приезжал за пять миль на повозке и с бесконечной неторопливостью и уклончивостью своего племени по три часа сидел на корточках в тени сарая и поплевывал — для того чтобы сказать это. Предложить Уинтерботому цену за культиватор, который Уинтерботом хотел продать. И вот Армстид посмотрел на солнце

и предложил цену, которую предложить задумал, лежа в постели три дня назад. — Я знаю одного в Джефферсоне, который отдаст за такую цену, — сказал он.

— Так ведь брать надо, — сказал Уинтерботом. — Дешевка-то какая.

— Ну да, — сказал Армстид. Сплюнул. Снова посмотрел на солнце и встал. — Да-а, видать, домой пора собираться.

Он влез в повозку и разбудил мулов. Вернее, привел их в движение — потому что только негр поймет, спит мул или проснулся. Уинтерботом дошел с ним до забора и облокотился на верхнюю слегу.

— Да, брат, — сказал он. — За такие деньги я сам бы взял. А ты не возьмешь — провалиться мне, коли я сам его не куплю за такую цену. А не хочет ли тот хозяин пару мулов своих отдать за пятерку? Нет?

— Ну да, — говорит Армстид. Он правит; повозка предалась уже ленивому, перемалывающему мили громыханию. Он тоже не оглядывается. Но и вперед, должно быть, не смотрит — потому что женщины, сидящей в канаве у дороги, не видит до тех пор, пока повозка не вползает почти на самый верх. В тот миг, когда он узнаёт

синее платье, он не может понять, заметила ли она вообще повозку, и уж совсем никому не понять, взглянул ли он сам на нее хоть раз, когда без малейших признаков перемещения они медленно приближались друг к другу по мере того, как оглушительно вползала на косогор повозка в ауре тягучей, осязаемой дремы и рыжей пыли, по которой лунатически мерно ступали мулы, изредка позвякивая сбруей, вяло прядая заячьими ушами — и по-прежнему ни спят ни бодрствуют, когда он наконец натягивает вожжи.

Из-под блекло-синего чепца, полинявшего не от воды и мыла, она смотрит спокойно и любезно — молодая, миловидная, бесхитростная, доброжелательная и живая. Она еще не шевельнулась. Под балахоном того же блекло-синего цвета тело ее грузно и неподвижно. Веер и узелок лежат на коленях. Она без чулок. Босые ступни на дне канавы — сдвинуты. Жизни в них ничуть не больше, чем в тяжелых, пыльных мужских башмаках, которые стоят рядом. В замершей повозке сидит Армстид, сутулый, с выцветшими глазами. Он видит, что кромка веера обшита тем же блекло-синим, что на чепце и платье.

— Далеко ли идешь? — спрашивает он.

— Да вот, хотела засветло еще малость прой-

ти, — отвечает она. Она встает и поднимает башмаки. Медленно и неторопливо выбирается на дорогу, идет к повозке. Армстид не спускается на землю, чтобы помочь. Только удерживает мулов, пока она грузно перелезает через колесо и кладет башмаки под сиденье. Повозка трогается.

— Спасибо вам, — говорит она. — Уморилась — на ногах-то.

Кажется, Армстид и не посмотрел на нее ни разу открыто. Однако он уже заметил, что обручального кольца у нее нет. Теперь он на нее не смотрит. Повозка снова предается ленивому громыханию.

— Издалека ли идешь? — спрашивает он.

Она переводит дух. Это даже не вздох, а спокойный выдох — как бы спокойного изумления.

— А и впрямь конец немалый. Я иду из Алабамы.

— Из Алабамы? С этакой тяжестью? Где же семья твоя?

Она тоже на него не смотрит.

— Думаю встретить его где-нибудь там. Может, вы его знаете. Зовут его Лукас Берч. Тут по дороге говорили, в Джефферсоне он, на строгальной фабрике работает.

— Лукас Берч. — Армстид произносит имя почти тем же тоном. Они сидят рядышком на продавленном сиденье со сломанными пружинами. Ему видны ее руки, сложенные на коленях, и профиль под чепцом; он видит их краем глаза. Она, должно быть, следит за проселком, стелющимся между вялыми ушами мулов. — И ты всю дорогу сама, пешком прошла, за ним охотясь?

Она отвечает не сразу. Наконец говорит:

— Люди все добрые попадались. Такие добрые люди.

— И бабы, что ли? — Украдкой смотрит на ее профиль и думает *не знаю, что Марта скажет* думает: «Пожалуй, знаю, что Марта скажет. Бабы, они не так чтобы очень добрые, а скорей хорошие. Мужчина — он может быть. А баба — только плохая добра будет к другой бабе, которая в доброте нуждается», думает *Как же. Знаю, знаю я, что Марта скажет*

Она сидит на краешке неподвижно; профиль неподвижен, щека.

— Прямо удивительно, — говорит она.

— Что идет по дороге незнакомая девушка, в положении, — и люди догадываются, что муж ее бросил? — Она не шевелится. Теперь повозка подчинена какому-то ритму, ее немазаное заму-

ченное дерево сжилось с ленивым днем, дорогой, зноем. — И собираешься его тут найти.

Она не шевелится — наверно, следит за медленным бегом дороги между ушами мулов; даль, должно быть, дорогой прорезана, резка.

— Думаю, что найду. Дело немудреное. Он будет там, где больше всего народу собирается, где смеются и балагурят. Он всегда был до этого охотник.

Армстид крякнул — грубо, со злобой.

— Но-о, заснули там! — говорит он, и себе говорит — уже подумав, еще не произнося: «Найдет ведь. Спохватится парень, что маху дал, когда остановился по эту сторону от Арканзаса — или Техаса, для надежности».

Солнце клонится к западу, час ему до горизонта, до коротких летних сумерек — час. Они на развилке; в сторону отходит дорожка еще тише и глуше этой.

— Приехали, — говорит Армстид.

Женщина сразу оживает. Она наклоняется и подбирает башмаки — видимо, не хочет даже надевать их в повозке, чтобы его не задерживать.

— Большое вам спасибо, что подвезли, — говорит она.

Повозка снова остановилась. Женщина готовится слезть.

— Если и доберешься к закату до лавки Варнера, все равно оттуда еще двенадцать миль до Джефферсона, — говорит Армстид.

Она с трудом удерживает башмаки, узелок и веер в одной руке, чтобы опереться другой, когда будет слезать.

— Пойду-ка я, пожалуй, — говорит она.

Армстид к ней не прикасается.

— Поехали, заночуешь у меня, — говорит он, — там хоть бабы… женщина тебе… если что. С утра первым делом отвезу тебя к Варнеру, а там, глядишь, кто-нибудь тебя прихватит. В субботу всегда кто-нибудь в город едет. Не убежит он от тебя за ночь-то. Коли есть он в Джефферсоне, так и завтра там будет.

Она сидит не шевелясь, все пожитки — в одной руке, чтобы удобнее было слезать. Смотрит вперед, куда убегает змейкой дорога, разлинованная косыми тенями.

— Несколько дней у меня еще есть, пожалуй.

— Ну да. Времени у тебя вдоволь. Только попутчик у тебя появится с часу на час — который ходить не умеет. Поехали ко мне. — Он пускает мулов, не дожидаясь ответа. Повозка сворачива-

ет на малоезжую дорогу. Женщина опускается на сиденье, но по-прежнему держит веер, узелок, башмаки.

— Я не обременю, — говорит она. — Хлопот со мной не будет.

— Ну да, — говорит Армстид. — Поехали со мной. — Впервые мулы идут резво по своей воле. — Корм почуяли, — говорит Армстид, размышляя: «Вот они, бабы. Сама же первая дорогу перебежит своей сестре, а сама гуляет по общественной земле, одна, без всякого стеснения, потому что знает — люди, мужики, ее пожалеют. До баб ей дела нет. Небось не баба ей вчинила — это, чего она и хлопотами не желает назвать. Да, их сестре дай только замуж выйти или так, без мужа, схлопотать — и сей же час из бабьего роду и племени она выходит и до самой смерти старается к мужскому роду примкнуть. Через это и к табаку их тянет, курить либо нюхать, через это и голосовать им подавай».

Когда повозка проезжает мимо дома к сараю, его жена наблюдает за ними из передней двери. Он в ее сторону не смотрит: и так знает, что должна там стоять, что стоит. «Да, — думает он с язвительной иронией, заворачивая мулов в распахнутые ворота, — знаю, знаю я, что она

скажет. Мудрено не знать». Он останавливает мулов; ему не надо оглядываться — и так знает, что жена уже на кухне, уже не наблюдает за ними, просто ждет. Он останавливает мулов.

— Ступай в дом, — говорит он; он уже на земле, а женщина слезает, медленно и все так же вдумчиво, прислушиваясь к чему-то в себе. — Ежели встретишь кого — это Марта. Я скотину накормлю и приду. — Он не смотрит, как она идет через двор к кухне. Ему незачем смотреть. Шаг за шагом вместе с ней он подходит к кухонной двери и наталкивается на взгляд женщины, которая смотрит на кухонную дверь точно так же, как смотрела на повозку из передней двери. «Знаю, знаю я, что она скажет», — думает он.

Он распрягает мулов, поит их, ставит в стойла, задает корму, впускает с выгона коров. Потом идет на кухню. Она еще тут — седая женщина с неприветливым, суровым, раздраженным лицом, за шесть лет родившая пятерых детей и воспитавшая из них мужчин и женщин. Она занята делом. Он на нее не смотрит. Подходит к раковине, наливает из ведра в таз и закатывает рукава.

— Ее фамилия Берч, — говорит он. — То есть так якобы парня зовут, которого она ищет. Лукас

Берч. По дороге ей говорили, будто он теперь в Джефферсоне. — Он начинает мыться, к ней спиной. — Пришла из самой Алабамы, говорит, — одна и пешим ходом.

Хозяйка не оглядывается. Она возится у стола.

— Недолго ей так ходить — в Алабаму свою с прибавлением явится, — говорит она.

— Да небось и к парню этому, к Берчу. — Армстид возится у раковины — очень занят водой и мылом. Он чувствует ее взгляд на себе — на затылке, на спине, сквозь вылинявшую от пота голубую рубашку. — У Самсона ей говорили, будто парень по фамилии Берч, или наподобие того, работает на строгальной фабрике в Джефферсоне.

— И она надеется его там найти. Ждет ее не дождется. И дом уж, поди, обставил.

Он не может понять по ее голосу, смотрит она на него или отвернулась. Он вытирается распоротым мешком.

— Может, и найдет. Ежели он сбежать от нее думал — ох и спохватится парень, что оплошал, когда не оставил промеж себя и ее Миссисипи. — А теперь он знает, что она глядит на него: седая, не толстая и не тощая, закаленная, как мужчина, закаленная работой, в прочном сером платье,

носимом без жалости и заботы, — руки уперты в бока, лицо — как у генералов, разбитых в бою.

— Эх, мужики.

— Что с ней прикажешь делать? Прогнать? Или в сарае положить?

— Мужики, — говорит она. — Мужики проклятые.

Они входят на кухню, миссис Армстид — первой. Она идет прямо к плите. Лина останавливается возле двери. Голова ее теперь непокрыта, волосы гладко зачесаны. Даже синий балахон на ней как будто посвежел и отдохнул. Она смотрит на хозяйку — та гремит чугунными конфорками и ожесточенно, с маху, по-мужски набивает дровами топку.

— Можно, я помогу? — говорит Лина.

Миссис Армстид не оборачивается. Она свирепо хлопает дверцей.

— Сиди уж. Ногам дай отдых — глядишь, и спина отдохнет.

— Я буду вам очень благодарна, если вы позволите помочь.

— Сиди уж. Тридцать лет затапливаю, по три раза на дню. Прошло то время, когда мне помощь требовалась. — Она хлопочет у плиты, не оглядывается. — Армстид говорит, твоя фамилия Берч?

— Да, — отвечает Лина. Тон у нее очень степенный, голос очень тихий. Она сидит не шевелясь, руки на коленях неподвижны. Миссис Армстид на нее не оглядывается. Она еще занята у плиты. Внимание, которого требует печь, не вяжется с той ожесточенной решительностью, с которой ее разжигали. Внимание к ней такое, словно это дорогие часы, а не печь.

— Стало быть, твоя фамилия уже Берч? — спрашивает миссис Армстид.

Молодая отвечает не сразу. Миссис Армстид уже не гремит у печки, хотя по-прежнему стоит спиной к Лине. Наконец она оборачивается. Они глядят друг на друга без утайки, наблюдают друг друга: молодая — на стуле, причесана гладко, руки на коленях неподвижны; старшая — тоже замерла, отвернувшись от плиты, седые волосы безжалостно скручены на затылке, лицо словно вытесано из песчаника. Наконец молодая говорит:

— Я вам сказала неправду. Моя фамилия еще не Берч. Меня зовут Лина Гроув.

Они глядят друг на друга. Голос хозяйки ни холоден, ни ласков. Он не выражает ничего.

— Стало быть, хочешь догнать его, чтобы твоя фамилия вовремя сделалась Берч. Так, что ли?

Лина смотрит вниз, словно разглядывая свои руки на коленях. В ее тихом голосе — упорство. Но и безмятежность.

— Мне ведь от Лукаса обещаний не нужно. Так уж вышло нескладно, что ему пришлось уехать. А приехать за мной, как он задумал, — видно, не получилось. А слово друг другу давать — нам незачем. Той ночью, когда узнал он, что должен ехать, он…

— Какой же это ночью он узнал? Когда ты ему про ребенка сказала?

Молодая отвечает не сразу. Лицо у нее невозмутимо, как камень, но без жесткости. В ее упорстве — что-то мягкое, оно освещено изнутри тихим, бездумным покоем, отрешенностью. Миссис Армстид наблюдает за ней. Лина начинает рассказывать, не глядя на хозяйку:

— Он еще задолго до этого узнал, что ему, наверно, придется уволиться. Только мне не говорил, потому что не хотел огорчать. А когда он в первый раз услыхал, что ему, наверно, придется уволиться, он понял, что лучше уехать, — может, на новом месте мастер не будет к нему цепляться и ему будет легче продвинуться. Но все откладывал. А когда уж это самое случилось, откладывать стало нельзя. А мастер к Лукасу цеп-

лялся, невзлюбил его, потому что Лукас молодой и никогда не унывает, а мастер хотел устроить на его место своего родственника. А он от меня скрывал, не хотел огорчать. А уж когда это самое случилось, нам больше нельзя было ждать. Я ему сама велела ехать. Он сказал, я останусь, если скажешь, пускай его придирается. А я ему сказала — ехай. А он все равно не хотел ехать, даже после этого. А я сказала — ехай. Только весточку пришли, когда сможешь меня принять. Да вот не получилось у него вызвать меня вовремя, как он хотел. Ведь на новом месте устроиться, среди чужих — молодому время нужно. Он-то этого не знал, когда уезжал, не знал, что устроиться — больше времени нужно, чем он думал. А в особенности — парню вроде Лукаса, если он такой живой и компанию любит и повеселиться, и ему в компании тоже рады. Не знал, что у него больше времени уйдет, чем он думал, — и сам молодой, и люди льнут к нему, потому что охотник посмеяться и побалагурить, от работы отвлекают, а ему невдомек, ему людей обижать неохота. Да и я хотела, чтобы он погулял напоследок — ведь для парня молодого, веселого женатая жизнь — не то что для женщины: для парня молодого, веселого она ох как долго

тянется. Неправильно я говорю?

Миссис Армстид не отвечает. Она разглядывает сидящую на стуле женщину, ее гладкую прическу, неподвижные руки на коленях, кроткое задумчивое лицо.

— Он уж, верно, послал мне весточку, только она по дороге потерялась. Отсюда до Алабамы — и то путь неблизкий, а ведь до Джефферсона — еще идти. Я ему сказала, что письма от него не жду — письма-то писать он не мастер. «Ты мне устным словом, — говорю, — передай, когда принять меня сможешь. Я буду ждать». Сперва, конечно, — как он уехал, — я немного волновалась, что фамилия моя еще не Берч, а брат со своей семьей не так хорошо знают Лукаса, как я. Откуда им знать? — На лице ее медленно появляется кроткое и радостное удивление — как будто в голову ей пришел ответ на вопрос, о самом существовании которого она до сих пор не подозревала. — Ну, правда, откуда было знать? А ему сперва надо было устроиться, вся трудность-то на него легла — среди чужих жить, а у меня забот никаких — только ждать, покуда он со всеми заботами и трудностями сладит. А уж после — надо было о ребенке думать, а не о фамилии своей, да о том, что люди скажут. А слово

друг другу давать — нам с Лукасом незачем. Там какая-то неожиданность случилась, или, может, он послал мне весточку, а она потерялась по дороге. Так что решила я двигаться и больше не ждать.

— Откуда же ты знала, в какую сторону идти, когда в путь пустилась?

Лина рассматривает свои руки. Теперь они движутся — сосредоточенно собирают подол в складки. Робости, смущения в этом нет. Кажется, что это — непроизвольное движение самой задумчивой руки.

— А спрашивала. Лукас — парень молодой, веселый, с людьми сходится легко и скоро — я и думаю, где он побывал, там люди его запомнят. Ну, и спрашивала. Люди очень хорошо относились. И правда, третьего дня мне сказали на дороге, что он в Джефферсоне, работает на строгальной фабрике.

Миссис Армстид разглядывает склоненное лицо. Она подбоченилась и наблюдает за молодой бесстрастно, с холодным презрением.

— Думаешь, он там будет, когда ты явишься? Это если он вообще там был. Услышит, что ты с ним в одном городе, и до вечера там усидит?

Потупленное лицо Лины спокойно, серьезно.

Ее рука остановилась. Теперь она лежит на коленях спокойно, словно умерла там. Голос звучит ровно, невозмутимо, упрямо.

— Я думаю, семья должна быть вместе, когда рождается ребенок. В особенности — первый. Я думаю, Господь об этом позаботится.

— Да уж, вижу, без Него не обойтись, — грубо, в сердцах произносит миссис Армстид. Армстид лежит в постели, подперев голову, и смотрит поверх изножья, как она, еще одетая, склоняется под лампой к комоду и остервенело роется в ящике. Она достает металлическую шкатулку, отпирает висящим на груди ключом, вынимает оттуда полотняный мешочек, открывает его и вытаскивает фарфорового петуха со щелью в спине. Когда она опрокидывает и яростно трясет его над крышкой комода, в нем брякают монеты и редко, нехотя выскакивают по одной из щели. Армстид наблюдает за ней с кровати.

— Ты что это надумала делать с яичными деньгами на ночь глядя?

— Мои деньги — что хочу, то и делаю. — Она наклоняется к свету, лицо у нее сердитое, злое. — Небось я их растила, мучилась. Ты и пальцем не шевельнул, видит Бог.

— Ну да, — говорит он. — Не сыщется в стране

у нас человека, чтобы кур у тебя оспорил — вот опоссум разве да змея. И банк твой петушачий, — добавляет он. Потому что, нагнувшись внезапно, она срывает с ноги туфлю и одним ударом разносит копилку вдребезги. С кровати, рукой подпершись, наблюдает Армстид, как она выбирает из осколков последние монеты и кидает их с остальными в мешочек и с яростной решимостью завязывает его и перевязывает — узлом, тремя, четырьмя.

— Ей отдашь, — говорит она. — Как солнце встанет, запрягай и вези ее отсюда. Вези хоть до самого Джефферсона, если не лень.

— Пожалуй, от лавки Варнера ее и без меня подвезут, — отвечает он.

Миссис Армстид поднялась до зари и приготовила завтрак. Когда Армстид вернулся с дойки, стол был накрыт.

— Поди скажи ей, чтобы есть шла, — велела миссис Армстид.

Когда он привел Лину, хозяйки на кухне не было. Замявшись на пороге — да почти и не замявшись, — Лина окинула взглядом кухню; лицо ее было сложено для улыбки, для речи — заготовленной речи, понял Армстид. Но она ничего не сказала; заминка даже не была заминкой.

— Есть давай да поехали, — сказал Армстид. — Тебе еще порядком добираться. — Он наблюдал, как она ест — прилежно, с тем же чинным спокойствием, что и вчера за ужином, хотя сегодня оно подпорчено вежливой, даже слегка нарочитой умеренностью. Потом он протянул ей мешочек. Она приняла его с удовольствием, но без особого удивления.

— Ой, я ей очень благодарна, — сказала она. — Только они мне не понадобятся. Я уж почти добралась.

— Ты возьми все-таки. Заметила небось — если Марта что задумала, ей лучше не перечить.

— Я очень благодарна, — сказала Лина. Она спрятала деньги в свой узелок и надела чепец. Повозка ждала их. Когда они поехали по дорожке, она оглянулась на дом. — Я вам всем очень благодарна.

— Это она, — сказал Армстид. — Кажись, моих заслуг тут нету.

— Все равно я очень благодарна. Вы уж попрощайтесь с ней за меня. Я надеялась сама ее увидеть, да…

— Ага, — сказал Армстид. — Она там где-нибудь, наверно, по хозяйству. Я ей передам.

К лавке они подъехали рано утром, а там уже

сидели на корточках мужчины, плевали через обглоданное каблуками крыльцо и смотрели, как она медленно, осторожно слезает с сиденья повозки, держа узелок и веер. И опять Армстид не шевельнулся, чтобы ей помочь. Он сказал сверху:

— Это, стало быть, мисс Берч. Ей надо в Джефферсон. Если кто туда нынче едет и захватит ее, она будет очень благодарна.

В тяжелых пыльных башмаках она встала на землю. Посмотрела на него снизу — спокойно, безмятежно.

— Я вам очень благодарна.

— Ну да, — сказал Армстид. — Теперь, надо думать, ты до города доберешься. — Он смотрел на нее сверху. И, настороженно прислушиваясь к тому, как язык с бесконечной нерасторопностью подбирает слова, молча и быстро думал, едва успевая за мыслью *Мужик. Всякий мужик. Сто случаев сделать добро упустит ради одного случая встрять, куда его встревать не просят. Прозевает какой угодно случай, проворонит любую возможность — богатства, почета, благого дела, а то и злодейства даже. Но случая встрять не упустит* Потом язык нащупал слова, и он услышал их с не меньшим, наверное, изумлени-

ем, чем Лина: «Только я бы не очень надеялся… полагался на…» — думая *Не слушает она. Если бы она могла услышать такие слова, не вылезала бы она сейчас из этой повозки, с пузом своим, да с узелком, да с веером, одна не тащилась бы в город, которого сроду не видела, не гналась бы за парнем, которого ей вовек не увидеть, которого и раз-то увидеть — оказалось больше, чем надо* «…а если вертаться будешь этой дорогой, все равно когда — завтра ли, нынче вечером…»

— Теперь, я думаю, все наладится, — ответила она. — Мне сказали, он в Джефферсоне.

Он повернул повозку и поехал домой — сутулый, с выцветшими глазами; он сидел на продавленном сиденье и думал: «Бесполезный разговор. Чужим словам, своим ушам не поверит, как не верит тому, что люди думают вокруг нее вот уже… Четыре недели, — она сказала. Как сейчас не чует и не верит. Сидит там на верхней ступеньке, руки на коленях, а они вокруг на корточках и плюют мимо нее на дорогу. И не ждет ведь, пока ее спросят, сама рассказывает. По своей воле рассказывает про этого чертова парня, словно ей и нечего особенно скрывать или рассказывать — даже когда Джоди Варнер или кто из них скажет, что этого парня на деревообде-

лочной в Джефферсоне зовут не Берч, а Банч. Это ее тоже не беспокоит. А ведь она, пожалуй, еще больше Марты знает — как она вчера Марте сказала? Господь позаботится, чтобы все было по справедливости».

Двух вопросов оказалось достаточно. И, сидя на верхней ступеньке, узелок и веер держа на коленях, Лина снова рассказывает свою повесть, с дословными повторами упорной и прозрачной детской лжи, а мужчины в комбинезонах, сидя на корточках, тихо слушают ее.

— Этого парня фамилия Банч, — говорит Варнер. — Он уже лет семь работает на фабрике. Почем ты знаешь, что и Берч твой там?

Она смотрит на дорогу, туда, где Джефферсон. Смотрит спокойно, выжидательно, чуть отрешенно, но раздумья во взгляде нет.

— Наверное, там. На строгальной этой фабрике. Лукас всегда любил развлечения. Тихая жизнь не по нем. Потому-то ему и не нравилось на Доуновой лесопилке. Потому он… мы и решили сменить место — ради денег и развлечений.

— Ради денег и развлечений, — говорит Варнер. — Этот молодец не первый увильнул от дела, для которого родился на свет, и от тех, кто положился на него в этом деле, — ради денег

и развлечений.

Но она, очевидно, не слушает. Она тихо сидит на верхней ступеньке и смотрит на пустую дорогу, за поворот, откуда она изволоком убегает к Джефферсону. Мужчины сидят на корточках у стены, смотрят на ее покойное, безмятежное лицо и думают — как думал Армстид и продолжает думать Варнер, — что на уме у нее мерзавец, который бросил ее в беде и которого она, наверно, больше не увидит — разве что полы его пиджака, развевающиеся от бега. «А может, она про эту, как ее, Слоунову, Боунову лесопилку думает, — говорит себе Варнер. — Ведь и дурочке, поди, не обязательно забираться так далеко, в Миссисипи, чтобы понять, что новое место немногим отличается и не намного лучше будет того места, откуда она сбежала. Даже если тут нет брата, которому не по нутру ее ночные гулянки», — думает. *А я бы так же, как брат, поступил, и отец ее поступил бы так же. Матери у нее нет, потому что отцова кровь ненавидит с любовью и гордостью, а материнская — с ненавистью любит и сожительствует*

А она об этом и не думает. Она думает о монетах, спрятанных в узелке у нее под руками. Она вспоминает завтрак и думает, что хоть

сейчас может войти в лавку и купить сыру и печенья, а если пожелает — и сардин. У Армстида она выпила только чашку кофе с куском кукурузного хлеба — больше ничего, хотя Армстид ее угощал. «Вежливо кушала», — думает она, держа руки на узелке, где у нее спрятаны монеты, вспоминая эту единственную чашку кофе и деликатный ломтик диковинного хлеба; думает с горделивым спокойствием: «Как дама кушала. Как дама-путешественница. А теперь и сардин могу купить, если пожелаю».

И вот, хотя кажется, что она созерцает отлогий подъем дороги, а мужчины, сидя на корточках, поплевывая и поглядывая на нее, украдкой думают, что мысли ее заняты Лукасом и приближающимся событием, на самом деле она тихо противится извечным предостережениям земли, чьим промыслом, милостью и бережливым уставом она живет. На этот раз она не подчиняется. Она встает и, двигаясь осторожно, немного неуклюже, преодолевает артиллерийский рубеж мужских глаз и входит в лавку; приказчик — за нею следом. «Возьму и куплю, — думает она, уже попросив сыру и печенья, — возьму и куплю», — а вслух говорит:

— …И коробку сардин. — Она называет их «сыр-

динами». — Коробку за десять центов.

— За десять центов сардин не имеем, — отвечает приказчик. — Сардины пятнадцать центов. — Он тоже именует их «сырдинами».

Она раздумывает.

— А какие у вас есть банки за десять центов?

— С ваксой, больше никаких. Думается, такого вам не надо. Для питания то есть.

— Ну что ж, тогда за пятнадцать возьму. — Она развязывает узелок и мешочек. Распутать узлы удается не сразу. Но она терпеливо развязывает их, один за другим, платит, снова завязывает мешочек и узелок и забирает покупки. Когда она выходит на крыльцо, у ступенек стоит повозка. В ней сидит человек.

— Он едет в город, — говорят ей. — Он тебя подвезет.

Лицо ее оживляется — безмятежно, медленно, благодарно.

— Ой, спасибо вам большое, — говорит она.

Повозка едет медленно, равномерно, словно здесь, среди безлюдных солнечных просторов, не существует ни времени, ни спешки. От лавки Варнера до Джефферсона — двенадцать миль.

— Приедем туда к обеду? — спрашивает она.

Возница сплевывает.

— Может, и приедем.

Он как будто ни разу не взглянул на нее — даже когда она влезала в повозку. И она на него как будто не взглянула ни разу. Не смотрит и сейчас.

— Вы небось часто в Джефферсон ездите.

Он говорит:

— Случается.

Скрипит повозка. Неотступно маячат где-то на полпути леса и поля — застывшие и вместе с тем текучие, изменчивые, как мираж. Однако повозка оставляет их позади.

— Вы, верно, не знаете в Джефферсоне такого Лукаса Берча?

— Берча?

— Найти его там надеюсь. Он работает на строгальной фабрике.

— Нет, — отвечает возница. — Не припомню, чтобы знал такого. Да я, пожалуй, много кого не знаю в Джефферсоне. Может, он и там.

— Хорошо бы. А то путешествовать больно надоедает.

Возница на нее не глядит.

— Издалека ты приехала искать его?

— Из Алабамы. Путь далекий.

Он на нее не глядит. Спрашивает вскользь:

— Как же это тебя отец с матерью отпустили в таком виде?

— Нет у меня отца с матерью. Я с братом живу. Да так вот — решила идти, и все.

— Понятно. Он тебе написал, чтобы приезжала в Джефферсон?

Она не отвечает. Ему виден ее спокойный профиль под чепцом. Повозка едет — медленно, бесконечно. Под мерный шаг мулов, под скрип и стук колес тянутся рыжие мили. Солнце высоко над головой; тень чепца лежит на ее коленях. Она смотрит на солнце.

— Пора, пожалуй, покушать, — говорит она. Краем глаза он наблюдает, как она разворачивает сыр и печенье, открывает сардины, протягивает ему.

— Мне неохота, — говорит он.

— Милости прошу, покушайте со мной.

— Мне неохота. Ты давай кушай.

Она начинает есть — не спеша, с усердием, медленно и увлеченно слизывая с пальцев вкусное масло. Потом останавливается, не вдруг, но намертво; челюсть перестает жевать, обкусанное печенье в руке, лицо чуть опущено, глаза пусты, словно она прислушивается к чему-то очень далекому или совсем близкому — у себя внутри.

Кровь отлила от лица, густой здоровый румянец исчез, и она сидит оцепенело, слушая и ощущая неумолимую древнюю землю — но без тревоги и страха. «Двойня, не иначе», — говорит она себе беззвучно, не шевеля губами. Потом схватка утихает. Она опять ест. Повозка не остановилась; время не остановилось. Они въезжают на последний холм и видят дым.

— Джефферсон, — говорит возница.

— Подумать только, — говорит она. — Мы уже почти на месте, да?

На этот раз не слышит мужчина. Он смотрит вперед, через долину, на противоположную возвышенность, где стоит город. Следуя взглядом за его кнутовищем, она видит два столба дыма: один — от горящего угля, плотный, над высокой трубой, другой — высокий, желтый, над купой деревьев, должно быть, на отшибе.

— Дом горит, — говорит он. — Видишь?

Теперь уже она как будто не слушает, не слышит.

— Ну и ну, — говорит она, — всего четыре недели в дороге, а уже Джефферсон. Ну и ну. Носит же человека по свету.

2

Байрон Банч знает вот что. Это было в пятницу утром, года три назад. Работавшие в сарае у строгального станка подняли головы и увидели незнакомца, который стоял и смотрел на них. Они не знали, давно ли он там стоит. Похож он был на бродягу — и вместе с тем не похож. Ботинки у него были пыльные, брюки тоже в грязи. Но сшиты из приличной диагонали и отутюжены, а рубашка его, хотя и грязная, была белой рубашкой; на нем был галстук и соломенная шляпа, новая, с твердыми полями, заломленная нагло и зловеще над неподвижным лицом. Он не был похож на босяка в босяцком рубище, но бездомностью от него так и веяло, словно не было у него ни города, ни городка родного, ни улицы, ни камня, ни клочка земли. И сознание этого он нес, как знамя, с выражением независимым, жестоким, чуть ли не гордым. «Словно, — говорили потом люди, — попал в полосу невезения и не намерен в ней задерживаться и плевать хотел на то, каким способом из нее выберется». Он был молод. И Байрон видел, как он стоял

и наблюдал за рабочими в пропотевших комбинезонах — с сигаретой в углу рта, с презрительным и мрачно-неподвижным лицом, чуть стянутым на сторону из-за сигареты. Потом он выплюнул сигарету, не дотронувшись до нее рукой, повернулся и пошел в контору, а люди в выгоревшей, перепачканной рабочей одежде смотрели ему в спину с сердитым недоумением. «Через станок бы его пропустить, — сказал мастер. — Глядишь, сняло бы с него эту мину».

Они не знали, кто он. Никто его раньше не видел. «Между прочим, довольно опасно появляться с такой миной на людях, — сказал другой, — ненароком сделает где-нибудь такую мину, а она кому-нибудь может не понравиться». И они забыли о нем, во всяком случае, перестали говорить. Они разошлись по рабочим местам — среди жужжащих, скрипящих шкивов и приводных ремней. Но не прошло и десяти минут, как управляющий привел незнакомца обратно.

— Дайте ему работу, — сказал он мастеру. — Он говорит, что с лопатой, на худой конец, умеет обращаться. На опилки, что ли, поставьте.

Хотя остальные не прервали работы, в сарае не было человека, который не следил бы за чужаком в грязной городской одежде, за его

мрачной невыносимой физиономией, исполненной безмолвного холодного презрения. Мастер посмотрел на него мельком, с такой же холодностью во взгляде.

— Что же он — так в этом наряде и будет?

— Это его дело, — ответил управляющий. — Я не костюм его нанимаю.

— Да мне все равно, в чем он ходит, — дело хозяйское, — сказал мастер. — Значит, так, любезный. Ступай туда вон, возьми лопату и помоги ребятам опилки откинуть.

Пришелец повернулся, не говоря ни слова. Остальные наблюдали, как он зашел за кучу опилок, появился оттуда с совковой лопатой и принялся за работу. Управляющий с мастером разговаривали в дверях. Управляющий ушел, мастер вернулся.

— Его зовут Кристмас, — сказал он.

— Как его зовут? — переспросил один.

— Кристмас.

— Иностранец, что ли?

— А ты слыхал когда, чтобы белого человека звали Кристмасом? — спросил мастер.

— Я вообще не слыхал, чтоб человека так называли, — сказал другой.

И вот тут, насколько помнит Байрон, ему впер-

вые пришло в голову, что имя человека может быть не просто служебным звуком названия, но и каким-то предвестием того, что человек совершит, — если, конечно, другие сумеют вовремя разгадать его смысл. Ему казалось, что никто из них и не смотрел особенно на пришельца, покуда они не услышали его имя. Но когда услышали, впечатление было такое, словно имя намекает, чего от него ждать, словно он сам нес роковое предупреждение о себе — как цветок несет свой запах, как гремучая змея — гремушку. Только ни у кого из них не хватило ума понять намек. Они просто решили, что он иностранец, и весь остаток пятницы, наблюдая за тем, как он работает в своем галстуке, в своей соломенной шляпе и глаженых брюках, рассуждали между собой, что так, должно быть, работают у него на родине; некоторые, правда, сомневались и говорили: «Он переоденется. Завтра утром он не придет на работу в этом воскресном наряде».

Наступило субботнее утро. Последние, явившиеся к самому гудку, еще на ходу спрашивали: «Ну что он?.. Где?..» Остальные показывали. Новенький стоял один у кучи опилок. Рядом валялась его лопата, а он стоял во всем вчерашнем, в той же наглой шляпе, и курил сигарету.

«Когда мы пришли, он был тут, — объясняли первые. — Вот так вот стоял, и все. Словно и спать не ложился».

Он ни с кем не заговаривал. И с ним никто не пытался заговорить. Но все помнили о его присутствии, об уверенной его спине (он работал очень неплохо, с сумрачным и сдержанным усердием) и руках. Наступил полдень. Все, кроме Байрона, пришли сегодня без обеда и начали собирать свои вещи, чтобы уйти уже до понедельника. Байрон один отправился в насосную, где обычно ели, и сел. Вдруг что-то заставило его поднять глаза. Невдалеке, прислонясь к столбу, курил незнакомец. Байрон понял, что он пришел раньше, и не потрудился отойти. Или еще того хуже: вошел сюда нарочно, не обращая на Байрона внимания, как на столб. «Что же, не пошабашил еще?» — спросил Байрон.

Тот выпустил дым. Потом посмотрел на Байрона. Лицо у него было худое, ужасающе ровного пергаментного тона. Не кожа — само лицо, насквозь, словно голова была отформована с холодной, страшной правильностью и потом обожжена в раскаленной печи. «Сколько здесь платят сверхурочных?» — спросил он. И тут Байрон понял. Понял, почему тот работает

в выходном костюме, почему вчера и сегодня приходил без обеда, почему не кончил в полдень, как все другие. Понял так же ясно, как если бы тот сам объяснил, что у него в кармане ни гроша, что вот уже два или три дня он, судя по всему, живет на одних сигаретах. И, не успев подумать, уже протягивал свой котелок — движением таким же непроизвольным, как сама мысль. Ибо прежде, чем оно завершилось, тот, не изменив своего ленивого презрительного выражения, повернул голову и взглянул на предложенный котелок сквозь стелющийся дым сигареты. «Не хочу. Убери свой корм».

Наступило утро понедельника, и догадка Байрона подтвердилась. Тот пришел в новом комбинезоне, с завтраком в пакете. Но в полдень он не ел с остальными, сидя на корточках в насосной, и на лице его было все то же выражение. «Пускай его, — сказал мастер. — Симс не костюм его нанимал — но и не морду ведь».

«И язык его Симс не нанимал», — подумал Байрон. По крайней мере так, видимо, полагал Кристмас — и так себя вел. Говорить ему было не с кем и не о чем, даже после полугода работы. Никто не знал, чем он занимается от смены до смены. Случалось, кто-нибудь из товарищей

по работе встречал его после ужина на центральной площади, и Кристмас вел себя так, будто видел его впервые. Тут он ходил в новой шляпе и глаженых брюках, с сигаретой в углу рта, и дым сигареты змеился возле его лица. Никто не знал, где он живет, где ночует, и только время от времени кто-нибудь видел его на лесной тропинке у окраины города — как будто он жил в той стороне.

Сейчас Байрон знает не только это. Это он знал тогда — слышал, наблюдал, узнавая постепенно. А тогда никто из них не знал, где живет Кристмас, чем он на самом деле занимается — за ширмой, завесой своей черной работы на фабрике. Может быть, никто бы так и не узнал, если бы не еще один новенький, Браун. А когда Браун все рассказал, человек десять сразу же признались, что третий год покупают у Кристмаса виски — встречаясь с ним ночью, один на один за старым, колониальных времен, плантаторским домом в двух милях от города, где жила в одиночестве старая дева по фамилии Берден. Но даже покупавшие виски не знали, что Кристмас живет в негритянской развалюхе на участке мисс Берден, и живет уже больше двух лет.

И вот однажды, с полгода назад, на фабрике

появился еще один незнакомец, искавший работы, как некогда Кристмас. Он был тоже молодой, рослый, пришел уже в комбинезоне, который, судя по всему, довольно давно не снимал, и тоже имел вид путешествующего налегке. У него было живое, миловидно-безвольное лицо с белым шрамиком у рта, выглядевшее так, словно на него подолгу любовались в зеркало, и привычка вскидывать голову и косить через плечо, как мул, когда его догоняет машина, думал Байрон. Но это была не просто оглядка, опаска; она еще, думалось Байрону, отдавала самонадеянностью, нахальством, словно он без конца показывал и доказывал, что не боится никакой опасности, которая грозила или могла бы грозить ему сзади. И когда мастер, Муни, увидел нового работника, Байрон подумал, что мастеру пришла в голову та же мысль.

— Н-да, — сказал Муни, — тут уж Симс надежно ничего не нанял — когда брал этого молодца. Путевой пары штанов — и то не нанял.

— Вот-вот, — подхватил Байрон. — Он мне на ум приводит машину — она по улице едет, а в ней радио. И чего там радио в машине лопочет — не понять, и машина-то едет абы куда, а как поближе посмотришь — так она, оказыва-

ется, еще и пустая.

— Да, — сказал Муни. — Мне он на ум приводит жеребца. Не норовистого. А, как бы сказать, никчемного. На выгоне он — лучше некуда, а только к воротам с уздечкой подходишь — он уже еле на ногах стоит. Бегает вроде резво, а как запрягать — обязательно у него копыто больное.

— Однако кобылам он, видно, нравится, — заметил Байрон.

— Ну да, — отозвался Муни. — Он и кобыле небось не может основательно навредить.

Новый работник приступил к уборке опилок с Кристмасом. С большим шумом приступил, рассказывая всем и каждому, кто он и откуда, самим тоном и манерой изобличая свою суть — такой от них разило лживостью и морокой. Такой, что его рассказам о себе веришь не больше, чем имени, которым он назвался, думал Байрон. Не было никаких оснований сомневаться, что его зовут Джо Браун. Но, глядя на него, человек понимал, что в какую-то минуту жизни глупость у такого достигает предела и он решает сменить имя и меняет его на Джо Браун, восторгаясь и ликуя так, словно он первый его изобрел. Все дело в том, что имя ему вообще было ни к чему. Никого оно не интересовало — точно так же, думал Байрон,

как никого (по крайней мере из тех, кто носит брюки) не интересовало, откуда он прибыл, куда он отбудет и надолго ли здесь задержится. Ибо откуда бы он ни прибыл, где бы ни обретался раньше, всякому было ясно, что живет он на подножном корму, как пешая саранча. И занимается этим, казалось, так давно, что весь раструсился, высыпался, и ничего от него не осталось, кроме прозрачной легковесной оболочки, мотающейся бесцельно и бездумно по воле ветра.

Впрочем, он и работал на свой манер. Его не хватало даже на то, думал Байрон, чтобы как следует, по-хитрому отлынивать. Желать этого хотя бы, — потому что искусство увиливать от дела дается лишь человеку недюжинному — как искусство в любом деле, даже в воровстве или убийстве. Нужно стремиться к определенной и ясной цели, добиваться ее. А он видел, что у Брауна и этого нет. Они узнали, как в первый же субботний вечер Браун просадил в кости весь свой недельный заработок. Байрон сказал Муни:

— Я удивляюсь. Я думал, он хоть кости умеет кидать как следует.

— Он-то? — сказал Муни. — С чего ты взял, будто он на какую-нибудь шкоду способен, если он не способен даже опилки кидать? Будто он может

кого-нибудь обмануть в такой хитрой штуке, как кости, если даже с такой простой, как лопата, не может. — Потом он добавил: — Только, думаю, нет такого жалкого человека, чтобы не мог перещеголять другого хоть в одном каком-нибудь деле. А этот Кристмаса перещеголяет по крайней мере в безделье.

— Ну да, — сказал Байрон. — Я думаю, быть хорошим — самое легкое для лентяя.

— Ну, думаю, он бы живо испортился, — возразил Муни, — если бы кто его научил.

— Ну, учителя он себе найдет — не нынче, так завтра, — сказал Байрон. Оба повернулись и посмотрели на кучу опилок, где трудились Браун и Кристмас, один — с угрюмым, злым усердием, другой — с холостой и суматошливой ретивостью, которая не могла бы обмануть даже самое себя.

— Да, пожалуй, что так, — согласился Муни. — Только если бы я дурное замышлял — упаси меня Бог от такого напарничка.

Как и Кристмас, Браун явился на работу в чем был. Но, в отличие от Кристмаса, он не сразу сменил одежду.

— Как-нибудь в субботу выиграет в кости столько, сколько нужно на новый костюм, и чтобы

в кармане бренчало полдоллара мелочью, — сказал Муни. — И в понедельник мы его не увидим.

Браун, однако, продолжал ходить на работу — в том же комбинезоне и в той же рубахе, в которых явился в Джефферсон — так же проигрывать в кости недельный заработок по субботам — а может, выигрывать понемногу, приветствуя и то и другое одинаково бессмысленным гоготом, — балагурить и зубоскалить с теми же людьми, которые, по всей видимости, регулярно его обирали. Как-то раз прошел слух, что он выиграл шестьдесят долларов. «Ну, можете с ним попрощаться», — сказал кто-то.

— Не знаю, — сказал Муни. — Шестьдесят долларов — не та цифра. Вот если бы десять долларов или, наоборот, пятьсот, тогда, я думаю, ты был бы прав. А шестьдесят — нет. Теперь он как раз и решит, что хорошо здесь устроился — если цапнул столько, сколько за неделю получает.

И в понедельник он действительно вышел на работу, в комбинезоне; их обоих, Брауна и Кристмаса, увидели возле кучи опилок. За парой наблюдали с того дня, как появился Браун. Кристмас всаживал лопату в опилки неторопливо и размеренно, с силой, словно крошил зарытую змею («Или человека», — сказал Муни),

а Браун, бывало, стоит, опершись на лопату, и, наверно, рассказывает ему какую-то историю, анекдот. Потому что немного погодя он разражается смехом, гогочет, закинув голову, а другой продолжает работать все с тем же молчаливым, неубывающим остервенением. Затем Браун тоже берется за дело, и опять какое-то время работает не медленнее Кристмаса, но лопата его, летая по убывающей дуге, захватывает все меньше, меньше и наконец уже совсем не задевает опилок. Тогда он снова опирается на нее и, видимо, досказывает историю — досказывает человеку, который, кажется, и голоса его не слышит. Словно этот — в миле от него или говорит на непонятном языке, думал Байрон. Случалось, субботним вечером их видели в городе вместе: опрятного Кристмаса — в неизменной и строгой диагонали с белой рубашкой, в соломенной шляпе, и Брауна — в новом костюме (бежевом в красную клетку, под ним — цветная рубашка, на голове соломенная шляпа, как у Кристмаса, но с цветной лентой), и Браун болтает, гогочет, и голос его разносится по всей площади и возвращается обратно эхом, вроде того как посторонний звук в церкви, кажется, идет отовсюду одновременно. Словно хочет всем показать, какие они с Крист-

масом дружки, думал Байрон. А потом Кристмас поворачивался, и как бы ни было мало скопление народу, привлеченного пустым звоном Браунова голоса, бесстрастно и хмуро выходил вон, а Браун шел за ним следом, продолжая болтать и гоготать. И каждый раз остальные рабочие говорили: «Ну, в понедельник он на работу не вернется». Но каждый понедельник он возвращался. Первым бросил Кристмас.

Он бросил работу в субботу вечером, без предупреждения, после трех без малого лет. И сообщил им об уходе Кристмаса не кто иной, как Браун. Среди рабочих были люди разного возраста, были семейные, были холостяки, образ жизни они вели самый пестрый, но в понедельник утром все выходили на работу степенно, почти торжественно. Были среди них молодые, и по субботам они пили, играли на деньги, случалось, даже ездили в Мемфис. Но в понедельник утром они выходили на работу серьезные и тихие, в чистых комбинезонах и чистых рубашках, тихо дожидались гудка и затем тихо приступали к работе, словно что-то сохранялось еще в атмосфере от воскресенья, утверждавшее как догмат, что человеку, как бы он этот праздник ни провел, надлежит и подобает являться в понедельник

на работу чистым и тихим.

Вот что они всегда отмечали в Брауне. В понедельник он, как правило, выходил в той же грязной одежде, что и на прошлой неделе, и в черной щетине, не тронутой бритвой. И бывал он еще более шумным, чем всегда, кричал и выкидывал штуки впору десятилетнему. Их, серьезных, это коробило. Для них это было все равно как если бы он явился голым или пьяным. Поэтому и получилось, что именно он оповестил их в понедельник об уходе Кристмаса. Он опоздал, но не в этом дело. Он был небрит, но дело и не в этом. Он был тихий. Они не сразу и заметили, что он здесь — он, которого в другое время половина из них уже ругала бы последними словами, и кое-кто от души. Он появился с гудком, пошел прямо к куче опилок и принялся за работу, не сказав никому ни слова, хотя кто-то с ним даже заговорил. Тут-то они и увидели, что он один, что его напарника Кристмаса нет. Когда подошел мастер, кто-то сказал:

— Ну, я вижу, одним заместителем истопника у тебя стало меньше.

Муни посмотрел туда, где Браун разгребал опилки так, словно это были яйца. Он плюнул.

— Да. Чересчур быстро разбогател. Не пре-

льстишь его такой работенкой.

— Разбогател? — переспросил другой.

— Кто-то из них — да, — сказал Муни, все еще наблюдая за Брауном. — Вчера я их видел в новой машине. Он, — Муни кивнул на Брауна, — сидел за рулем. Этому я не удивляюсь. Я удивляюсь, что и один-то вышел сегодня на работу.

— Ну, по нынешним временам, — сказал тот, — Симсу нетрудно будет найти ему замену.

— Это нетрудно было бы в любое время, — сказал Муни.

— Да он словно бы неплохо управлялся.

— А-а, — сказал Муни. — Понял. Ты про Кристмаса говоришь.

— А ты про кого? Браун тоже сказал, что уходит?

— Ты думал, он тут копать будет, пока другой катается по городу на новой машине?

— А-а. — Тот тоже посмотрел на Брауна. — Хотел бы я знать, где это они раздобыли машину.

— А я — нет, — сказал Муни. — Он в обед уйдет или до шести дотерпит — вот что я хотел бы знать.

— А что? — сказал Байрон. — Если бы я тут накопил на новую машину, я бы тоже уволился.

Несколько человек посмотрели на Байрона.

Они слегка улыбнулись.

— Накопили-то они не тут, — сказал один. Байрон посмотрел на него.

— Байрон чересчур уж, видно, дурного сторонится — потому и от жизни отстает, — сказал другой. Они посмотрели на Байрона. — Браун, можно сказать, слуга народа. Кристмас заставлял их ночью тащиться в лес, за имение мисс Берден, а Браун им сам теперь таскает, прямо в город. Говорят, если знаешь пароль, то в субботу вечером в переулке можешь получить пол-литра прямо у него из-за пазухи.

— А пароль какой? — сказал еще кто-то. — Доллар без четверти?

Байрон смотрел то на одного, то на другого.

— Правда? Этим они занимаются?

— Браун этим занимается. Кристмас — не знаю. За него не поручусь. Только Браун от Кристмаса далеко не отстанет. Как говорится, свой своего ищет.

— Верно, — сказал другой. — Занимается этим Кристмас или нет, нам, я думаю, не узнать. Он, как Браун, штаны спустивши, при народе гулять не будет.

— А ему и незачем, — сказал Муни, глядя на Брауна.

И Муни был прав. До полудня они наблюдали за Брауном, пребывавшим в одиночестве у опилок. Потом раздался гудок, они взяли свои котелки, уселись на корточки в насосном сарае и стали есть. Вошел Браун с хмурым лицом, насупленный и надутый, как ребенок, и сел с ними на корточки, свесив руки между колен. Сегодня обеда у него не было.

— А ты чего, есть не будешь? — спросил кто-то.

— Холодные помои из сального ведерка? — сказал Браун. — С утра до вечера ишачить, как паршивому негру, и перерыв час — чтобы жрать помои из жестяного ведерка.

— Ну, может, кто и работает, как негры работают у него на родине, — сказал Муни. — Только негр бы тут полдня не продержался, если бы работал, как иные белые.

Но Браун будто не слышал, не слушал, хмуро сидя на корточках и свесив руки. Он, казалось, никого не слушает, кроме себя — себя слушает.

— Дурак. Только дурак на это пойдет.

— Тебя к лопате не привязывали, — сказал Муни.

— Правильно, черт бы ее побрал, — ответил Браун.

Раздался гудок. Рабочие разошлись по местам.

Они наблюдали, как Браун трудится у опилок. Побросав немного, он начинал медлить, двигался все медленнее и медленнее, пока совсем не замирал, ухватив лопату как хлыст, и тогда они видели, что он разговаривает сам с собой.

— Ну да, ему там больше не с кем потолковать, — заметил кто-то.

— Не в этом дело, — откликнулся Муни. — Он еще не совсем себя уломал. Не совсем уговорил себя.

— В чем?

— В том, что он еще дурее, чем я думал, — пояснил Муни.

На другое утро он не вышел.

— Теперь его адрес будет парикмахерская, — сказал один.

— Или проулок за парикмахерской, — сказал другой.

— Я думаю, мы еще разок его увидим, — сказал Муни. — Он придет получить за вчерашний день.

И точно. Часов в одиннадцать он явился. На нем был новый костюм и соломенная шляпа, и, остановившись у сарая, он стоял и смотрел на рабочих, как Кристмас три года назад — словно сами былые позы учителя нечаянно воспро-

изводились послушными мышцами ученика, не в меру переимчивого и памятливого. Но если от учителя веяло угрюмым покоем — и гибелью, как от змеи, то у Брауна получалась только расхлябанность и пустое чванство.

— Навались, рабочая скотинка! — сказал он веселым, громким, зубастым голосом.

Муни посмотрел на Брауна. Тут зубы Брауна попрятались.

— Ты, случаем, не меня так назвал? А? — спросил Муни.

С подвижным лицом Брауна произошла одна из тех мгновенных перемен, к которым все давно привыкли. Словно оно было такое расхлябанное, на живую нитку сметанное, что даже Брауну ничего не стоило его изменить, — думал Байрон.

— Я не с тобой говорю, — сказал Браун.

— А-а, понял. — Голос у Муни был мирный, ласковый. — Это ты остальных назвал скотиной.

Тут же вмешался еще один:

— Так ты это про меня?

— Я сам с собой разговаривал, — сказал Браун.

— Ну вот, раз в жизни ты сказал святую правду, — согласился Муни. — То есть половину. Хочешь, подойду и шепну тебе на ушко другую половину?

Больше на фабрике его не видели, но Байрон знает (и вспоминает теперь), как колесил по городу — бесцельно, праздно, непрестанно — новый автомобиль (с помятыми уже крыльями) и Браун, развалясь за баранкой, без особого успеха пытался вызвать зависть своим бесшабашным и праздным видом. Иногда с ним сидел Кристмас, но нечасто. И теперь уже не секрет, чем они занимаются. Среди молодых людей и даже подростков стало притчей во языцех, что виски у Брауна можно купить с ходу, и город просто ждет, когда он попадется — когда он вытащит из-под полы дождевика бутылку и станет продавать агенту в штатском. До сих пор не известно наверняка, связан ли с этим Кристмас, но никто не поверит, будто у самого Брауна хватит ума нажиться даже на бутлегерстве, и вдобавок кое-кому известно, что Браун живет вместе с Кристмасом в хибарке на участке Берденов. Но даже этим не известно, знает ли о своих жильцах мисс Берден — а если бы и было известно, ей бы все равно не сказали. Она живет одна в большом доме — женщина средних лет. Живет там с рождения, но все еще пришлая, чужая: ее родители приехали с Севера в Реконструкцию. Северянка, негритянская доброхотка — до сих пор по городу

ходят слухи о ее странных отношениях с неграми, городскими и иногородними, хотя прошло уже шестьдесят лет с тех пор, как ее дед и брат убиты на площади бывшим рабовладельцем в споре об участии негров в местных выборах. Но и поныне что-то тяготеет над ней и именем — что-то темное, нездешнее, грозное, хотя она всего только женщина, всего только отпрыск тех, кого предки города не зря (по крайней мере на их взгляд) страшились и ненавидели. Но тут оно: отпрыски тех и других, в их связях с вражьими тенями, и рубежом меж них — видение давно пролитой крови, ужас, гнев, боязнь.

Если и была в его жизни любовь, то всякий скажет, что Байрон Банч про нее забыл. А скорее она (любовь) забыла про него — про этого малорослого человека, которому уже не вернуть своих тридцати, который в течение семи лет по шесть дней в неделю проводит на деревообделочной фабрике, подавая доски на станок. Вторую половину субботы он тоже проводит там, один, в то время как остальные, надев выходные костюмы и галстуки, предаются в центре города пустому, тяжкому, зудящему досугу рабочего люда.

Вторую половину субботы, поскольку одному работать на станке нельзя, он грузит готовые

доски в товарные вагоны и сам ведет счет времени, — до последней секунды, до воображаемого гудка. Остальные рабочие, весь город — вернее, те, кто помнит или думает о нем, — считают, что он делает это ради сверхурочных. Возможно, причина — эта. Человек так мало знает о своих ближних. В его глазах все мужчины — или женщины — действуют из побуждений, которые двигали бы им самим, будь он настолько безумен, чтобы поступать как другой мужчина — или женщина. По сути, только один человек в городе мог бы более или менее уверенно говорить о Банче, но городу о его сношениях с Банчем неизвестно, ибо они встречаются и беседуют только по ночам. Фамилия этого человека Хайтауэр. Двадцать пять лет назад он был священником одной из главных церквей, если не самой главной. Он один знает, куда отправляется Банч каждый субботний вечер, когда прогудит воображаемый гудок (или когда громадные серебряные часы Банча покажут, что он прогудел). Миссис Бирд, в чьем пансиончике живет Банч, знает только, что каждую субботу в начале седьмого Банч приходит с работы, моется, надевает дешевый и ношеный диагоналевый костюм, ужинает, седлает мула, которого держит за домом в сарае,

собственноручно им отремонтированном и перекрытом, и верхом на муле отбывает. Куда он ездит, она не знает. Знает только священник Хайтауэр — что он уезжает за тридцать миль от города и проводит воскресенье, руководя хором в сельской церкви, — служба длится весь день. Потом, около полуночи, он седлает мула и едет обратно в Джефферсон, ровной, на всю ночь заведенной трусцой. А в понедельник утром, когда загудит гудок, он уже на месте у станка, в чистой рубашке и комбинезоне. Миссис Бирд знает только, что каждую неделю с субботнего ужина до завтрака в понедельник его комната и стойло мула пустуют. Одному Хайтауэру известно, куда он ездит и что там делает, потому что два-три раза в неделю, поздним вечером, Банч навещает Хайтауэра в его домишке, где бывший священник живет один и, как горожане говорят, в позоре, — в домишке некрашеном, тесном, уединенном, темном, пропахшем мужской затхлостью. Тут, в кабинете священника, они и сидят, беседуя тихо: щуплый, неприметный человек, который даже не подозревает, что он — загадка для своих товарищей по работе, и пятидесятилетний изгой, отвергнутый своей церковью.

И вот Байрон влюбляется. Влюбляется вопре-

ки всем заповедям своего ревнивого и строгого деревенского воспитания, требующего, чтобы предмет любви был физически непочат. Это происходит в субботу за полдень, когда он один на фабрике. В двух милях все еще горит дом, и желтый дым стоит над горизонтом прямо, как памятник. Они увидели, как он взметнулся над деревьями, еще до полуденного гудка, до того, как разошлись.

— Ну, сегодня-то Байрон уйдет, — говорили они. — Бесплатно-то пожар посмотреть.

— Пожар большой, — сказал один. — Что бы это могло гореть? Вроде и не припомню там ничего такого большого, чтобы столько дыму давало — кроме дома Берденов.

— Может, это он и есть, — сказал другой. — Отец мой все вспоминает, как у нас тут говорили лет пятьдесят назад: спалить его надо, да с человечьим жирком заодно, чтоб занялся побойчее.

— Уж не папаша ли твой пробрался туда с огоньком? — сказал третий. Все засмеялись. Потом снова принялись за работу, дожидаясь гудка, то и дело отрываясь, чтобы посмотреть на дым. Немного погодя подъехал грузовик с бревнами. Они спросили у шофера, который ехал через город.

— Берден, — сказал шофер. — Ну да. Она горит. В городе говорили, что и шериф туда отправился.

— Небось и Уатту Кеннеди охота поглядеть на пожар, даром что бляху нацеплять приходится.

— А если он кого-то разыскивает, чтобы арестовать, — сказал шофер, — то вид у города такой, что он, похоже, правильно выбрал место.

Раздался полуденный гудок. Все разошлись. Байрон положил перед собой серебряные часы и сел обедать. Когда они показали час, он приступил к работе. Постелив для мягкости на плечо дерюжку и взвалив на нее стопу клепок, которую, казалось бы, ему ни за что не поднять и не унести, размеренно и неутомимо совершал он свои рейсы от склада к вагону; он был один на складе, когда в дверь за его спиной вошла Лина Гроув — безмятежно улыбаясь в ожидании встречи, губы уже сложив, чтобы произнести имя. Услышав ее, он оборачивается и видит, что улыбка ее гаснет, как волнение в роднике, куда уронили камешек.

— Вы — не он, — говорит она с серьезным детским изумлением за гаснущей улыбкой.

— Да, — говорит Байрон. Он умолкает, полуобернувшись, с грузом на плече. — Похоже, что не он. А он — кто?

— Лукас Берч. Мне сказали…

— Лукас Берч?

— Мне сказали, что я его тут найду. — В голосе ее какая-то безмятежная недоверчивость, и она смотрит на него не мигая, словно думает, что он пытается ее провести. — Когда я к городу поближе подошла, его все Банчем стали звать, а не Берчем. Я думала, они говорят неправильно. Или я расслышала неправильно.

— Нет, — отвечает он. — Так оно и есть. Банч. Байрон Банч. — Продолжая держать на плече клепки, он смотрит на нее — на тяжелое тело, на раздавшиеся бедра, на тяжелые мужские башмаки, покрытые рыжей пылью. — А вы — миссис Берч?

Она отвечает не сразу. Она стоит в дверном проеме и смотрит на него пристально, но без тревоги — все тем же безмятежным, слегка растерянным, слегка недоверчивым взглядом. Глаза у нее совсем голубые. Но тенью в них — мысль, что он пытается ее обмануть.

— Мне по дороге говорили, что Лукас работает на строгальной фабрике в Джефферсоне. Много людей говорило. А как в Джефферсон приехала, мне сказали, где эта фабрика, и я спрашиваю про Лукаса Берча, а мне говорят: «Может, тебе

Банча?» — ну, я и подумала, что они просто имя перепутали, а это он и есть. Хотя они сказали, что этот, про кого они говорят, лицом не смуглый. Неужто и вы скажете, что не знаете тут Лукаса Берча?

Байрон опускает свою ношу аккуратной стопой, чтобы поднять потом все разом.

— Не знаю. Лукаса Берча у нас нету. Я всех знаю, кто тут работает. Может быть, он в городе где работает. Или на другой фабрике.

— А есть тут другая строгальная фабрика?

— Нету. Лесопилки, правда, есть — их тут порядком.

Она наблюдает за ним.

— По дороге мне говорили, что он на строгальной фабрике работает.

— Я тут такого не знаю, — говорит Байрон. — И припомнить не могу никакого другого Берча, кроме меня, а меня зовут Банчем.

Она продолжает смотреть на него прежним взглядом, в котором не столько беспокойства за будущее, сколько недоверия к настоящему. Потом она вздыхает. Это даже не вздох, а глубокий спокойный вдох.

— Так, — говорит она. Обернувшись, она окидывает взглядом распиленные доски, штабеля

брусьев. — Присяду-ка я, пожалуй. А то уж больно устаешь — по твердым мостовым ходить. Кажется, пока дошла сюда из города, больше устала, чем за всю дорогу из Алабамы. — Она направляется к низкому штабелю реек.

— Подождите, — говорит Байрон. Бросившись к ней, он сдергивает с плеча дерюжку. Женщина, уже подогнув колени, замирает, и Байрон стелит дерюжку на рейки. — Мягче будет.

— Спасибо вам большое. — Она садится.

— Так-то оно помягче, — говорит Байрон. Он вынимает из кармана серебряные часы, смотрит на них, потом садится на другой край штабеля. — Пять минут, пожалуй, будет в самый раз.

— Отдыхать пять минут? — спрашивает она.

— Пять минут как вы пришли. Я с тех пор и отдыхаю. По субботним вечерам я сам себе замечаю время, — объясняет он.

— И каждый раз, как присесть на минутку, тоже замечаете? Откуда они узнают, что вы присаживались? Минутой больше, минутой меньше — велика ли разница?

— Я так думаю, за сидение мне не платят, — говорит он. — Значит, вы из Алабамы.

Она рассказывает ему, — теперь его очередь, — грузно сидя на дерюжке, со спокойным, ясным

лицом, за которым он так же спокойно наблюдает, — рассказывает больше, чем ей кажется, — как рассказывала уже многим незнакомым людям, среди которых четыре недели совершается ее путь с мирной неторопливостью смены времен года. И Байрон — в свою очередь — рисует себе историю молодой женщины, обманутой и брошенной и даже не сознающей, что она брошена, так и не успевшей сменить свою фамилию на Берч.

— Нет, видно, я его не знаю, — говорит он наконец. — Да и нет тут сейчас никого, кроме меня. Все остальные — там, наверное, на пожаре. — Он показывает на желтый столб дыма, стоящий в безветрии высоко над деревьями.

— Мы его видели, как к городу подъезжали, — говорит она. — Пожар-то уж очень большой.

— Да и дом-то большой. Он старинный. Там дама одна живет, больше никого. Думаю, кое-кто в городе будет говорить, что это Бог ее наказал — даже теперь будут. Она северянка. Ее родня приехала сюда в Реконструкцию — негров баламутить. Двоих за это и убили. Говорят, она и сейчас вожжается с неграми. Навещает их, когда заболеют, все равно как белых. Кухарку не держит — не хочет, чтобы негры прислуживали.

Говорят, у ней такое мнение, будто негр белому ровня. Поэтому никто к ней и не ходит. Кроме одного. — Она наблюдает за ним, слушает. Сейчас он на нее не смотрит, избегает ее взгляда. — Или, может, двоих — так я слышал. Хоть бы они туда поспели, помогли ей мебель вынести. Может, поспели.

— Кто поспел?

— Да тут, два парня, два Джо, они где-то в той стороне живут. Джо Кристмас и Джо Браун.

— Джо Кристмас? Чудное имя.

— Он и сам чудной. — И снова он избегает ее заинтересованного взгляда. — Товарищ его — тоже фрукт. Браун. Тоже тут работал. Но уволились — оба. Потеря, однако, скажу, небольшая.

Сидя на дерюжке, женщина слушает спокойно, с интересом. Можно подумать, что это выходной день и пара, одетая в выходное, сидит на плетеных стульях перед деревенским домом, на гладкой, патиной подернутой земле.

— И товарища его зовут Джо?

— Да. Джо Браун. Но, может быть, это его настоящее имя. Потому что как подумаешь о человеке по имени Джо Браун, сразу представляешь такого пустомелю, который вечно смеется и громко разговаривает. Так что я думаю, имя настоящее, хотя

Джо Браун — как-то чересчур уж скоро да просто для настоящего имени. Но, думаю, тут оно как раз настоящее. Потому что если бы ему выработку с болтовни считали, он давно бы был хозяином этой фабрики. Хотя людям он как будто нравится. По крайней мере с Кристмасом ладит.

Она наблюдает за ним. Лицо ее по-прежнему ясно, но теперь очень серьезно — взгляд очень серьезен и очень внимателен.

— А чем они с ним занимаются?

— Да ничем таким, думаю, чего бы им не полагалось. По крайней мере за руку их еще не поймали. Браун здесь вроде как работал — в свободное время, когда не смеялся и шутки над людьми не шутил. А Кристмас уволился. Они где-то там живут, там вон, где дом горит. Слышал я, чем они занимаются для заработка. Но это, во-первых, не мое дело. А во-вторых, люди друг про друга все больше неправду говорят — вот что главное. И, надо думать, я других не лучше.

Она наблюдает за ним. Она даже не мигает.

— Так он говорит, что его зовут Брауном. — Может быть, это и вопрос, но ответа она не дожидается. — А чем, вы слышали, они занимаются?

— Возводить напраслину на людей не хотел бы. Зря я, видно, так разговорился. Вот уж правда,

смотрю, — стоит человеку бросить работу, тут же нечистый его попутает.

— Что вы слышали? — спрашивает она. Она не пошевелилась. Голос ее спокоен, но Байрон уже влюбился, хотя еще не знает этого. Он не смотрит на нее, чувствуя ее серьезный пристальный взгляд на своем лице, на губах.

— Толкуют здесь, будто они виски продают. Прячут его вон там, где дом горит. Говорят еще, как-то в субботу вечером Браун был в городе пьяный и чуть не сболтнул, про что болтать не следовало — как они с Кристмасом чего-то там ночью в Мемфисе или на темной дороге возле Мемфиса и чего-то там с пистолетом… Не то с двумя пистолетами. Но тут же Кристмас вмешался, заткнул ему рот и увел. Словом, что-то там было такое, про что Кристмас не хотел трезвонить — да и у Брауна хватило бы ума не растрезвонить, если бы не напился. Так я слышал. Сам я при этом не был. — Подняв голову, он вдруг сознает, что опустил глаза раньше, чем встретился с ней взглядом. Он словно предугадывает уже что-то безвозвратное, непоправимое — он, веривший, что здесь, на фабрике, в субботу после отбоя, когда он один, случая причинить другому зло или вред у него не будет.

— А каков он из себя? — спрашивает она.

— Кристмас-то? Ну…

— Я не про Кристмаса.

— А-а, Браун. Ну да. Высокий, молодой. Смуглый; женщинам он кажется интересным — по слухам, многим. Большой охотник посмеяться, подурачиться, над людьми подшутить. Но мне… — Голос его пресекся. Он не в силах поднять глаза, выдержать ее упорный вдумчивый взгляд.

— Джо Браун, — говорит она. — А нет у него такого белого шрамика вот тут, возле рта?

Он не в силах поднять глаза; он сидит на штабеле реек, но сделанного не воротишь, и он готов язык себе откусить.

3

Из окна кабинета ему видна улица. Она близко, потому что лужайка не широкая. Это — маленькая лужайка, на ней — пяток низкорослых кленов. Дом — некрашеный, бурый, скромный коттедж — тоже мал и закрыт разросшимися миртами, алтеем и садовым жасмином, если не считать просвета, через который окно смотрит на улицу. Закрыт настолько, что свет уличного фонаря на углу едва пробивается сюда.

Из окна ему видна и вывеска, которую он называет своим памятником. Она стоит в углу двора, невысокая, обращенная к улице. Продолговатая, полметра на метр, доска лицом повернута к прохожим, оборотной стороной к нему. Но ему и незачем ее читать, потому что он сам аккуратно сделал ее — при помощи молотка и пилы, сам аккуратно и тщательно вывел на ней надпись — когда понял, что ему понадобятся деньги на хлеб, на дрова и одежду. Когда он бросил семинарию, у него был небольшой доход с отцовского капитала, но, получив церковь, он свои квартальные чеки сразу же стал перево-

дить на исправительную колонию для девочек в Мемфисе. Потом у него отняли церковь, отняли церковь, и самым горьким в жизни — горше утраты, горше стыда — было для него письмо, в котором он сообщал колонии, что отныне сможет посылать лишь половину прежней суммы.

Он продолжал переводить им половину доходов, которых и целиком едва хватало бы ему на жизнь. «К счастью, я кое-что умею», — говаривал он в то время. Отсюда — вывеска, которую он сам аккуратно сколотил и сам написал, остроумно замешав в краску битое стекло, чтобы ночью под уличным фонарем буквы по-рождественски искрились:

Преп. ГЕЙЛ ХАЙТАУЭР, Д. Б.

Уроки рисования

Изготовление рождественских и поздравительных открыток

Проявление фотографий

Но минуло уже много лет, и учеников у него не было, а рождественских карточек и фотопластинок было мало, краска и дробленое стекло осыпались с полинявших букв. Их еще можно было прочесть, хотя, как и сам Хайтауэр, боль-

шинство горожан в этом не нуждалось. Лишь изредка нянька-негритянка со своими белыми питомцами останавливалась перед вывеской и читала вслух, праздно и тупо, как водится у этой досужей малограмотной публики, да приезжий, случайно попав на тихую, глухую, немощеную улочку, задерживался, чтобы прочесть надпись, и, взглянув на маленький, бурый, почти закрытый зеленью дом, шел дальше; случалось, приезжий поминал вывеску в беседе с каким-нибудь знакомым из местных: «А-а, да, — говорил тот. — Хайтауэр. Он там один живет. Приехал сюда священником пресвитерианской церкви, но жена ему подгадила. Повадилась тайком в Мемфис ездить, развлекалась там. Это было лет двадцать пять назад, когда они только приехали. Некоторые говорили, что он это знал. Якобы удовлетворить ее не мог или не хотел и знал, чем она занимается. И вот, в субботу ночью, в Мемфисе, ее убили — не то в публичном доме, не то еще где-то. В газетах — шум. Пришлось ему уйти из церкви, а из Джефферсона уехать он почему-то не захотел. Пробовали его заставить — для его же блага, ну и ради города, ради церкви. А церкви, понимаешь, это совсем ни к чему. Приезжают люди, слышат про такие

дела, и вдобавок он из города выселяться не хочет. А он — ни в какую. И живет там — когда-то это была центральная улица — с тех самых пор один. Теперь она хотя бы не главная. И то слава Богу. Правда, теперь уж он никому не мешает, и думаю, большинство народу про него забыло. Сам по дому хозяйничает. Вряд ли кто зашел к нему в дом за двадцать пять лет. Не знаем, зачем он здесь остался. В сумерки или вечером, если идешь мимо, обязательно видишь: у окна сидит. Сидит и все. А так его и не видать почти — разве, случится, когда в саду работает».

Так что вывеска, которую он сколотил и написал, значит для него еще меньше, чем для города; он уже не воспринимает ее как вывеску, как весть. Он и не вспоминает о ней, пока в сумерки не займет свое место у окна в кабинете. А тогда это — просто привычный продолговатый предмет невысоко над уличной стороной лужайки; ничего не значащий; может быть — такое же порождение трагической неизбывной земли, как низкие раскидистые клены и кустарник, выросшие без его помощи или противодействия. Он уже и не смотрит на нее — так же, как не замечает, в сущности, деревьев, из-за которых наблюдает за улицей, дожидаясь ночи, мгно-

вения, когда она наступит. В доме, в кабинете за его спиной, — тьма, и он ждет секунды, когда последний свет погасает в небе, и опускается ночь, и только слабым светом упорно дышит напоенная днем былинка и лист, задерживая на земле тихий свет, хотя ночь уже наступила. *Теперь скоро* думает он, *скоро*. И даже про себя не говорит: «Еще осталось что-то от гордости и чести, от жизни».

* * *

Семь лет назад, когда Байрон Банч приехал в Джефферсон и впервые увидел маленькую вывеску *Гейл Хайтауэр, Д. Б. Уроки рисования. Рождественские открытки. Проявление фотографий,* он подумал: «Д. Б. Что такое Д. Б.?» — и спросил об этом, и ему сказали: Дрянной Безбожник. Гейл Хайтауэр, Дрянной Безбожник, по крайней мере — для Джефферсона, — сказали ему. И как Хайтауэр приехал в Джефферсон прямо из семинарии, отказавшись от других приходов; как он пустил в ход все связи, чтобы его направили в Джефферсон. И как он прибыл с молодой женой и вышел из вагона уже в возбужденном состоянии, объясняя, рассказывая старикам и старухам — столпам церкви, что он выбрал

Джефферсон с самого начала, когда еще только решил стать священником; рассказывая с каким-то ликованием о том, как писал письма, как надоедал людям, как пускал в ход все связи, чтобы его послали сюда. Местным слышалось в этом ликование барышника после выгодной сделки. То же, наверное, слышалось и старейшинам. Потому что они внимали ему холодно, изумленно, с недоверием — казалось, город как место жительства был нужен ему, а не церковь, не составляющие церковь люди, перед которыми ему предстояло служить. Словно ему безразличны были люди, живые люди, и хотят они его тут или нет. А к тому же он был еще молод, и старшие пытались охладить его радость и возбуждение разговором о серьезных церковных делах, об обязанностях их церкви и его собственных. Байрону рассказывали, что и спустя полгода молодой священник все еще был возбужден и все толковал о Гражданской войне, и убитом деде-кавалеристе, и о горевших в Джефферсоне складах генерала Гранта — покуда не получалась полная каша. Байрону рассказывали, что так же он говорил и с кафедры, так же на кафедре заходился, превращая религию в непонятный сон. Не кошмар, но что-то развертывающееся быстрее, чем слова

в Писании, — смерч какой-то, пренебрегающий земной опорой. И старикам, старухам это тоже не нравилось.

Будто даже на кафедре он не мог отделить религию от скачущей конницы и покойного деда, застреленного на скаку. И в личной жизни, у себя дома, тоже, наверное, не мог отделить. Наверное, даже не пытался, думал Байрон, размышляя о том, что мужчине свойственно вытворять такое с женщиной, которая ему принадлежит, что поэтому-то женщинам и приходится быть сильными, и нельзя их винить за то, что они творят с мужчинами, из-за них и ради них — ибо, видит Бог, до чего это мудреное дело — быть женой. Ему рассказывали, что жена священника была маленькая, тихая с виду девушка и городу сначала показалась бессловесной. Но в городе говорили, что, будь Хайтауэр самостоятельным человеком — человеком, каким следует быть священнику, а не таким, который родился на тридцать лет позже того единственного дня, которым он словно бы и жил всю жизнь, — дня, когда его деда застрелили на скаку, — с ней бы тоже ничего не случилось. Но он таким не был, и соседи часто слышали, как она плачет днем или поздно вечером в приходском доме, и сосе-

ди понимали, что он не знает, как помочь беде, потому что не знает, в чем беда. И как, бывало, она даже не являлась в церковь, где служил ее собственный муж — даже в воскресенье, — и люди глядели на него и недоумевали — замечает ли он хотя бы, что ее тут нет, помнит ли хотя бы, что у него вообще есть жена, когда стоит на кафедре, размахивая руками, и догма, которую он должен проповедать, вся перемешана со скачущей конницей, доблестью и поражением, — точно так же, как на улице, когда он начинал толковать им про скачущую кавалерию, она мешалась с отпущением грехов и чинами боевых серафимов, — и, разумеется, старики и старухи решили в конце концов, что эти речи, произносимые в доме Божьем, в Божий день, граничат с самым настоящим святотатством.

И Байрону рассказывали, что после года жизни в Джефферсоне лицо у жены сделалось застывшим, и когда прихожанки посещали их дом, Хайтауэр встречал их один, суетясь, без пиджака, в рубашке без воротничка, и в первую минуту казалось, что он вообще не соображает, зачем они пришли и чего от него хотят. Затем он приглашал их войти и, извинившись, исчезал. Ни звука не слышалось в доме, покуда они сиде-

ли там в своих воскресных платьях, разглядывая друг друга и комнату, прислушиваясь и не слыша ни звука. А потом он возвращался одетый, в воротничке, садился и говорил с ними о церкви и о больных, и они отвечали ему спокойно и оживленно, по-прежнему прислушиваясь и, может быть, поглядывая на дверь, может быть, гадая, известно ли ему то, что они уже считали известным.

Дамы перестали к нему ходить. Вскоре они перестали встречать его жену даже на улице. А он вел себя так, будто ничего не происходит. А потом она стала отлучаться на день или на два; люди видели, как она садится на утренний поезд, и лицо ее постепенно худело и заострялось, будто она никогда не ела досыта, и делалось застывшим, будто она не видит того, на что смотрит. А он все говорил, что она ездит навещать родню где-то на юге штата, пока в одну из ее отлучек джефферсонская женщина, приехавшая в Мемфис за покупками, не увидела ее, когда она торопливо входила в гостиницу. Вышло так, что женщина вернулась домой и рассказала об этом как раз в субботу. А на другой день Хайтауэр стоял на кафедре, и снова мешалась религия со скачущей конницей; жена вернулась

в понедельник и в следующее воскресенье опять пришла в церковь — впервые за шесть или семь месяцев — и сидела отдельно сзади. После этого она стала ходить в церковь каждое воскресенье. Потом снова уехала — на этот раз среди недели (дело было в июле, в жару), и Хайтауэр сказал, что она опять поехала к родне в деревню, там прохладнее, и старики со старухами присматривались к нему, не понимая, верит ли он тому, что говорит, а молодые сплетничали за его спиной.

Но они не могли понять, верит ли он сам тому, что говорит, волнует ли его это — если путает религию с дедом, застреленным на скаку, — словно дедово семя, из которого он произрос, тоже было в ту ночь на коне и тоже было убито, и время для семени остановилось на месте, и ничего с тех пор не произошло — даже он сам.

Жена вернулась до воскресенья. Стояла жара; старики говорили, что такой жары не припомнят. В воскресенье она пришла в церковь и села на задней скамье, отдельно. Посреди проповеди она вскочила и начала визжать, кричать что-то в сторону кафедры, грозить кулаками кафедре, где ее муж умолк и, подавшись вперед, замер с поднятыми руками. Сидевшие поблизости пы-

тались ее удержать, но она отбивалась, и Байрону рассказывали, как она стояла — уже в проходе, — визжа и грозя кулаками кафедре, где, подавшись вперед, замер ее муж с поднятой рукой и искаженным лицом, застывшим в тот миг, когда прерван был громокопытный аллегорический период. Неизвестно, кому она грозила — ему или Богу. Потом он спустился, подошел, она перестала биться, он повел ее на улицу, и все головы поворачивались вслед за ними, пока старший священник не приказал органисту играть. Во второй половине дня старейшины собрались при закрытых дверях. О чем там шла речь — неизвестно, видели только, как вернулся Хайтауэр, вошел в комнату собрания и тоже закрыл за собой дверь.

Но что там происходило, люди не знали. Знали только, что церковь собрала деньги, чтобы отправить жену в лечебницу, в санаторий, что Хайтауэр отвез ее, вернулся и в воскресенье, как всегда, произнес проповедь. Женщины, соседки — даже те, которые не заходили в дом священника несколько месяцев, — сочувствовали ему, носили еду и рассказывали друг другу и мужьям, какой кавардак в его доме и что священник, кажется, ест, как животное, — когда захочется и что попадется. Раз в две недели

он навещал жену в санатории, но через день уже возвращался, а в воскресенье опять стоял на кафедре как ни в чем не бывало. Люди справлялись о ее здоровье — с любопытством и сочувствием, — и он благодарил их. А в воскресенье — опять на кафедре, неистово размахивая руками, и в неистовом восторженном голосе гремят призрачные Бог и спасение, скачущая конница и убитый дед, а внизу сидят растерянные и оскорбленные старейшины и прихожане. Осенью вернулась домой жена. Она выглядела лучше. Она пополнела. Но главная перемена заключалась не в этом. Может быть — в том, что она выглядела очистившейся; по крайней мере — проснувшейся. Словом, такой, какой ее всегда хотели видеть дамы, какой, по их убеждениям, должна быть жена священника. Она регулярно посещала церковь и молитвенные собрания, дамы бывали у нее, она — у них и сидела тихо и смирно, даже у себя дома, пока они учили ее, как надо вести хозяйство, как одеваться, чем кормить мужа.

Можно даже сказать, что они ее простили. Никакого преступления или определенного проступка не было названо, и никакой определенной епитимьи на нее не налагали. Но город

не верил, что дамы забыли ее таинственные поездки с конечным пунктом в Мемфисе и целью, относительно которой все придерживались одного мнения, хотя никто не выражал его словами, не высказывал вслух, ибо город считал, что добродетельные женщины нелегко забывают хорошее или дурное — дабы не улетучился аромат и вкус прощения, этого лакомства совести. Ибо город верил, что дамы правду знают, поскольку он верил, что дурное одурачит лишь дурную женщину, так как ей временами приходится отвлекаться от своей подозрительности. Но что добродетельную женщину оно не проведет, ибо если она добродетельная, значит, ей уже нет нужды до своей или чужой добродетели, и потому она в избытке располагает временем, чтобы учуять грех. Вот почему, считали люди, добро может в любую минуту ее одурачить, и она примет его за зло, но само зло ее никогда не одурачит. Словом, через четыре или пять месяцев, когда жена опять уехала и муж опять сказал, что она уехала к родне, в городе решили, что на этот раз даже он не обманывается. Так или иначе, она вернулась, а он как ни в чем не бывало продолжал проповедовать по воскресеньям, навещать прихожан и больных и разговаривать

о своей церкви. Но жена совсем не ходила в церковь, дамы перестали бывать у нее и вообще появляться в доме священника. Даже соседи по обе стороны больше не видели ее возле дома. И скоро стало так, как если бы ее вообще не было, как будто все условились, что ее тут нет, что священник у них не женат. А он проповедовал им каждое воскресенье и уже не говорил, что она поехала к родне. Может быть, он даже радовался этому, думал город. Может быть, он радовался, что ему больше не надо лгать.

Так что никто не видел, как она садилась на поезд в ту пятницу — а может, это было в субботу, в тот самый день. Увидели они лишь воскресную утреннюю газету, где говорилось, что в субботу вечером она выбросилась или упала из окна мемфисской гостиницы и разбилась насмерть. С ней в номере был мужчина. Его арестовали. Он был пьян. Они зарегистрировались как муж и жена, под вымышленными именами. Настоящее свое имя она написала на листке бумаги, который потом порвала и бросила в мусорную корзину, — там его и нашли полицейские. Оно появилось в газетной статейке: жена пастора Гейла Хайтауэра из Джефферсона, Миссисипи. И в статейке описывалось, как редакция в два часа ночи

позвонила мужу и как муж сказал, что ему нечего сказать. А в воскресенье утром, когда люди подошли к церкви, двор был забит мемфисскими репортерами, снимавшими церковь и дом священника. Потом появился Хайтауэр. Репортеры пытались остановить его, но он прошел прямо сквозь них к церкви и там — на кафедру. В церкви уже находились старые дамы и кое-кто из стариков, оскорбленные и возмущенные — не столько мемфисской историей, сколько присутствием репортеров. Но когда появился Хайтауэр и у них на глазах взошел на кафедру, они забыли даже о репортерах. Первыми поднялись и стали уходить дамы. Потом поднялись старики, и в церкви остался только священник, который стоял на кафедре, чуть подавшись вперед и упершись руками в аналой с раскрытой Библией, но даже не опустив головы, и сидевшие рядком на задней скамье мемфисские репортеры (они вошли в церковь за ним). Говорят, он не следил за тем, как уходит его паства, он не смотрел ни на что.

Байрону рассказывали: священник наконец осторожно закрыл Библию, спустился в пустую церковь, прошел по проходу, ни разу не взглянув на репортеров — так же, как не глядели на них

прихожане, — и вышел в дверь. Там, расставив фотоаппараты и спрятав головы под черные покрывала, караулили фотографы. Священник, наверно, предвидел это. Потому что он вышел из церкви, заслонив лицо раскрытым Псалтирем. Но и фотографы, наверно, это предвидели. Потому что они перехитрили его. Видно, он был еще неопытный и его легко было перехитрить, объясняли Байрону. У одного фотографа аппарат стоял сбоку, и священник вообще не заметил его — или заметил слишком поздно. Он прятал лицо от того, что стоял впереди, и появившийся на другой день снимок был сделан сбоку: священник на ходу загораживает лицо книгой. А рот за книгой растянут, словно в улыбке. Но губы плотно сжаты, и лицо напоминает лицо Сатаны на старых гравюрах. На другой день он привез жену и похоронил. Город собрался на похороны. Но заупокойной службы не было. Он даже не перенес тело в церковь. Он отвез его прямо на кладбище и уже собрался сам читать отходную, когда вышел другой священник и отобрал у него Библию. Многие люди, те, что помоложе, остались и смотрели на могилу, когда он и другие ушли.

Затем даже в соседних приходах стало из-

вестно, что церковь просила его уйти и что он отказался. В следующее воскресенье собралось множество любопытных из других приходов. Он появился и вошел в церковь. Вся паства встала как один и вышла, оставив священника с чужими, пришедшими будто на спектакль. И он проповедовал им, как проповедовал всегда, — с яростным увлечением, которое свои считали святотатством, а эти, пришлые, восприняли как полнейшее безумие.

Он не желал уйти. Старейшины попросили церковный совет отозвать его. Но после заметки в газете, фотографий и прочего Хайтауэра не принял бы ни один город. Против него лично никто ничего не имеет, твердили все. Он просто родился невезучим. А в церковь совсем перестали ходить — даже люди из других приходов, первое время забредавшие сюда из любопытства: теперь его служба не была даже спектаклем — только надругательством. Однако каждое воскресное утро в урочный час он приходил в церковь, поднимался на кафедру, и паства вставала и уходила, а бездельники, зеваки выстраивались на улице и слушали, как он проповедует и молится в пустой церкви. И однажды в воскресенье, когда он пришел, дверь оказалась запертой, и зеваки

видели, как он подергал дверь, и покорился, и продолжал стоять, так и не опустив головы, под взглядами выстроившихся вдоль улицы мужчин, которые вообще не ходили в церковь, и мальчишек, которые не знали, в чем дело, но что-то чувствовали и останавливались, глазея на человека, неподвижно стоявшего перед запертой дверью. На другой день город услышал, что он явился к старейшинам и отказался от кафедры для блага церкви.

Город радовался, жалея, — как жалеют порой того, кого заставили наконец подчиниться своей воле. Думали, конечно, что теперь он уедет из города, и церковь собрала деньги, чтобы он мог уехать и обосноваться на новом месте. А он не пожелал покинуть город. Байрону рассказывали, как все были потрясены — уже не просто оскорблены, — когда стало известно, что он купил этот домик на глухой улице, где живет и по сей день; и старейшины снова собрались на совет, потому что, говорили они, деньги даны ему на отъезд, и раз он потратил их на другое, значит, он получил их обманным путем. Явившись к нему домой, они ему так и сказали. Священник просил извинить его; он вернулся в комнату и принес все деньги, которые были ему выданы, точно

до последнего цента и в тех же точно купюрах, и настаивал, чтобы они их взяли. Но они отказались, а он не пожелал объяснить, где он достал деньги на покупку дома. Так что на другой день, как рассказывали Байрону, некоторые стали утверждать, будто он застраховал жизнь жены, а потом нанял убийц. Но все понимали, что это неправда, — и тот, кто рассказывал или повторял это, и тот, кто слушал.

А он не желал уезжать из города. И в один прекрасный день горожане увидели маленькую вывеску, которую он сам сколотил, написал и повесил на дворе, и поняли, что он действительно решил остаться. Он по-прежнему держал кухарку, негритянку. Она работала у него с самого начала. И вот, рассказывали Байрону, когда жена умерла, все вдруг сообразили, что негритянка — женщина и что эта женщина-негритянка целый день одна с ним в доме. И не успел еще, кажется, остыть труп жены в позорной могиле, как поползли слухи. Он, мол, нарочно развратил жену и довел до самоубийства, потому что он — противоестественный муж, противоестественный мужчина, и все — из-за негритянки. И большего не понадобилось; только этого и не хватало. Байрон слушал молча и думал

про себя, что люди, в общем, всюду одинаковы, но, видно, в маленьком городке, где зло осуществить труднее, где возможностей скрытничать меньше, люди зато могут придумать больше зла — приписав его другому. Потому что этого хватило: одной мыслишки, одного-единственного праздного слова, передававшегося из уст в уста. Кухарка отказалась от места. Прошел слух, будто однажды ночью к священнику явились люди в небрежно надетых масках и велели ее уволить. Потом прошел слух, будто на другой день кухарка говорила, что уволилась сама: хозяин якобы просил ее сделать что-то противное Богу и естеству. И говорили, будто какие-то люди в масках припугнули ее, чтобы она уволилась, поскольку она была, что называется, светло-каряя, а в городе нашлось бы три-четыре человека, которые, что называется, возражали бы, если бы она совершила какой-то поступок, казавшийся ей противным Богу и естеству, ибо, как говорили некоторые люди помоложе, если уж черной бабе он кажется противным Богу и естеству, то это, надо думать, довольно пакостный поступок. Как бы там ни было, Хайтауэр не мог найти — или не искал — другую кухарку. Может быть, той же ночью те же люди припугнули и всех

остальных негритянок в городе. Он готовил себе сам, но в один прекрасный день разнесся слух, что он нанял повара-негра. И этим, понятно, себя доконал. Потому что в тот же вечер какие-то люди, без масок даже, вытащили этого негра из дому и выпороли. А наутро, когда Хайтауэр проснулся, окно его кабинета было разбито и на полу лежал кирпич с привязанной к нему запиской, требовавшей, чтобы до заката он убрался из города, и подписанной К. К. К. Но он не уехал, и на другое утро его нашли в лесу, в миле от города. Он был привязан к дереву и избит до потери сознания.

Он не захотел сказать, кто это сделал. Город понимал, что так не годится; к нему пришли несколько человек и опять пытались убедить его, для его же блага, покинуть город, говоря, что в следующий раз его могут убить. Но он отказался уехать. Об избиении он даже разговаривать не хотел — даже когда ему предложили подать на обидчиков в суд. Он не хотел ни того ни другого. Ни рассказывать не хотел, ни уезжать. И вдруг буря улеглась. Как будто город понял наконец, что священник будет частью его жизни, пока не умрет, и лучше всего с этим примириться. Как будто, думал Байрон, вся эта история была пьесой, разыгранной множеством людей,

и теперь, доиграв назначенные им роли, они могли спокойно жить друг с другом. Священника оставили в покое. Его видели за работой в саду или на дворе, встречали на улице или в магазине с корзинкой в руке и с ним заговаривали. Знали, что он сам стряпает и ведет хозяйство, и вскоре соседи снова начали посылать ему еду, хотя еда была такая, какую они посылали бы бедной фабричной семье. Но все же — еда, и от чистого сердца. Потому что, думал Байрон, люди многое забывают за двадцать лет. «Ведь, кроме меня, пожалуй, — думает он, — никто в Джефферсоне не знает, что он у окна сидит с заката до темноты. И каков его дом внутри. И не знают даже, что я знаю, — не то, верно, нас обоих бы вытащили и избили, как в тот раз, — потому что забывчивость людская, видно, так же коротка, как память». Потому что еще одно довелось увидеть и узнать Байрону в нерабочее время с тех пор, как он поселился в Джефферсоне.

Хайтауэр много читал. То есть Байрон вдумчиво, с почтительной робостью рассматривал стены, заставленные книгами — книгами по религии, истории и по естественным наукам, о самом существовании которых Байрон никогда не слыхал. Однажды, года четыре назад, к свя-

щеннику прибежал негр, живший в хибарке на краю города, прямо за домом, и сказал, что его жена рожает. У Хайтауэра не было телефона, он посоветовал негру сбегать к соседу и вызвать врача. Он видел, как негр подошел к воротам соседнего дома. Но не вошел, а, постояв там, двинулся по улице в город — пешком. Хайтауэр знал, что он будет идти пешком всю дорогу до самого города и там, по негритянской своей нерасторопности и неведению времени, потратит, наверное, еще полчаса на поиски врача — вместо того чтобы попросить какую-нибудь белую женщину позвонить по телефону. Он подошел к кухонной двери и услышал, как воет в хибарке неподалеку женщина. Он не стал больше ждать. Он побежал туда и обнаружил, что негритянка слезла с кровати — почему, он так и не узнал — и, стоя на четвереньках, визжа и воя, пытается взобраться с пола обратно на кровать. Он поднял женщину на кровать, велел лежать тихо, припугнув ее, чтобы слушалась, побежал домой, снял с полки в кабинете книгу, взял бритву и шнурок, снова побежал к хибарке и принял младенца. Но младенец был уже мертвый; пришедший с опозданием врач сказал, что она, несомненно, придавила его, слезая с кровати на пол, где ее

застал Хайтауэр. Действия Хайтауэра он одобрил, и муж тоже был удовлетворен.

«Но слишком свежа была еще та история, — подумал Байрон, — хотя прошло целых пятнадцать лет». Потому что уже на третий день поползла сплетня, будто ребенок был от Хайтауэра и он нарочно дал ему умереть. Байрон думал, что сами сплетники не верят в то, что говорят. Он думал, что слишком давней была привычка сочинять про опозоренного священника небылицы, которым город сам не верил, — настолько давней, что от нее уже не могли избавиться. «Потому что каждый раз, — думает он, — когда что-то входит в привычку, оно почему-то далеко уходит от правды и действительности». И он помнит тот вечер, когда в разговоре с ним Хайтауэр сказал: «Они хорошие люди. Они должны верить тому, чему должны верить, тем более что именно я одно время был в вере их наставником и слугой. И поэтому не мне оскорблять их веру, не Байрону Банчу говорить, что они не правы. Ибо единственное, на что может надеяться человек, — это чтобы ему было позволено спокойно жить среди собратьев». Это было вскоре после того, как Байрон узнал его историю, вскоре после того, как начались его вечерние визиты к Хай-

тауэру, и Байрон все еще недоумевал, почему тот остается в Джефферсоне, чуть ли не на виду, чуть ли не на слуху у церкви, которая изгнала его и отвергла. Однажды вечером Байрон спросил об этом.

— А почему вы субботними вечерами работаете на фабрике, когда другие развлекаются в городе? — спросил Хайтауэр.

— Не знаю, — ответил Байрон. — Такая уж, видно, моя жизнь.

— Ну и моя, видно, жизнь такая, — сказал тот.

«Но теперь-то я знаю почему, — думает Байрон. — Потому что не так страшна человеку беда, которая случилась, как та, которая может случиться. За привычную беду он цепляться будет — лишь бы ничего не менять. Да. Человек будет говорить, как бы он хотел скрыться от живых людей. Но вредят ему мертвые. От мертвых, что тихо лежат на месте и не пытаются его удержать, — вот от кого ему не скрыться».

Они уже прогремели мимо и беззвучно вломились в сумрак; ночь наступила. Но он по-прежнему сидит у окна, и за спиной его в кабинете по-прежнему темно. Фонарь на углу помаргивает и блещет, и обкусанные тени кленов как будто парят в безветренной августовской тьме. Изда-

лека, очень тихо, но очень внятно доносится слитное церковное пение; звук, строгий и вместе с тем глубокий, смиренный и гордый, накатывается и замирает в недвижной августовской тьме, как волны прибоя.

Затем он видит, что по улице приближается человек. В будний вечер он узнал бы его — по фигуре, осанке, походке. Но в воскресный вечер, когда эхо мнимых копыт еще беззвучно ломится в затопленный тьмой кабинет, он спокойно наблюдает мелкую пешую фигуру, движущуюся с мишурной, ненадежной ловкостью прямоходящих животных — той ловкостью, которой животное человек так глупо гордится и которая неизменно подводит его — по вине ли природных явлений, как, например, тяжести и льда, или посторонних предметов, им же самим изобретенных, вроде автомобилей и мебели в темноте или остатков его же пищи на полу и тротуаре; и он спокойно думает, как правы были древние, сделав лошадь атрибутом и эмблемой воинов и королей, и в это время видит, что человек миновал вывеску, свернул в его ворота и приближается к дому. Подавшись вперед, он смотрит, как человек идет по темной дорожке к темной двери, он слышит, как человек шумно спотыкает-

ся о темную ступеньку. «Байрон Банч, — говорит он. — В воскресный вечер в городе. Байрон Банч в воскресенье в городе».

4

Они сидят и смотрят друг на друга через письменный стол. Теперь кабинет освещен — настольной лампой под зеленым абажуром. Хайтауэр сидит в старинном вращающемся кресле, Байрон — напротив него, на стуле. Лица их заслонены от прямого света абажуром. Через открытое окно доносится пение из далекой церкви. Байрон говорит ровным, монотонным голосом:

— Странная вышла история. Я думал: где-где, а уж там, на фабрике, в субботу вечером, у человека не будет случая причинить кому-нибудь вред. Да еще когда этот дом горит, можно сказать, прямо у меня под носом. И вроде, пока обедал, нет-нет да и подыму голову, посмотрю на этот дым и думаю: «Ну сегодня-то вечером я тут ни души не увижу. Сегодня вечером мне уж никто не помешает». Потом поднял голову — глядь, она стоит, и уже улыбаться собралась, уже губы сложила, чтобы его имя назвать, и тут видит, что я не тот. А я ничего лучше не придумал, как все ей выболтать. — На лице его появляется легкая гримаса. Это не улыбка: только верхняя

губа приподнимается на миг, и движение это, даже морщинки на коже, не идет дальше, а тут же прекращается. — У меня тогда и в мыслях не было, что самого-то плохого я еще не знаю.

— Да, странная должна быть история, если Байрон Банч остался на воскресенье в городе, — говорит Хайтауэр. — Однако она его искала. А вы ей помогли его найти. Разве вы сделали не то, чего она хотела, ради чего шла сюда из Алабамы?

— Да уж, это я ей сказал. Что и говорить. Смотрит на меня, сидит с большим своим животом и смотрит, а глаза такие, что и захочешь — не соврешь. Ну и болтаю — хотя дым этот прямо перед глазами, словно нарочно там зажгли, предупредить меня, чтобы язык не распускал, — да не хватило ума догадаться.

— А-а, — говорит Хайтауэр. — Это дом, что вчера горел. Но я не вижу связи между… Чей это дом? Я тоже видел дым и еще спросил прохожего негра, но он не знал.

— Берденов старый дом, — отвечает Байрон. Он смотрит на священника. Они смотрят друг на друга. Хайтауэр — высокий мужчина, и когда-то был худым. Но теперь он не худой. Кожа у него — цвета мучного мешка, и торс, похожий на плохо наполненный мешок, свисает под соб-

ственной тяжестью с худых плеч на колени. Потом Байрон говорит: — Вы еще не слышали. — Священник смотрит на него. Байрон задумчиво говорит: — Значит, и это на меня ложится. За два дня двоим людям сказать то, чего им не захочется слышать, чего им по-настоящему и слышать бы не нужно.

— Что же это такое, чего я, по-вашему, не захочу услышать? Чего это такого я не слышал?

— Не про пожар, — отвечает Байрон. — Они-то из огня выбрались.

— Они? Я думал, мисс Берден живет одна.

Снова Байрон останавливает на нем взгляд. Но лицо Хайтауэра выражает лишь серьезность и интерес.

— Браун и Кристмас, — говорит Байрон. Лицо Хайтауэра все еще не меняется. — Вы даже об этом не слышали, — говорит Байрон. — Они там жили.

— Жили там? Снимали комнаты?

— Нет. В старой негритянской хибарке за домом. Кристмас отремонтировал ее три года назад. С тех пор и жил там — а люди голову ломали, где он ночует. Потом, когда сошелся с Брауном, пустил его к себе.

— А-а, — сказал Хайтауэр. — Но я не понимаю…

Если им было удобно, и мисс Берден не…

— Думаю, они ладили. Они продавали виски, а старая усадьба была у них вроде штаба и для отвода глаз. Не думаю, что она про это знала — про виски. Люди по крайней мере не знают, знала она или нет. Говорят, Кристмас начинал один три года назад и продавал с оглядкой, только постоянным покупателям, которые даже друг друга не знали. А когда он взял в долю Брауна, Браун, видно, захотел расширить дело. Продавал четвертинками из-за пазухи, прямо в переулке, кому попало. То есть продавал, чего сам не допил. А как они добывали виски на продажу — это тоже дело темное. Потому что недели через две после того, как Браун ушел с фабрики и нашел себе другую работу — кататься на их-ней новой машине, — в субботу вечером он был в городе выпивши и хвастался перед народом в парикмахерской, как они с Кристмасом чего-то там ночью в Мемфисе, не то на дороге под Мемфисом. И чего-то про эту машину, спрятанную в кустах, и про Кристмаса с пистолетом, а потом — все про какой-то грузовик и четыреста литров, но тут Кристмас вошел и сразу к нему, выдернул его из кресла. И говорит тихим голосом, не то чтобы ласково, но и без злости: «Тебе

поменьше надо пить этой джефферсонской воды для волос. Она тебе в голову ударила. Оглянуться не успеешь, как усы появятся». Одной рукой держит Брауна, а другой по лицу хлещет. И хлещет вроде не сильно. Но красное, говорят, даже сквозь баки у Брауна было видно — когда Кристмас руку отводил. «Выйди, свежим воздухом подыши, — Кристмас говорит. — Людей от работы отвлекаешь». — Байрон задумывается. Потом говорит: — И нате вам — она; сидит на рейках и смотрит на меня, я ей все это расписываю, а она смотрит. А потом говорит: «А нет ли у него такого белого шрамика возле рта?»

— Значит, это Браун, — говорит Хайтауэр. Он сидит неподвижно, глядя на Байрона со спокойным изумлением. В нем нет никакой воинственности, никакого праведного негодования. Как будто речь идет о жителях другой планеты. — Ее муж бутлегер. Так, так, так. — И Байрон различает в лице священника что-то дремлющее, близкое к пробуждению, самим Хайтауэром еще не осознанное — как если бы что-то внутри человека пыталось предупредить его или подготовить. Но Байрону в этом видится лишь отражение того, что он сам уже знает и собирается сказать.

— Словом, я и оглянуться не успел, как все ей

выложил. Прямо язык себе готов был откусить — и притом ведь не знал еще, что это — не все. — Теперь он не смотрит на собеседника. За окном тихо, но внятно в вечерней тишине слышатся из далекой церкви согласные звуки органа и пения. *А он, интересно, слышит?* думает Байрон *Или он слушал это так долго и так часто, что и не слышит больше? И ему уже не нужно не слушать?* — Сидела там весь вечер, пока я работал, и уж дым пропал, а я все придумываю, что ей сказать, что делать. Она хотела прямо туда идти и чтобы я ей сказал дорогу. А когда я ей сказал, что дотуда две мили, она только улыбнулась, словно я ребенок или еще кто. «Я пришла из Алабамы, — говорит. — Подумаешь, еще две мили». Тогда я ей говорю… — Голос его обрывается. Он как будто разглядывает пол под ногами. Он поднимает глаза. — Я, наверно, соврал. Только это не совсем вранье. Я ведь знал, что там люди собрались, на пожар смотрят, а она придет и будет про него спрашивать. А остального я и сам тогда не знал. Главного-то. Самого худшего. Ну и сказал ей, что он занят своей работой и лучше всего его искать в центре, после шести. Это как раз правда. Ведь он небось работой это называет — таскать свои холодные бутылочки

нагишом на груди, и если его на площади нет, значит, он идет сюда, только задержался или в переулок на минуту отошел. Словом, уговорил я ее подождать, она сидит, а я работаю и голову ломаю, что делать. Как подумаешь, что я тогда знал, из-за чего беспокоился, — теперь, когда остальное знаю, кажется, и беспокоиться было не из-за чего. Весь день думаю, как было бы просто, если бы снова сделался вчерашний день и никаких других забот не было, кроме вчерашних.

— Не понимаю все-таки, о чем вам беспокоиться, — говорит Хайтауэр. — Вина не ваша, что он такой, какой он есть, и что она такая. Вы сделали что могли. Все, что можно требовать от постороннего. Если, конечно… — Его голос тоже обрывается. Он замирает на этом переходе — словно праздное рассуждение стало мыслью, а затем — чем-то вроде участия. Напротив него сидит неподвижно Байрон, потупив серьезное лицо. А напротив Байрона Хайтауэр еще не думает *любовь*. Он только помнит, что Байрон еще молод и провел жизнь в воздержании и тяжелом труде и что, судя по рассказу Байрона, женщина, которой он сам не видел, вызывает какое-то волнение по меньшей мере, хотя Байрон продолжает считать его просто жалостью. И теперь он смотрит

на Байрона не холодно и не ласково, а испытующе; Байрон между тем монотонно продолжает рассказ: как к шести часам он все еще не мог ни на что решиться и как, подходя с Линой к площади, он по-прежнему был в нерешительности. И когда Байрон тихо говорит, рассказывает о том, как уже на площади он решил отвести Лину в дом миссис Бирд, на озадаченном лице Хайтауэра выражается опаска, дурное предчувствие. А Байрон рассказывает тихо, думает, вспоминает. Словно разлилось что-то в воздухе, в вечере, сделав знакомые лица людей непривычными, и он — еще ничего не услышав, не зная даже, что произошло событие, после которого прошлое его затруднение покажется детским, — понял раньше, чем узнал о происшедшем, что Лина об этом слышать не должна. Без всякой подсказки было ясно, что он таки нашел пропавшего Лукаса Берча; теперь ему казалось, что только полнейшая тупость и скудоумие помешали ему это понять. Ему казалось, что сама судьба, случай предупреждали его весь день, воздвигнув этот столб желтого дыма, а он по глупости не разгадал знамения. И вот он не давал им говорить — встречным людям, самому воздуху, который был этим полон, — только бы не услы-

шала Лина. Возможно, он тогда уже понимал, что рано или поздно ей придется об этом узнать, услышать, что в каком-то смысле это — ее право. Просто ему казалось, что если ему удастся провести ее через площадь домой, с него будет снята ответственность. Не за зло, за которое он считал себя ответственным — по той простой причине, что провел с ней вечер, когда оно творилось, что был избран случаем представлять Джефферсон, куда она добиралась тридцать дней, пешком, без денег. Он не имел ни намерения, ни надежды уклониться от этой ответственности. Он хотел только оттянуть, для себя и для нее, миг удивления и ужаса. Он рассказывает об этом тихо, ровным, невыразительным голосом, запинаясь, понурив голову, и Хайтауэр смотрит на него через стол, слушает по-прежнему с опаской и неохотой.

Наконец они оказались у пансиона и вошли. И в ней как будто тоже проснулось дурное предчувствие: стоя с ним в передней и внимательно глядя на него, она впервые заговорила:

— Что это они все хотели вам сказать? Что там стряслось на пожаре?

— Да так, ничего, — ответил он, и собственный голос показался ему пустым и скучным. — Мисс

Берден будто бы поранилась.

— Как поранилась? Сильно поранилась?

— Да нет вроде. Может, и не поранилась вовсе. Скорей всего болтают просто. Что в голову взбредет. — Он не мог посмотреть на нее, выдержать ее взгляд. Но чувствовал, что она наблюдает за ним, и будто слышал несметный гомон: голоса, приглушенные, напряженные голоса по всему городу, на площади, через которую он торопливо ее вел, — повсюду, где люди собирались среди мирных, привычных огней и разговаривали о том самом. В доме, казалось, тоже царили привычные звуки, но главным образом — оторопь, чудовищное оцепенение, и, глядя в тускло освещенную переднюю, он думал *Чего же она не идет. Чего же она не идет* Наконец миссис Бирд пришла: уютная, с красными руками и растрепанными седоватыми волосами.

— Это миссис Берч, — сказал он. Взгляд его, настойчивый, упорный, почти горел. — Она из Алабамы, только что пришла в город. Надеется встретить тут своего мужа. Его еще нет. Вот я ее и привел, пускай передохнет немного, пока ее не втянули в эти городские передряги. Она еще в городе не была, ни с кем не разговаривала — я и подумал, может, вы ее где-нибудь устроите

отдохнуть, пока ее не начали донимать разговорами и… — Голос его, упорный, настойчивый, повторяющий одно и то же, пресекся, замер. Ему показалось, что она поняла его. Позже он сообразил, что не по его просьбе она умолчала о новостях, которые — он был уверен в этом — до нее уже дошли, а потому что обратила внимание на беременность и воздержалась бы от рассказа в любом случае. Она измерила Лину коротким пронзительным взглядом, как это делали в течение вот уже четырех недель другие незнакомые женщины.

— Сколько она думает пробыть? — спросила миссис Бирд.

— Ночи две, — сказал Байрон. — Может, только сегодняшнюю. Надеется встретить тут мужа. Она только что пришла и не успела еще спросить, разузнать… — Тон его был все так же настойчив, многозначителен. Теперь миссис Бирд наблюдала за ним. Он думал, что она все еще пытается понять его намек. Она же, наблюдая, как он путается в словах, думала (или готова была подумать), что его замешательство имеет совсем другой смысл и причину. Затем она снова взглянула на Лину. Нельзя сказать, что холодно. Но без теплоты.

— По-моему, ей ни к чему сразу куда-то тащиться, — сказала она.

— Вот и я так думаю, — живо подхватил Байрон. — Тут эти волнения, разговоры — ей придется слушать, а она к этим волнениям, разговорам не привыкла… Если у вас сегодня все занято, может, ее в мою комнату поселить?

— Да, — сразу откликнулась миссис Бирд. — Вы ведь все равно сейчас уедете. Хотите, чтобы она в вашей комнате пожила до понедельника, пока вы не вернетесь?

— Сегодня я не поеду, — сказал Байрон. Он не отвел глаза. — В этот раз не смогу. — Он выдержал ее холодный и уже недоверчивый взгляд, надеясь, что она прочтет в его ответном взгляде то, что там есть, а не то, что она ему припишет. Говорят, будто обман удается опытному лжецу. Но часто опытный, закоренелый лжец обманывает одного себя; легче всего верят лжи человека, который всю жизнь был каторжником собственной правдивости.

— Ага, — сказала миссис Бирд. Она опять посмотрела на Лину. — У нее нет знакомых в Джефферсоне?

— Она тут никого не знает, — сказал Байрон. — Знакомые у ней — все в Алабаме. Мистер Берч,

наверное, утром появится.

— Ага, — сказала миссис Бирд. — А вы где ляжете? — Но ответа она не дождалась. — Пожалуй, я ей сегодня поставлю койку у себя в комнате. Если она не против.

— Прекрасно, — сказал Байрон. — Прекрасно.

Когда позвонили к ужину, он уже был наготове. Он улучил время переговорить с миссис Бирд. Ложь для этого он сочинял дольше, чем все предыдущее. Но она оказалась ненужной; то, что он хотел скрыть, само послужило себе прикрытием.

— Мужчины будут говорить об этом за столом, — сказала миссис Бирд. — Я думаю, женщине в ее положении (*притом разыскивающей мужа по фамилии Берч,* — едко заметила она про себя) незачем больше слушать про мужское шалопутство. Приведете ее позже, когда они поедят.

Байрон так и сделал. Лина опять ела прилежно, с тем же серьезным, чинным прилежанием и, не успев кончить, почти уснула над тарелкой.

— Устаешь больно путешествовать-то, — объяснила она.

— Поди посиди в гостиной, пока я тебе койку постелю, — сказала миссис Бирд.

— Я хочу помочь, — сказала Лина. Но даже Бай-

рон видел, что она не хочет: сон валил ее с ног.

— Поди посиди в гостиной, — сказала миссис Бирд. — Я думаю, мистер Банч не откажется побыть с тобой минутку-другую.

— Я боялся оставить ее одну, — говорит Байрон. По ту сторону стола Хайтауэр не пошевелился. — И вот, когда мы там сидели, как раз в это время все выходило наружу, как раз в это время Браун у шерифа все рассказывал — про себя, про Кристмаса, про виски и про все остальное. Только виски было не такой уж новостью — с тех пор, как он взял Брауна в напарники. Я думаю, люди только одного не могли понять: почему он вообще связался с Брауном. Может быть — потому, что свой своего не только ищет, ему попросту не укрыться от своего. Даже когда у своих общего — только одно; потому что даже эти двое со своим общим были разными. Кристмас шел против закона, чтобы заработать, а Браун шел против закона потому, что у него ума не хватало понять, на что он идет. Как в тот вечер в парикмахерской, когда он горланил спьяну, покуда Кристмас не прибежал и не уволок его. А мистер Макси сказал: «Как вы думаете, чего это он сейчас чуть не наговорил на себя и на того?» — а капитан Мак-Лендон отвечает: «Я вообще про это не думаю», — тогда

мистер Макси говорит: «Вы думаете, они правда ограбили чужой грузовик со спиртным?» И Мак-Лендон говорит: «А вас бы не удивило, если бы вам сказали, что за этим Кристмасом не водилось грехов похуже?»

Вот про что Браун рассказывал вчера вечером. Но это все знали. Давно уже говорили, что не мешало бы все-таки предупредить мисс Берден. Только, думаю, охотников не было идти туда предупреждать — никто ведь не знал, чем это кончится. Думаю, кое-кто из местных ни разу в жизни ее не видал. Я, пожалуй, тоже не захотел бы идти в этот старый дом — да никто к ней и не ходил, иногда только проезжие с повозки видели, как она на дворе стоит, в таком чепце и платье, что и негритянка не каждая наденет — до того страшны. А может, она и сама знала. И, может, была не против — раз она северянка и всякое такое. И кто ее знает, чем это могло кончиться.

Словом, боялся я оставить ее одну, пока она не ляжет. Я сразу хотел к вам пойти, в тот же вечер. Но оставить ее боялся. Жильцы по передней ходят туда-сюда — думаю, еще взбредет кому-нибудь в голову подойти — заведут про это разговор и все ей выложат; уж слышу, они про это

на крыльце говорят, а она все смотрит на меня, и по лицу видно, что опять хочет спросить про пожар. Поэтому и боялся ее оставить. Сидим мы в гостиной, глаза у нее слипаются, а я ей все толкую, что найду его непременно, только мне надо пойти поговорить со знакомым священником, который может в этом деле помочь. Я ей твержу, а она сидит, глаза закрыла и не знает, что я знаю, что они с этим парнем еще не женаты. Она думала, что всех обманула. И спрашивает меня, что это за человек, которому я хочу про нее рассказать; я ей отвечаю, а она сидит с закрытыми глазами, и в конце концов я ей говорю: «Вы ни слова не слышали, что я вам говорил», — тут она вроде как встрепенулась, правда, глаз не открыла, и спрашивает: «А женить он еще может?» — я говорю: «Чего? Чего может?» — «Священник-то он, — говорит, — настоящий? Может еще женить?»

Хайтауэр не шелохнулся. Он сидит за столом выпрямившись, руки лежат параллельно на ручках кресла. Пиджака на нем нет; рубашка — без воротничка. Лицо у него худое и вместе с тем дряблое, словно два лица, наложенные друг на друга, смотрят из-под бледной лысой черепной коробки с венчиком седых волос, из-за пары

неподвижно блестящих окуляров. Часть торса, возвышающаяся над столом, оплыла, она обезображена рыхлым ожирением сидячей жизни. Он напрягся; опаска, желание уклониться явственно написаны на его лице.

— Байрон, — говорит он, — Байрон, что это вы мне рассказываете?

Байрон умолкает. Он тихо смотрит на священника с выражением соболезнования, жалости.

— Я знал, что вы еще не слышали. Знал, что это на меня ляжет — рассказать вам.

— Чего же я еще не слышал?

— Про Кристмаса. Про вчерашнее и про Кристмаса. В Кристмасе есть негритянская кровь. Про него, и Брауна, и про вчерашнее.

— Негритянская кровь, — говорит Хайтауэр. Голос его звучит легковесно, буднично — как будто перышко беззвучно и невесомо падает в тишину. Он не шевелится. Не шевелится еще несколько мгновений. Затем кажется, что всем его телом овладевает — словно части его подвижны, как черты лица, — это желание уклониться, отвести от себя опасность, и Байрон видит, что его большое, вялое, застывшее лицо вдруг залоснилось от пота. Но тон его легковесен, спокоен. — Что про Кристмаса, Брауна и вчераш-

нее? — произносит он.

Музыка в далекой церкви давно смолкла. В комнате слышен лишь настойчивый звон насекомых да монотонный голос Байрона. Выпрямившись, сидит за столом Хайтауэр. С параллельно лежащими на подлокотниках ладонями, до пояса скрытый столом, он напоминает восточного идола.

— Это было вчера утром. Один деревенский с семьей ехал в город на повозке. Он первый увидел пожар. Нет, он попал туда вторым, потому что, говорит, там уже был один человек, когда он взломал дверь. Говорит, что, когда они увидели дом, он сказал жене: больно уж много дыму идет из кухни, — потом они проехали еще немного, и жена сказала: «Дом горит». И, думаю, он, наверно, остановил повозку, и они посидели немного в повозке, поглядели на дым, и, думаю, погодя еще немного он сказал: «Похоже на то». И думаю, что это жена велела ему слезть и посмотреть. «Они не знают, что горят, — так, я думаю, она сказала. — Поди, скажи им». Он слез с повозки, поднялся на крыльцо и немного постоял там и покричал: «Эй! Эй!» Он говорит, что огонь в доме уже был слышен, и тогда он вышиб дверь плечом, вошел и увидел того, кто первым уви-

дел пожар. Это был Браун. Но деревенский его не знал. Он сказал только, что в передней стоял пьяный, вид у него был такой, как будто он только что свалился с лестницы, и деревенский ему сказал: «У вас дом горит, уважаемый», — и тут только понял, до чего тот пьян. И он говорит, пьяный все время твердил, что наверху никого нет и что верх все равно горит и бесполезно спасать оттуда вещи.

Но деревенский смекнул, что наверху такого огня быть не может — весь огонь был в задней стороне, ближе к кухне. Да и слишком пьян был тот, ничего не соображал. И он сказал, что сразу заподозрил неладное — по тому, как пьяный не пускал его наверх. Он пошел наверх, пьяный попробовал удержать его, но он пьяного оттолкнул и пошел. Он говорит, пьяный стал было подниматься за ним и все доказывал, что наверху ничего нет, но потом, говорит, когда он спустился и вспомнил про пьяного, того уж и след простыл. Только, думаю, он не сразу про Брауна вспомнил. Потому что, наверх поднявшись, он снова начал кричать и открывать двери, а потом открыл ту дверь и ее увидел.

Он умолкает. В комнате не слышно ничего, кроме насекомых. За окном пульсирует и бьется,

навевая дрему, несметный насекомый хор.

— Увидел, — говорит Хайтауэр. — Он увидел мисс Берден. — Он не шевелится. Байрон на него не смотрит; можно подумать, что он разглядывает руки на коленях, пока говорит.

— Она лежала на полу. Голова почти начисто отрезана; дама с проседью. Он рассказывает, как стоял там и слышал огонь, и в комнате уже был дым, словно нашел за ним следом. И как он боялся поднять и вынести ее, потому что голова могла оторваться. И как потом сбежал обратно по лестнице, выскочил из дома, не заметив даже, что пьяного нет, выбежал на дорогу и велел жене гнать к ближайшему телефону и шерифа тоже вызвать. Потом побежал за дом, к баку, — говорит, уже вытаскивал полное ведро, и только тут сообразил, что это глупо, когда вся задняя часть дома полыхает. Тогда он побежал обратно в дом и снова вверх по лестнице, в ту комнату, сорвал с кровати покрывало, закатал ее в покрывало, ухватил за края и вскинул на спину, как мешок крупчатки, вынес из дома и положил под дерево. И чего он боялся, говорит, как раз случилось. Покрывало развернулось, а она на боку лежит, передом в одну сторону, а лицом аккурат в обратную. Будто назад оглядывается. Это, говорит,

она живая могла так сделать, а тут-то не должна была бы.

Байрон умолкает и смотрит, бросает взгляд на человека за столом. Хайтауэр не шевельнулся. Лицо его за парой отсвечивающих стекол обливается потом.

— Явился шериф, и пожарная команда явилась. Но сделать ничего не могла, потому что не было воды для брандспойта. И старый дом горел весь вечер, я видел дым с фабрики и еще ей показал, когда пришла, потому что не знал ничего. А мисс Берден отвезли в город, и в банке лежала бумага, в которой, она им сказала, написано, что с ней делать, когда она умрет. Там было написано, что на Севере, откуда она приехала — родня ее откуда приехала, — у ней есть племянник. Племяннику отбили телеграмму, а через два часа пришел ответ, что племянник заплатит тысячу долларов за поимку убийцы.

А Кристмас с Брауном скрылись. Шериф дознался, что в хибарке жили, и тут все сразу начали рассказывать про Кристмаса и Брауна — все, которые помалкивали, покуда один из них или оба вместе не убили эту даму. И до вчерашнего вечера ни того, ни другого найти не удавалось. А деревенский тот не знал, что пьяный, которого он

в доме встретил, был Браун. Люди стали думать, что они сбежали — и он и Кристмас. А потом, вечером вчера, Браун объявился. Уже трезвый — вышел часов в восемь на площадь и стал кричать как ненормальный, что это Кристмас ее убил, и требовать тысячу долларов. Позвали полицейских, отвели его к шерифу и сказали, что деньги будут его, как только он поймает Кристмаса и докажет, что Кристмас это сделал. И тогда Браун сказал. Сказал, что, когда они с Кристмасом познакомились, Кристмас уже три года жил с мисс Берден. Сперва, Браун говорит, когда он поселился в хибарке у Кристмаса, Кристмас ему сказал, что все время тут ночует. А потом, говорит, он однажды ночью не мог уснуть и услышал, как Кристмас вылез из постели, подошел, постоял над его койкой, вроде как прислушиваясь, а потом на цыпочках — к двери, отворил ее тихонько и вышел. И Браун сказал, что он тоже поднялся и — за Кристмасом, и видит, как тот подошел к большому дому и вошел с черного хода — то ли, значит, его оставили для Кристмаса открытым, то ли ключ у него был. Тогда Браун вернулся в хибару и лег. Но не мог, говорит, уснуть — такой его смех разбирал, что хитрость у Кристмаса не удалась. Лежал он так с час примерно, а потом

Кристмас вернулся. И тогда, он говорит, совсем уже не мог удержаться от смеху и сказал Кристмасу: «Ну, ты и прохвост». И тогда, он говорит, Кристмас прямо замер в темноте, а он лежит, смеется над Кристмасом — мол, не такой уж он, выходит дело, ловкач, и все прохаживается насчет седых волос и насчет того, что если Кристмас хочет, он согласен чередоваться с ним — по неделе, в уплату за жилье.

Потом он сказал, как он понял в ту ночь, что рано или поздно Кристмас убьет ее или еще кого-нибудь. Он, значит, лежал, смеялся и думал, что Кристмас опять собирается спать, а Кристмас вдруг чиркнул спичкой. Тогда он, говорит, кончил смеяться, только лежал и смотрел, а Кристмас зажег фонарь и поставил на ящик возле койки Брауна. И Браун говорит, что он больше не смеялся, только лежал, а Кристмас встал над его койкой и смотрит на него сверху. «Ну, ты нашел себе потеху, — Кристмас ему говорит. — Будет над чем посмеяться завтра вечером, когда расскажешь в парикмахерской». И Браун говорит, он не понял, что Кристмас взбеленился, и вроде тоже огрызнулся, но не так, чтобы его разозлить, и тут Кристмас говорит ровным своим голосом: «Недосыпаешь ты. Слишком долго не спишь.

Тебе, пожалуй, надо больше спать», — а Браун спрашивает: «На сколько больше?» — и Кристмас говорит: «Может — навсегда». И Браун говорит, он понял тогда, что Кристмас взбеленился и дразнить его не стоит, и сказал: «Разве мы не друзья? С чего это я буду трепаться про чужие дела? Ты моему слову не веришь?» — а Кристмас сказал: «Не знаю. И знать не хочу. Но ты моему слову можешь поверить». И посмотрел на Брауна. «Можешь?» И Браун говорит, он сказал «Да».

И стал говорить, как он боялся, что однажды ночью Кристмас убьет мисс Берден; шериф спрашивает, — как же так он не удосужился сообщить о своих опасениях, а Браун говорит, он подумал, что если ничего не скажет, то сможет там жить и помешать этому, а полицию не беспокоить — и шериф вроде как хрюкнул и сказал, что это со стороны Брауна очень любезно и что мисс Берден наверняка бы поблагодарила его, если бы знала. И тут, я думаю, до Брауна дошло, что у него, значит, тоже рыльце в пуху. Потому что он принялся рассказывать, что машину Кристмасу купила мисс Берден и как он уговаривал Кристмаса бросить торговлю виски, пока они оба не попали в беду; полицейские смотрят на него, а он все быстрей и быстрей говорит,

все больше, больше, что он, дескать, проснулся в субботу рано и видел, как Кристмас встал на рассвете и ушел. И он, дескать, знал, куда идет Кристмас, а часов в семь Кристмас вернулся в хибарку, стал и смотрит на Брауна. И говорит: «Я сделал это». Браун: «Что сделал?» И Кристмас говорит: «Поди в дом, посмотри».

И Браун сказал, что он испугался, но в чем дело, даже не подозревал. Он говорит, от силы думал, что Кристмас мог ее избить. И говорит, что Кристмас опять вышел, а он встал, оделся и, когда разводил огонь, чтобы приготовить завтрак, случайно выглянул за дверь и увидел, что вся кухня в большом доме горит.

«В котором часу это было?» — шериф спрашивает.

«Часов в восемь, наверно, — Браун говорит. — Когда человек встает? Если он не богач. А я, видит Бог, не из них».

«А о пожаре, — шериф говорит, — сообщили только к одиннадцати. И в три часа дня дом еще горел. Вы что же, хотите сказать — старый деревянный дом, пусть даже большой, будет гореть шесть часов?»

Браун сидит, смотрит туда-сюда, а они — вокруг, наблюдают за ним, кольцом окружили.

Браун им: «Я вам правду говорю. Вы же сами просили». А сам туда-сюда смотрит, головой вертит. А потом чуть ли не в крик: «Почем я знаю, сколько было времени? Вы что думаете — человек, который заместо негра, раба на лесопилке ишачит, такой богач, чтобы часы носить?»

«Ни на какой ты лесопилке — и вообще нигде не работаешь полтора месяца, — полицейский говорит. — И если человек может позволить себе целый день кататься на новой машине, то он может позволить себе раз-другой проехать мимо суда и время по часам заметить».

«Сказано вам, это была не моя машина! — Браун говорит. — Это его машина. Она ее купила и ему отдала — женщина отдала, которую он убил».

«Это дело десятое, — шериф говорит. — Дайте ему досказать».

И Браун стал досказывать, и все громче, громче, все быстрей, быстрей — словно Джо Браун старался спрятать за тем, что говорил про Кристмаса, — покуда Браун не улучит момент цапнуть эту тысячу долларов. Вот ведь что самое удивительное: некоторые люди думают, будто зарабатывать или добывать деньги — это такая игра, где никаких правил нет. Он сказал, что даже

когда увидел пожар, у него и в мыслях не было, что она еще в доме, тем более — мертвая. И, говорит, ему даже в голову не пришло заглянуть в дом: он только думал, как бы пожар потушить.

«И это, — шериф говорит, — было около восьми утра. Вы так утверждаете. А жена Хемпа Уолера сообщила о пожаре почти в одиннадцать. Долго же вы соображали, что не сможете голыми руками потушить пожар». А Браун сидит между них (дверь они заперли, а окна все лицами снаружи загорожены), глаза туда-сюда бегают, зубы оскалил. «Хемп утверждает, что, когда он выломал дверь, в доме уже находился человек, — шериф говорит. — И что этот человек пытался не пустить его наверх». А он сидит посередке и глазами шныряет, шныряет.

К этому времени, я думаю, он отчаялся. Я думаю, он не только увидел, что тысяча долларов уплывает от него все дальше и дальше, — ему уже виделось, как кто-то другой ее получает. Я думаю, ему мерещилось, что эта тысяча вроде как у него в кармане, а тратит ее кто-то другой. Потому что, говорят, похоже было, будто то, что он сказал теперь, он нарочно придерживает на этот случай. Как будто знал, что, если влипнет, это его спасет, — хотя белому человеку признаться

в том, в чем он признался — едва ли не хуже, чем быть обвиненным в самом убийстве. «Ну конечно, — он говорит. — Валяйте, обвиняйте меня. Обвините белого, который хочет вам помочь, рассказать, что знает. Обвините белого, а нигера — на волю. Белого обвините, а нигер пускай бежит».

«Нигер? — шериф говорит. — Нигер?»

И тут он вроде понял, что они у него в руках. Вроде в чем бы они его ни заподозрили — все будет ерундой рядом с тем, что он им про другого скажет. «Ну, вы же умники, — говорит. — У вас тут все в городе умники. Три года вас дурачили. Иностранцем три года его называли, а я на третий день догадался, что он такой же иностранец, как я. Догадался до того, как он сам мне сказал». Все на него смотрят, взглядом перекинутся — и опять на него.

«Ты, знаешь, со словами поаккуратней, если про белого говоришь, — полицейский его предупреждает. — Все равно, убийца он или нет».

«Я про Кристмаса говорю, — Браун отвечает. — Убил белую женщину после того, как три года жил с ней на виду у целого города — и ведь он все дальше, все дальше от вас уходит, пока вы тут обвиняете человека, который один мо-

жет его найти, который знает, что он натворил. В нем негритянская кровь. Я это с первого взгляда понял. А вы тут, приятели, шерифы-умники и прочие… Один раз он даже сам признался — сам мне сказал, что в нем негритянская кровь. Может, спьяну сболтнул — не знаю. Только на другое утро он подошел ко мне и сказал (а сам Браун словами сыплет, зубами, глазами сверкает по кругу, то на одного, то на другого), говорит: «Вчера вечером я сделал ошибку. Смотри не повтори ее». А я сказал: «Какую такую ошибку?» Он говорит: «Подумай немного». Я подумал, он — про то, что однажды ночью сделал, когда мы были в Мемфисе, а я-то знаю, что за жизнь мою ломаного гроша не дадут, если я стану ему перечить, ну и сказал: «Я тебя понял. Не собираюсь я лезть не в свое дело. И никогда, по-моему, за мной такого не водилось». И вы бы так сказали, — Браун говорит, — если бы очутились с ним один на один в хибарке: там и закричишь — никто не услышит. И вы бы опасались — покуда люди, которым хочешь помочь, на тебя же не стали бы вешать чужое убийство». Он сидит, глазами рыщет, рыщет, а они на него глядят, и снаружи к окнам лица прилипли.

«Нигер, — полицейский говорит. — Я все время

думал: что-то в этом парне странное».

Тут опять шериф вмешался: «Так вы поэтому до нынешнего вечера скрывали, что там творится?»

А Браун сидит среди них, зубы ощерил, и шрам этот маленький возле рта — белый, как воздушная кукуруза. «Вы мне покажите, — говорит, — человека, который бы по-другому поступил. Вот чего я прошу. Только покажите — человека, который столько прожил бы с ним, узнал бы его, как я, и поступил бы по-другому».

«Ну, — шериф говорит, — наконец-то, кажется, вы сказали правду. А теперь ступайте с Баком и проспитесь хорошенько. Кристмасом я займусь».

«В тюрьму, значит, так я понимаю, — Браун говорит. — Меня, значит, — в тюрьму, под замок, а вам — награду получать».

«Придержи язык, — шериф ему без злобы. — Если награда тебе положена, я позабочусь, чтоб ты ее получил. Бак, уведи его».

Полицейский подошел, тронул Брауна за плечо, и он встал. Когда они вышли за дверь, те, что в окна наблюдали, столпились вокруг них: «Поймали его, Бак? Это он, значит?»

«Нет, — Бак им говорит. — Расходитесь, ребята,

по домам. Спать пора».

Голос Байрона замирает. Ровный, невыразительный деревенский речитатив обрывается в тишине. Он смотрит на Хайтауэра тихо, с состраданием и беспокойством, наблюдает через стол сидящего человека, у которого закрыты глаза и пот сбегает по лицу, как слезы. Хайтауэр говорит:

— Это точно? Доказано, что в нем негритянская кровь? Подумайте, Байрон, что это будет значить, когда люди… если они поймают… Несчастный человек. Несчастное человечество.

— Браун так говорит, — отвечает Байрон спокойно, упрямо, убежденно. — Ведь и лжеца можно так запугать, что он скажет правду — то же самое, как из честного вымучить ложь.

— Да, — говорит Хайтауэр. Он сидит выпрямившись, закрыв глаза. — Но они его еще не поймали. Они его еще не поймали, Байрон.

Байрон тоже на него не смотрит.

— Еще нет. Последнее, что я слышал, — нет еще. Сегодня они взяли ищеек. Но еще не поймали — это последнее, что я слышал.

— А Браун?

— Браун, — говорит Банч. — Браун. Браун с ними пошел. Может, он и помогал Кристмасу.

Но не думаю. Я думаю, дом поджечь — это самое большее, на что он способен. А почему он это сделал — если сделал, — думаю, он и сам не знает. Вот разве только понадеялся, что если все это сжечь, то получится вроде как ничего и не было, и они с Кристмасом опять будут кататься на новой машине. Я думаю, по его мнению, Кристмас не столько грех совершил, сколько ошибку. — Лицо его потуплено, задумчиво; снова по нему пробегает усталая сардоническая гримаса. — Теперь он, пожалуй, не пропадет. Теперь она сможет найти его, когда пожелает — если он в это время не будет на охоте, с шерифом и собаками. Бежать он не собирается — зачем, если эта тысяча долларов, можно сказать, висит у него перед носом. Я думаю, он Кристмаса хочет поймать больше любого из них. Ходит с ними. Они забирают его из тюрьмы, и он идет с ними, а потом они возвращаются и обратно сажают его под замок. Смешно прямо. Вроде как убийца самого себя ловит, чтобы получить за себя награду. Но он как будто не против, только жалеет, что время теряет понапрасну, — когда сидит; вместо того чтобы бежать по следу. Да. Завтра я ей скажу. Скажу просто, что он покамест под замком — он и пара ищеек. Может, в город ее свожу

посмотреть на них, на всех троих на сворке — как они тянут и тявкают.

— Вы ей еще не сказали?

— Ей не сказал. Ему тоже. Потому что награда наградой, а сбежать он может. А так, если он поймает Кристмаса и получит эту награду, он, может, женится на ней вовремя. Но она пока не знает — не больше того, что знала вчера, когда с повозки слезала на площади. С большим животом слезала, потихоньку, с чужой повозки, среди лиц чужих, и говорила про себя, вроде как тихо удивляясь — только, я думаю, удивления там не было вовсе, потому что пришла она потихоньку, пешком, а разговоры ей не в тягость: «Ну и ну. Вон откуда шла, из Алабамы, — а ведь и правда, в Джефферсон пришла».

5

Было за полночь. Кристмас пролежал в кровати два часа, но еще не спал. Он услышал Брауна раньше, чем увидел. Он услышал, как Браун подошел к хибарке, ввалился в дверь — и силуэтом застыл в проеме, опираясь, чтоб не упасть. Браун тяжело дышал. Держась за косяки, он запел сахариновым гнусавым тенором. Даже от тягучего его голоса, казалось, разило перегаром. «Заткнись», — сказал Кристмас. Он не пошевелился и не повысил голоса. Браун, однако, сразу замолк. Он еще постоял в дверях, держась, чтобы не упасть. Потом отпустил дверь, и Кристмас услышал, как он ввалился в комнату; через секунду он на что-то налетел. Наступила пауза, заполненная трудным, шумным дыханием. Затем с ужасающим грохотом Браун свалился на пол, ударившись о койку Кристмаса, и огласил комнату громким идиотским смехом.

Кристмас поднялся с койки. Где-то у него в ногах лежал, смеясь и не пытаясь встать, невидимый Браун. «Заткнись!» — сказал Кристмас. Браун продолжал смеяться. Кристмас перешаг-

нул через Брауна и протянул руку к деревянному ящику, который заменял им стол, — там они держали фонарь и спички. Но ящика он не нашел и вспомнил звон разбившегося фонаря при падении Брауна. Он нагнулся к Брауну, который лежал у него между ног, нащупал воротник, выволок Брауна из-под койки, поднял ему голову и стал бить ладонью — резко, сильно, зло, — пока Браун не кончил смеяться.

Браун лежал обмякший. Кристмас держал его голову и ругал ровным, приглушенным голосом. Он подтащил Брауна к другой койке и бросил его туда, навзничь. Браун снова стал смеяться. Кристмас левой ладонью зажал ему нос и рот, захватив подбородок, а правой снова стал бить — сильными, нечастыми ударами, словно отвешивал их по счету. Браун перестал смеяться. Он стал дергаться. Под рукой у Кристмаса он издавал придушенный булькающий звук и дергался. Кристмас держал его, пока он не утих, не замер. Тогда он немного расслабил руку. «Теперь ты замолчишь? — сказал он. — Замолчишь?»

Браун снова задергался. «Прими свою черную лапу, образина не...» Рука опять сдавила. Опять Кристмас ударил его другой рукой по лицу. Браун замолк и лежал тихо. Кристмас расслабил руку.

Через секунду Браун заговорил, лукавым голосом, негромко: «Ты же нигер, понял? Ты сам мне сказал. Сам сознался. А я белый. Я бе…» Рука сдавила. Снова Браун забился и захлюпал под рукой, слюнявя пальцы. Когда он перестал биться, рука расслабилась. Он лежал тихо, дышал тяжело.

— Теперь замолчишь? — сказал Кристмас.

— Да, — сказал Браун. Он шумно дышал. — Не души. Я молчу. Не души.

Кристмас расслабил руку, но не убрал ее. Браун задышал легче, вдохи и выдохи стали легче, свободнее. Но Кристмас не убирал руки. Дыхание Брауна обдавало его пальцы то теплом, то холодом, и, стоя в темноте над распростертым телом, он спокойно думал *Что-то со мной будет. Что-то я сделаю* Не снимая левой руки с лица Брауна, он мог дотянуться правой до своей койки, до подушки, под которой лежала его бритва с двенадцатисантиметровым лезвием. Но он этого не сделал. Может быть, мысль зашла так далеко, в такую тьму, что сказала ему *Не его нужно* Так или иначе, он не взял бритвы. Немного погодя он снял руку с лица Брауна, но не ушел. Он продолжал стоять над койкой, дыша так спокойно, так тихо, что сам этого не слышал. Браун, тоже невидимый, дышал теперь тише, и вскоре

Кристмас отошел, сел на свою койку, нашарил в висевших на стене брюках сигарету и спички. Спичка вспыхнула, осветив Брауна. Прежде чем прикурить, Кристмас поднял спичку и посмотрел на Брауна. Браун лежал на спине, разбросавшись, рука свисала на пол. Рот был открыт. Пока Кристмас смотрел, он начал храпеть.

Кристмас закурил, щелчком отшвырнул спичку к открытой двери и увидел, как пламя погасло на полпути. Он прислушался, ожидая слабого пустякового удара горелой спички об пол; показалось, что услышал. Затем ему показалось, что, сидя на койке в темноте, он слышит несметную сутолоку звуков, таких же слабых: голоса, бормотание, шепот — деревьев, тьмы, земли; людей; свой собственный голос; другие голоса, вызывающие в памяти имена, времена, места, которые жили в нем постоянно, хотя он не знал этого, которые были его жизнью, — и он думал *Может быть Бог, а я и этого не знаю* Он видел это, как напечатанную фразу, полнорожденную и уже мертвую *Бог и меня любит,* как блеклые полусмытые буквы прошлогодней афиши *Бог и меня любит*

Он докурил сигарету, ни разу не прикоснувшись к ней рукой, и окурок тоже щелчком

отшвырнул к двери. В отличие от спички, он не погас на лету. Кристмас наблюдал, как он мигает, кувыркаясь в воздухе за дверью. Он лег на койку, закинув руки за голову, как ложится человек, не надеющийся уснуть, и подумал *Я лежу с десяти часов и не сплю. Не знаю, сколько сейчас времени, но уже за полночь, а я никак не усну* «Потому что она стала молиться обо мне», — сказал он. Сказал вслух, и голос в темной комнате прозвучал неожиданно громко, заглушив пьяный храп Брауна. «Вот почему. Потому что она стала молиться обо мне».

Он поднялся с койки. Босые ноги коснулись пола беззвучно. Он стоял в темноте в одном белье. На другой койке храпел Браун. Кристмас постоял, повернув голову в направлении звука. Потом двинулся к двери. Босиком, в одном белье он вышел из хижины. Снаружи было немного светлее. Над головой медлительно поворачивались созвездия; тридцать лет он знал, что звезды есть, но ни одна не имела для него названия, ничего не говорила ему своим цветом, яркостью, расположением. Впереди, над плотной массой деревьев, он различал трубу и щипец дома. Сам дом в темноте не был виден. Ни звуком, ни проблеском света не встретил его дом, когда он подошел

и стал под окном комнаты, где спала она, и подумал *Если она спит вдобавок. Если она спит* Двери никогда не запирались, и, бывало, в какой бы час ночи ни подняло его желание, он входил в дом и направлялся в ее спальню, уверенно находя в темноте путь к ее постели. Иногда она не спала, дожидаясь его, и произносила его имя. Иногда он будил ее жесткой грубой рукой и, случалось, так же грубо и жестко брал ее, еще не совсем проснувшуюся.

Тому уже два года, два года у них позади, подумал *Может, в этом и есть самое оскорбительное. Может, я думаю, что меня провели, обманули. Что она врала мне о своих летах, о том, что случается с женщиной в ее возрасте* Он сказал вслух — стоя один в темноте под темным окном: «Не надо было обо мне молиться. Ничего бы ей не было, если бы не стала обо мне молиться. Она не виновата, что состарилась и больше не годна. Но сообразить должна была, что нельзя обо мне молиться». Он начал ругать ее. Он стоял под темным окном и ругал ее — медленно, обдуманно, похабно. Он не смотрел на окно. Казалось, он рассматривал в полутьме свое тело — словно наблюдая, как оно лениво и сладострастно купается в шепоте подзаборной грязи, подобно трупу

утопленника в стоячем черном пруду чего-то более густого, чем вода. Он тронул себя ладонями и с нажимом провел ими вверх по животу и груди, под бельем. Подштанники держались на одной верхней пуговице. Когда-то у него на белье все пуговицы были на месте. Их пришивала женщина. Было такое время — одно время. Но это время прошло. Он стал вытаскивать свое белье из семейной стирки раньше, чем она успевала добраться до него и пришить недостающие пуговицы. Она его опередила; тогда он стал специально замечать и запоминать, какие пуговицы отсутствовали, а потом появились. Перочинным ножом с холодной, бесчувственной обстоятельностью хирурга он срезал вновь пришитые пуговицы.

Его правая ладонь быстро скользнула вверх по прорехе, как некогда — нож. Ребром, легко и резко, она ударила по оставшейся пуговице. Темнота дохнула на него, дохнула ровно, когда одежда спала по ногам, — прохладный рот темноты, мягкий прохладный язык. Шагнув, он ощутил темный воздух, как воду, он ощутил под ногами росу, как никогда не ощущал ее прежде. Он прошел через сломанные ворота и остановился у дороги. Августовский бурьян

доставал до бедер. На листьях в стеблях лежала месячная пыль от проезжавших мимо повозок. Перед ним тянулась дорога. Она была чуть бледнее темной земли и деревьев. По одну сторону стоял город. С другой — дорога взбегала на холм. Вскоре небо там посветлело; холм обозначился. Потом он услышал машину. Он не двинулся. Он стоял подбоченясь, голый, по бедра в пыльном бурьяне, а машина, перевалив через холм, приближалась, светя на него фарами. Он наблюдал, как тело его, белея, выделяется из темноты подобно фотоснимку в проявителе. Он смотрел прямо в фары проносящегося автомобиля. Оттуда назад долетел пронзительный женский визг. «Белые сволочи! — крикнул он. — Не первая ваша сука повидала...» Но машина умчалась. Некому было услышать, дослушать. Она умчалась, слизнув поднятую пыль и свет, слизнув замирающий женский крик. Ему стало холодно. Как будто он пришел сюда, чтобы присутствовать при заключительном действии, и теперь оно совершилось, и он снова был свободен. Он вернулся к дому. Под темным окном он задержался и поискал подштанники, нашел их и надел. На них не осталось ни одной пуговицы, и ему пришлось придерживать их, пока он возвращался к хижине. До него

долетел храп Брауна. Он постоял перед дверью неподвижно и молча, слушая протяжные, хриплые, неровные вздохи, заканчивавшиеся придушенным бульканьем. «Кажется, я попортил ему нос сильнее, чем думал, — мелькнуло у него. — Сучье отродье». Он вошел и шагнул к своей койке, чтобы лечь. Уже опускаясь на подушку, он вдруг остановился, замер в наклонном положении. Может быть, мысль, что ему придется лежать до утра в темноте под пьяный храп, с несметными голосами в промежутках, показалась ему невыносимой. Он сел, тихо пошарив под койкой, нашел свои туфли, вдел в них ноги, снял с койки узкое полушерстяное одеяло, составлявшее всю его постель, и вышел из хижины. Метрах в трехстах стояла конюшня. Она разваливалась, лошадей там не держали уже тридцать лет, однако направился он к конюшне. Он шел быстро. Он думал, думал вслух: «На кой мне черт лошадей нюхать?» Потом сказал неуверенно: «Потому что они — не женщины. Кобыла и та все же вроде мужчины».

Он проспал меньше двух часов. Когда он проснулся, заря только занималась. Лежа в одеяле на щелеватом полу ветхой сумрачной норы, где першило в горле от тонкой пыли былого сена

и спертый воздух запустения еще отдавал конюшенным аммиаком, он видел в окне желтеющий восток и бледную высокую утреннюю звезду зрелого лета.

Он проснулся отдохнувшим, словно проспал часов восемь. Сон был нежданный: он не ожидал, что уснет. Он снова вставил ноги в расшнурованные туфли и со сложенным одеялом под мышкой спустился по отвесной лестнице, нащупывая ногами невидимые подгнившие перекладины, сбрасывая свободную руку с одной перекладины на другую. Он вышел навстречу серому и желтому рассвету в свежую прохладу и вдохнул ее всей грудью.

Хибарка обрисовалась четко на разгоравшемся востоке — и купа деревьев, где прятался дом, весь, кроме одной трубы. Высокая трава отяжелела от росы. Его туфли сразу намокли. Кожа холодила ступни, мокрая трава скользила по ногам, как гибкие сосульки. Браун уже не храпел. Войдя, Кристмас разглядел его при свете из восточного окна. Теперь Браун дышал спокойно. «Протрезвел, — подумал Кристмас. — Трезвый, и сам того не знает. Несчастный балбес». Он посмотрел на Брауна. «Несчастный балбес. Ох и зол будет, когда проснется и поймет, что он опять трез-

вый. Целый час, наверное, потратит, пока опять напьется». Он положил одеяло, надел диагоналевые брюки, белую, но грязноватую уже рубашку и галстук-бабочку. Он курил. К стене был прикреплен гвоздями осколок зеркала. Завязывая галстук, он рассматривал в зеркале свое тусклое отражение. Жесткая шляпа висела на гвозде. Он не взял ее. Вместо нее он снял с другого гвоздя кепку, а из-под койки вытащил журнал — из тех, где на обложке бывают изображены либо молодые женщины в одном белье, либо мужчины, стреляющие друг в друга из пистолетов. Из-под подушки он достал бритву, помазок, палочку мыла и сунул их в карман.

Когда он вышел из хижины, уже совсем рассвело. Птицы распевали. На этот раз он направился прочь от дома. Он миновал конюшню и вышел на луг. Скоро его туфли и брюки пропитались серой росой. Он остановился, заботливо подвернул штанины до колен и пошел дальше. За лугом начинался лес. Росы тут было меньше, и он спустил штанины. Вскоре он очутился в лощинке, где бил ключ. Он положил журнал, набрал сушняку, развел костер и сел спиной к дереву, ногами к огню. Вскоре от мокрых туфель пошел пар. Потом он почувствовал, как по ногам разливается тепло,

а потом, открыв глаза, увидел высокое солнце, догоревший костер и понял, что он спал. «Ей-богу, уснул, — подумал он. — Ей-богу — по второму разу».

На этот раз он проспал более двух часов, потому что солнце светило уже на самый родник, дробясь и сверкая в неугомонной воде. Он встал, потягиваясь, расправляя онемевшую спину, будя затекшие мышцы. Потом вынул из кармана бритву, мыло, помазок. Став на колени у родника, он побрился, глядя в воду, как в зеркало, правя длинную блестящую бритву на туфле.

Он спрятал в кустах бритвенные принадлежности и журнал и снова завязал галстук. От родника он пошел так, что дом остался далеко в стороне. На дорогу он выбрался в полумиле от дома. Чуть дальше стоял магазинчик с бензоколонкой. Он зашел в магазинчик, купил у женщины крекеры и банку мясных консервов. И вернулся к роднику, к кострищу.

Завтракал он, сидя спиной к дереву и читая журнал. До этого он успел прочесть только одну статью и теперь принялся за вторую, читая журнал подряд, как роман. Время от времени он, жуя, переводил взгляд со страницы на пронизанную светом листву, смыкавшуюся над лощиной.

«Может, я уже сделал это, — думал он. — Может, больше не ждет меня это дело». Ему казалось, что желтый день мирно открывается перед ним — коридором, шпалерой, в тихую светотень, ничего не требуя. Ему казалось, что, пока он сидит тут, желтый день глядит на него сквозь дрему, как сонно разлегшийся желтый кот. И он читал дальше. Он переворачивал страницы в строгой последовательности, но иногда будто задерживался на одной странице, на одной строчке, может быть — на одном слове. Тогда он не поднимал глаз. Он не шевелился — по-видимому, поглощенный, скованный единственным словом, которым, может быть, еще и не проникся; все его существо повисало на коротком пустячном сочетании букв в тихом солнечном пространстве, и, замерев неподвижно, невесомо, он как будто наблюдал сверху за медленным течением времени и думал *Я только покоя хотел* думал: «Не надо ей было обо мне молиться».

Дойдя до последней статьи, он прервал чтение и пересчитал оставшиеся страницы. Потом посмотрел на солнце и снова начал читать. Теперь он читал так, как будто шел по улице, считая трещины в тротуаре, — до последней заключительной страницы, до последнего за-

ключительного слова. Затем он встал, поджег спичкой журнал и терпеливо ворошил его, пока он не сгорел дотла. С бритвенными принадлежностями в кармане он пошел вдоль по лощине.

Вскоре она расширилась — ровное, песком убеленное дно между крутых уступчатых стен, доверху заросших колючками и кустами. Деревья над ней по-прежнему смыкались; в небольшом углублении стены был навален хворост, заполнявший выемку целиком. Он принялся оттаскивать сухие ветви в сторону и, очистив выемку, нашел лопату с коротким черенком. Лопатой он начал рыть песок, до этого скрытый хворостом, и откопал один за другим шесть бачков с завинчивающимися крышками. Он не стал их отвинчивать. Он повалил бачки, пробил их острой лопатой, и песок под ними стал темнеть от хлынувшего струями виски, а в воздухе, в солнечной тиши разлился запах алкоголя. Он опорожнил их тщательно, не торопясь, с застывшим, как маска, лицом. Когда бачки опустели, он свалил их в яму, кое-как забросал песком, затащил хворост обратно и спрятал лопату. Ветки скрыли мокрое пятно, но не могли скрыть запах. Он опять посмотрел на солнце. Полдень миновал.

В семь часов вечера он был в городе, в ресто-

ране на боковой улочке, и ел, сидя на табурете за скользкой, отполированной трением деревянной стойкой, ужинал.

В девять часов он стоял у парикмахерской, глядя через стекло на человека, которого взял себе в напарники. Он стоял совершенно неподвижно, засунув руки в карманы, и дым сигареты плавал перед его неподвижным лицом, а кепка, как прежде — жесткая шляпа, была заломлена лихо и вместе с тем зловеще. Так бесстрастно и так зловеще стоял он, что в ярко освещенном салоне, душном от запахов лосьона и горячего мыла, Браун, жестикулирующий и хриплоголосый, в грязных красноклетчатых брюках и грязной цветной рубахе, поднял голову на полуслове и пьяными глазами взглянул в глаза человека за стеклом. Так неподвижно и так зловеще, что молоденький негр, который, насвистывая, вразвалочку шел мимо, при виде Кристмаса перестал свистеть, взял в сторону, прошмыгнул за его спиной и потом все оборачивался, все оглядывался через плечо. Но Кристмас уже двинулся прочь. Он словно для того только и задержался здесь, чтобы Браун на него посмотрел.

Он шел не торопясь прочь от площади. Улица, тихая во всякое время, в этот час была безлюдна.

Она вела через негритянский район, Фридмен-Таун, к станции. В семь часов ему встречались бы люди, белые и черные, направляющиеся на площадь и в кино; в половине девятого они бы возвращались домой. Но кино еще не кончилось, и теперь он был на улице один. Он тихо шел, двигался между домами белых, от фонаря к фонарю, и плотные тени кленовых и дубовых листьев скользили по его белой рубашке клочьями черного бархата. Трудно представить себе что-либо более одинокое, чем рослый мужчина на безлюдной улице. И хотя он не был крупным, не был высоким, выглядел он более одиноко, чем телефонный столб посреди пустыни. На пустой, широкой, тенями омраченной улице он казался призраком, духом, который забрел сюда из другого мира, заблудился.

Потом он узнал место. Улица незаметно для него пошла под уклон, и не успел он оглянуться, как очутился в Фридмен-Тауне, среди летнего запаха и летних голосов невидимых негров. Они, казалось, взяли его в кольцо, эти бесплотные голоса, и шептали, смеялись, разговаривали на чужом языке. Словно со дна глухой и черной ямы он видел вокруг очертания хижин, неясных, освещенных керосином, отчего

уличные фонари как будто стали реже, словно дыхание черных сгустилось в какое-то плотное дыхательное вещество, так что не только голоса, но и движущиеся тела и сам свет должны были становиться жидкими и, вбирая в себя — частица за частицей — поспевающую ночь, сливаться с ней в нечто единое и неделимое.

Теперь он стоял неподвижно, тяжело дыша, свирепо озираясь по сторонам. Знойное тусклое свечение керосиновых ламп вырезало из черноты черные лачуги. Повсюду, даже внутри у него, бесплотно рокотали утробно-мягкие голоса негритянок. Казалось, и он и все мужское вокруг ввергнуто обратно в непроглядное, жаркое, влажное первородное чрево. Он побежал, сверкая зубами, сверкая глазами, к следующему фонарю, и воздух, врываясь в рот, холодил сухие губы и зубы. Под фонарем из черной ложбины отходил в сторону и поднимался к параллельной улице узкий ухабистый переулок. Бегом Кристмас свернул в него и со стучащим сердцем бросился по крутому склону к верхней улице. Там он остановился, задыхаясь, поводя глазами, и сердце его все колотилось, словно он никак не мог или не хотел поверить, что воздух вокруг — холодный, резкий воздух белых.

Потом он успокоился. Негритянский дух, негритянские голоса остались позади и внизу. Слева лежала площадь, гроздья огней — сверкающие птицы, празднокрыло и трепетно повисшие над землей. Справа шагали вдаль фонари, редкие, разделенные обгрызенными невозмутимыми ветвями. Он шел, опять медленно, прочь от площади, опять между домами белых. И здесь на верандах сидели люди — и на лужайках, в креслах; но тут он мог идти спокойно. Время от времени он видел их: силуэты голов, неясную белую фигуру в одежде; на освещенной веранде сидели четверо за карточным столиком — сосредоточенные белые лица, резкие в низком свете лампы, обнаженные руки женщин, ровно белеющие над пустячными картами. «Это все, чего я хотел, — думал он. — Кажется, не так уж много».

Эта улица тоже пошла под уклон. Но в ее уклоне была надежность. Его плывущая белая рубашка и мелькающие черные ноги затерялись среди теней, врезанных огромно и отвесно в звездное августовское небо: хлопкового склада, цистерны, длинной и цилиндрической, как туловище обезглавленного мастодонта, вереницы товарных вагонов. Он пересек железнодорожную колею, рельсы блеснули в огне семафора дву-

мя зелеными стрелами и снова отбросили свет мимо. За путями начинался лес. Но он отыскал тропинку безошибочно. Она шла в гору среди деревьев; за долиной, где лежала железная дорога, снова стали показываться один за другим огни города. Но он не оглядывался, пока не взошел на вершину холма. Оттуда он вновь увидел город, зарево, отдельные огни — там, где от площади разбегались улицы. Он видел улицу, по которой вышел, и другую, которая чуть не предала его, а еще дальше — яркий, ломающийся под прямым углом городской вал, и в углу — черную яму, откуда он бежал с рвущимся сердцем и оскаленными зубами. Ни света не шло оттуда, ни дыхания, ни запаха. Она просто лежала там, черная, непроницаемая, в гирлянде трепетно-августовских огней. Может быть — изначальные недра, сам первозданный хаос.

Он шел уверенно, несмотря на тьму, на деревья. Он ни разу не сбился с тропинки, хоть и не мог ее разглядеть; лес тянулся на милю. Он вышел на дорогу, ступил в пыль. Теперь он начал видеть — смутный расширяющийся мир, горизонт. Там и сям тускло светились окна. Но в большинстве лачуг было темно. Тем не менее кровь начала снова — говорить, говорить. Он шел быст-

ро, ей в такт; он, кажется, понял, что эти люди негры, раньше, чем увидел или услышал их, раньше, чем они обозначились на фоне спящей пыли. Их было пятеро или шестеро, цепочка, в которой угадывались пары; снова донесся до него сквозь шум крови ропот глубоких женских голосов. Он шел прямо на них, шел быстро. Они увидели его, подались к обочине; голоса смолкли. Он тоже изменил направление, двинулся наискось, на них, словно ожидая, чтобы ему уступили дорогу. Дружно, как по команде, женщины отступили, обогнули его, очистив ему дорогу. Один из мужчин последовал за ними, словно погоняя их, оглядываясь через плечо. Другие двое остановились на дороге, повернувшись к Кристмасу. Кристмас тоже стал. Казалось, никто из них не движется, однако те двое приближались, наплывали двумя неясными тенями. Он почуял негра: почуял запах дешевой одежды и пота. Голова высокого негра наклонилась с неба, в небе.

— Это белый, — сказал он спокойно, не поворачивая головы. — Чего вы хотите, белый человек? Или ищете кого? — Голос не был угрожающим. Но и не был подобострастным.

— Юп, уходи оттуда, — сказал тот, что шел

за женщинами.

— Кого ищете, начальник? — сказал негр.

— Юп, — сказала одна из женщин тонковатым голосом. — Уйди же ты.

Еще мгновение две головы, светлая и темная, будто висели в темноте, дыша друг на друга. Потом голова негра отплыла; откуда-то повеяло холодным ветром. Кристмас, медленно поворачиваясь, провожая взглядом фигуры, которые снова таяли, сливались с бледной дорогой, обнаружил, что в руке у него — бритва. Нераскрытая. Он вынул ее не от страха. «Суки! — сказал он. — Сучье отродье!»

Из тьмы дул холодный ветер; пыль даже сквозь туфли холодила ноги. «Что за чертовщина со мной творится?» — подумал он. Он сунул бритву в карман, остановился, закурил сигарету. Перед тем как взять ее в рот, ему пришлось несколько раз облизнуть губы. При свете спички он увидел, как дрожат его руки. «Все это беспокойство», — подумал он. «Все это проклятое беспокойство», — сказал он вслух, уже на ходу. Он посмотрел на небо, на звезды. «Наверно, скоро десять», — подумал он и почти в ту же секунду услышал бой часов на здании суда — в двух милях. Медленно, мерно прозвучали десять уда-

ров. Он сосчитал их, стоя на пустой, мертвой дороге. «Десять часов, — подумал он. — Вчера я тоже слышал, как било десять. И одиннадцать. И двенадцать. А часа — не слышал. Может, ветер переменился».

Одиннадцать в эту ночь он услышал, сидя спиной к дереву, за сломанными воротами, и дом позади него снова был темен и скрыт лохматой рощицей. Сегодня он не думал *Может и она не спит* Сейчас он ничего не думал, думать еще не начал, и голоса еще не зазвучали. Он сидел там не шевелясь, пока часы в двух милях не пробили двенадцать — и после еще немного. Потом встал и двинулся к дому. Шел он не быстро. И даже тут не подумал *Что-то случится. Что-то со мной случится*

6

Память верит раньше, чем вспоминает знание. Верит дольше, чем помнит, дольше, чем знание даже спрашивает. Знает, помнит, верит: коридор в кирпичном длинном, островерхом, холодном, гулком здании, покрытом копотью не только своих дымоходов, стоящем на клочке убитой, засыпанной шлаком земли, стиснутом дымными заводскими трущобами, опоясанном трехметровой проволочно-стальной оградой, как каторжная тюрьма или зверинец, где сироты, в одинаковых синих робах, с дискантовым детским чириканьем случайными, неровными порывами пролетают в воспоминаниях, но в знании хранятся постоянно, как унылые стены и унылые окна, по которым сажа из приближавшихся с каждым годом дымоходов сбегала в дождь черными слезами.

В тихом пустом коридоре в тихий послеполуденный час он был как тень — маленький даже для пятилетнего, серьезный и тихий, как тень. Окажись в коридоре свидетель, он не смог бы определить, где и в какой миг исчез мальчик,

за какой дверью, в какой комнате. Но в этот час никого больше в коридоре не было. Он это знал. Он занимался этим уже почти год, с того дня, когда случайно наткнулся на зубную пасту диетсестры.

Очутившись в комнате, он подошел, босиком, бесшумно, прямо к умывальнику и взял тюбик. Глядя, как розовый прохладный и гладкий червяк, извиваясь, выползает на его пергаментный палец, он услышал шаги в коридоре, а затем — голоса за дверью. Возможно, он узнал голос диетсестры. Так или иначе, он не ждал, пройдут они мимо двери или нет. С тюбиком в руке, ступая босыми ногами бесшумно, как тень, он пересек комнату и шмыгнул за занавеску, которой был отгорожен один угол. Там он сел на корточки среди легких туфель и развешенной мягкой женской одежды. Он услышал, как диетсестра и ее спутник вошли в комнату.

До сих пор диетсестра не значила для него ничего — кроме постоянного приложения к еде, пище, столовой, церемонии еды за длинными деревянными столами, — фигура, появлявшаяся время от времени в поле зрения, но не задевавшая чувств — разве только как приятное напоминание и сама по себе приятная для глаз —

молодая, пухленькая, гладкая, бело-розовая, вызывавшая мысли о столовой, вызывавшая во рту воспоминания о чем-то липко-сладком, съедобном и тоже розовом, тайном. В тот день, когда он впервые вошел к ней и сразу обнаружил в комнате пасту, еще ничего о пасте не зная, он словно предвидел, что диетсестра должна обладать чем-то в этом роде и что он это найдет. Голос ее спутника тоже был ему знаком. Это был молодой врач из окружной больницы, ассистент приходского врача — личность тоже примелькавшаяся в приюте и тоже еще не враг.

За занавеской он был в безопасности. Когда они уйдут, он положит пасту на место и улизнет. И вот он сидел на корточках за занавеской и слышал, не вслушиваясь, возбужденный женский шепот: «Нет! Нет! Не здесь. Не сейчас. Нас увидят. Кто-нибудь… Не надо, Чарли! Прошу тебя!» Слов мужчины он вообще не мог разобрать. Голос тоже был приглушен. Он звучал безжалостно, как до сих пор звучали голоса всех остальных мужчин, ибо мальчик был еще слишком мал, чтобы сбежать из мира женщин — на краткий срок, пока не сбежит обратно, чтобы остаться в нем до смертного часа. Он услышал другие знакомые звуки: шарканье ног, поворот ключа

в двери. «Нет, Чарли! Чарли, прошу тебя! Прошу тебя, Чарли!» — шептала женщина. Он услышал другие звуки — шорохи, шелест, не голоса. Он не слушал; он просто ждал, думая без особого интереса и внимания, что странно в такой час ложиться спать. Снова из-за тонкой занавески донесся слабеющий женский шепот: «Я боюсь! Скорей! Скорей!»

Он сидел на корточках среди мягких, женщиной пахнущих одежд и туфель. Он видел — ощупью только — смятый, некогда круглый тюбик. Не глазами — вкусом — созерцал прохладного невидимого червячка, который выползал ему на палец и механически следовал в рот, сладко и остро расплываясь по языку. Обыкновенно он выдавливал пасты на один глоток, а потом клал тюбик на место и выходил из комнаты. Даже в пять лет он знал, что больше — нельзя. Возможно, животный инстинкт предупреждал его, что, если съесть больше, станет худо; может быть, человеческий рассудок предупреждал, что, если выдавить больше, заметит она. Сегодня он впервые взял больше. Пока он прятался и выжидал, получилось намного больше. На ощупь он видел исхудавший тюбик. Он вспотел. Потом оказалось, что он потеет уже довольно давно, что уже

довольно давно он только и делает, что потеет. Теперь он совсем ничего не слышал. Он не услышал бы, наверно, и выстрела за занавеской. Он словно погрузился в себя, в наблюдение за тем, как потеет, за тем, как расползается во рту еще один червячок пасты, противный желудку. И правда — он не хотел проглатываться. Неподвижный, сосредоточенный мальчик, казалось, склонился над собой, как химик над колбой, и ждал. Долго ждать ему не пришлось. Проглоченная паста восстала внутри, стремясь обратно, на воздух, где прохладней. И сладкой она уже не была. В загроможденной, розово-женским пахшей темноте за занавеской он сидел с розовой пеной на губах и, прислушиваясь к своим внутренностям, обреченно, с удивлением ждал того, что должно было с ним случиться. И случилось. Окончательно сдавшись, он покорно сказал про себя: «Ну, все».

Когда занавеска отлетела в сторону, он не поднял головы. Когда руки грубо выдернули его из блевотины, он не сопротивлялся. Безвольно, с разинутым ртом, он повис на руках, уставив остекленелый идиотический взгляд на не гладкое уже, не бело-розовое, а окруженное всклокоченными волосами лицо той, чьи гладкие руки

когда-то наводили на мысли о лакомстве. «У-у, гаденыш! — шипел тонкий злобный голос. — У-у, гаденыш! Шпионить за мной! Негритянский ублюдок».

Диетсестре было двадцать семь лет — достаточно много, чтобы рискнуть раз-другой на любовное приключение, но достаточно мало, чтобы думать не столько о самой любви, сколько об опасности быть за ней застигнутой. К тому же она была достаточно глупа и полагала, что пятилетний ребенок не только сможет сделать правильные выводы из того, что слышал, но и захочет рассказать о них, как взрослый. Поэтому в следующие два дня, когда ей казалось, что, куда бы она ни взглянула, куда бы ни пошла, всюду торчит этот ребенок, наблюдающий за ней темным, напряженно-пытливым взглядом животного, — она приписала ему еще больше взрослых черт: она решила, будто он не только намерен донести, но нарочно тянет с этим, чтобы увеличить ее страдания. Ей в голову не пришло, что он думает, будто это его поймали с поличным и мучают, оттягивая наказание, что он лезет ей на глаза, чтобы покончить с этим, получить взбучку, расплатиться, подвести счет.

На второй день она дошла до полного отчая-

ния. Ночь она не спала. Почти всю ночь лежала, стиснув зубы и кулаки, задыхаясь от ярости и ужаса, хуже того — от раскаяния, этого слепого неистовства обратить время вспять, хотя бы на час, на секунду. Пусть даже — время любви. Теперь молодой врач значил для нее даже меньше, чем ребенок: он был всего лишь орудием — но гибели, а не спасения. Она не знала, кто из двоих ей ненавистней. Не знала даже, когда она спит, а когда бодрствует. Потому что неотступно, неотвязно на смеженных веках, на сетчатке маячило это неподвижное, хмурое пергаментное лицо и наблюдало за ней.

На третий день она вышла из комы — полуяви-полусна, сквозь который, при свете и лицах, она несла свое собственное лицо, как маску, застывшую в мучительной и неестественной гримасе личину, которую страшно было сбросить. На третий день она решилась. Найти его не составляло труда. Это произошло в коридоре, в пустом коридоре в тихий послеобеденный час. Он стоял там без всякого дела. Может быть, пришел за ней следом. Нельзя было понять, ждал он ее или нет. Но, увидев его, она не удивилась, и он не удивился, услышав, обернувшись, увидев ее: два лица, одно — уже не гладкое, не бело-ро-

зовое, другое — хмурое, с серьезными глазами, выражавшее лишь ожидание, и больше ничего. «Ну, теперь я отделаюсь», — подумал он.

«Слушай», — сказала она. И умолкла, глядя на него. Она как будто не знала, что говорить дальше. Мальчик ждал, смирно, неподвижно. Мускулы на его спине и заду медленно, постепенно напряглись, одеревенели. «Ты не расскажешь?» — спросила она.

Он не ответил: ведь каждому ясно, что меньше всего на свете ему хочется рассказывать про пасту, про рвоту. Он не смотрел на ее лицо. Он следил за ее руками и ждал. Одна, в кармане юбки, была сжата в кулак. Под тканью было видно, что она сжата крепко. Его еще ни разу не били кулаком. Но и ни разу не заставляли три дня ждать наказания. Когда она вынула руку из кармана, он подумал, что сейчас его ударят. Но она не ударила, рука просто разжалась у него перед глазами. В ней лежал серебряный доллар. Она заговорила, настойчиво, тихо, шепотом, хотя в коридоре было пусто: «Знаешь, сколько можно купить? Целый доллар». Он никогда прежде не видел доллара, хотя знал, что это такое. Он смотрел на монету. Он хотел ее, как хотел бы блестящую крышку от пивной бутылки. Но не ве-

рил, что ее подарят — потому что сам бы он такую вещь не подарил. Он не понимал, что она за это хочет. Он ожидал, что его выпорют и отпустят. Она продолжала говорить, настойчиво, возбужденно, торопливо: «Целый доллар. Понимаешь? Сколько можно купить. Вкусного — на целую неделю. А через месяц я, может, дам тебе еще доллар».

Он не пошевелился, не ответил. Он стоял, будто вырезанный из дерева, похожий на игрушку: маленький, неподвижный, круглоголовый, круглоглазый, в комбинезоне. От изумления и унизительной беспомощности он оцепенел. Глядя на доллар, он словно видел штабеля, поленницы тюбиков, бесконечные и устрашающие; внутри у него все скручивалось от сытого, острого отвращения. «Я больше не хочу», — сказал он. И подумал: «Никогда больше».

Теперь он даже не решался взглянуть ей в лицо. Он ощущал, слышал ее, слышал ее долгий судорожный выдох. *Ну вот оно* промелькнуло у него в голове. Но она его даже не встряхнула. Она держала его крепко, но не трясла, словно рука сама не знала, что ей хочется сделать. Ее лицо было так близко, что он чувствовал на щеке ее дыхание. Он и не глядя знал, как сейчас выгля-

дит это лицо. «Ну и рассказывай! — прошептала она. — Рассказывай! Негритянский гаденыш. Ублюдок негритянский!»

Это было на третий день. На четвертый она тихо и окончательно сошла с ума. Она уже не строила никаких планов. Теперь она действовала по наитию — как будто за те дни и бессонные ночи, когда под личиной спокойствия она вынашивала в себе страх и ярость, все ее душевные силы сосредоточились в интуитивном постижении зла, от природы безошибочном, как у всех женщин.

Она сделалась совершенно спокойной. Она избавилась даже от нетерпения. У нее как будто было вдоволь времени, чтобы осмотреться и рассчитать. В поисках выхода ее взгляд, ум, мысль сразу уперлись в сторожа, сидевшего в дверях котельной. Тут не было ни расчета, ни замысла. Она просто выглянула из себя, как пассажир из вагона, и, нисколько не удивившись, увидела этого грязного человечка в очках со стальной оправой, сидящего на плетеном стуле в закопченных дверях котельной, с раскрытой книгой на коленях, — фигуру привычную, почти данность, о существовании которой она знала уже пять лет, ни разу по-настоящему на нее не взгля-

нув. На улице она бы его не заметила. Прошла бы мимо, не узнав, хотя он был мужчиной. А теперь жизнь казалась ей простой и прямой, как коридор, и в конце коридора сидел он. Она отправилась к нему сразу — уже шагала по грязной дорожке, еще не осознав, что идет.

Он сидел в дверях на своем плетеном стуле, с раскрытой книгой на коленях. Подойдя ближе, она увидела, что это — Библия. Но только заметила — как заметила бы муху у него на ноге. «Вы тоже его ненавидите, — сказала она. — Вы тоже за ним следите. Я видела. Не отпирайтесь». Он посмотрел на нее, сдвинув очки на лоб. Он не был стариком. Это не вязалось с его должностью. Он был крепкий мужчина, в соку — такому полагалось бы вести деятельную трудовую жизнь, но время, обстоятельства — или что-то еще — подвели его, подхватили крепкое тело и швырнули сорокапятилетнего человека в тихую заводь, где место — шестидесяти-шестидесятипятилетнему. «Вы знаете, — сказала она. — Знали раньше, чем дети стали звать его нигером. Вы с ним появились тут в одно время. Вы тут и месяца не проработали, когда Чарли нашел его у нас на ступеньках, в ночь под Рождество. Скажите мне». Лицо у сторожа было крупное, дряблова-

тое, довольно грязное, в грязной щетине. Глаза совершенно прозрачные, серые, совершенно холодные. И при этом — совершенно безумные. Но женщина этого не замечала. А может быть, ей они не казались безумными. И вот в закопченной дверной коробке они смотрели друг на друга, безумные глаза — в безумные глаза, и разговаривали, безумный голос — с безумным голосом, спокойно, тихо, отрывисто, как два заговорщика. «Я за вами пять лет наблюдаю. — Ей казалось, что она говорит правду. — Сидите здесь, на этом стуле, и наблюдаете за ним. Вас тут нет, пока дети в доме. Но стоит им выйти на двор, как вы тащите к двери стул и садитесь, чтобы следить за ним. Следить и слушать, как дети зовут его нигером. Вот чем вы заняты. Я знаю. Вот для чего вы здесь — чтобы следить и ненавидеть. Вы были готовы к его появлению. Может быть, сами его подкинули, оставили на ступеньках. Все равно: вы знаете. И мне надо знать. Когда он расскажет, меня уволят. И Чарли может… он… Скажите мне. Сейчас же скажите».

— А-а, — сказал сторож. — Я знал, что он тебя застигнет, когда пробьет Господень час. Знал. Я знаю, кто послал его туда — знамение и наказание за скотство.

— Да, он был за занавеской. Не дальше, чем вы от меня. Ну, говорите же. Я видела, какими глазами вы на него смотрите. Наблюдала за вами. Пять лет.

— Я знаю, — сказал он. — Я знаю зло. Или не я пустил его ходить по свету Божью? Ходячей скверной сделал его перед лицом Господним. В устах младенцев он не прячет. Ты слышала их. Не я им велел это говорить — прозывать по законному естеству его анафемского племени. Я им не говорил. Они дознались. Им было сказано, но сказано не мной. Я только ждал его часа, когда он рассудит, что пришла пора открыть это его тварям. И теперь она пришла. Вот оно, знамение — и обратно явлено через женский срам и блуд.

— Да. Но что мне делать? Скажите.

— Ждать. Как я ждал. Пять лет я ждал, когда Господь объявит свою волю. И он объявил. И ты жди. Придет пора, и он объявит свою волю тем, которые приказывают.

— Да. Приказывают. — Впившись глазами друг в друга, они не шевелились, дышали ровно.

— Хозяйке. Придет пора, и он ей скажет.

— Вы думаете, если мадам узнает, она его отошлет? Да. Но я не могу ждать.

— И Господа Бога торопить не можешь. Разве я

не ждал пять лет?

Она начала постукивать кулаком о кулак.

— Неужели вам не понятно? Может, это и есть Господня воля. Чтобы вы сказали мне. Потому что вы знаете. Может, это и есть его путь — чтобы вы сказали мне, а я сказала мадам. — Ее безумные глаза были совершенно спокойны, безумный голос — спокоен и терпелив: только руки не унимались.

— Будешь ждать, как я ждал, — сказал он. — Ты, может, три дня чувствуешь тяжесть Господней милостивой руки. А я пять лет под ней ходил, дежурил, ждал его срока — потому что мой грех тяжельше твоего. — Хотя он смотрел ей прямо в лицо, он ее будто не видел — глаза не видели. Широко раскрытые, ледяные, фанатические, они казались незрячими. — Против того, что я сделал и какими страданиями искупил, твой грех и бабьи страдания — все равно что мушиный навоз. Я пять лет терпел; а кто ты есть, чтобы с поганым своим бабьим срамом торопить Господа Бога?

Она повернулась, тут же.

— Ладно. Можете не говорить. Все равно я знаю. Я сразу поняла, что в нем — негритянская примесь. — Она вернулась в дом. Теперь она шла

не спеша и страшно зевала. «Надо только придумать, как убедить мадам. Он говорить не станет, не поддержит меня». Она опять зевнула, раздирая рот; на пустынном ее лице бесчинствовала зевота; но потом и зевота кончилась. Ей пришло в голову что-то новое. Раньше она об этом не думала, но теперь ей казалось, что думала, знала с самого начала — ведь это так справедливо: его не только уберут, он будет наказан за страх и тревоги, которые ей пришлось из-за него пережить. «Его отправят в негритянский приют, — подумала она. — Ну конечно. Что им остается?»

Она даже не пошла сразу к начальнице. Она было отправилась к ней, но вдруг обнаружила, что дверь конторы осталась в стороне, а она идет дальше к лестнице и начинает подниматься. Она будто следовала за собой по пятам, чтобы посмотреть, куда она направится. В коридоре, теперь тихом и пустом, она опять зевнула — с огромным облегчением. Она вошла в комнату, заперла дверь, разделась, легла. Задернутые шторы почти не пропускали света; она неподвижно лежала на спине. Глаза у нее были закрыты, разгладившееся лицо ничего не выражало. Немного погодя она начала медленно раздвигать и сдви-

гать ноги, ощущая, как простыни перетекают по ним — то гладкие и прохладные, то гладкие и теплые. Мысли ее витали где-то между сном, которого она была лишена три ночи, и сном, которому она отдавалась — раскинувшись перед ним, словно сон был мужчиной. «Надо только убедить мадам», — думала она. И вдруг подумала *Он будет там, как горошина среди кофейных зерен*

Это было во второй половине дня. А в девять вечера, опять раздеваясь, она услышала сторожа, шедшего по коридору к ее двери. Она не знала, не могла знать, кто это, но вдруг поняла — по мерным шагам, по стуку в дверь, которая начала отворяться раньше, чем она успела к ней подскочить. Она не отозвалась на стук; она подскочила к двери, навалилась на нее, стараясь удержать. «Я раздеваюсь!» — сказала она жидким измученным голоском, уже зная, кто там. Он не ответил, продолжая упрямо и ровно давить на отходящую дверь за расходящейся щелью. «Сюда нельзя! — закричала она почти шепотом. — Вы же знаете — они...» Ее голос слабел, прерывался, был полон отчаяния. Сторож не отвечал. Она силилась остановить, задержать медленно отходившую дверь. «Дайте одеться, я к вам

выйду. Дадите?» Она говорила замирающим шепотом, и тон у нее был несерьезный, легкомысленный — так разговаривают с сумасбродным ребенком или маньяком: успокаивая, заискивая. «Подождите, ладно? Вы слышите? Вы ведь подождете, правда?» Он не отвечал. Дверь продолжала медленно и неотвратимо отходить. Привалившись к ней в одной рубашке, она была похожа на марионетку в пародийной сцене насилия и отчаяния. Привалившись, застыв, глядя в пол, она, казалось, была погружена в глубокое раздумье — словно марионетка в разгаре сцены запуталась в самой себе. Потом она повернулась, отпустив дверь, отскочила к постели, схватила не глядя что-то из одежды и обернулась к двери, комкая вещь у груди, пригнувшись. Он уже стоял в комнате — должно быть, видел всю эту бесконечную паническую возню и спешку и ждал, когда она кончится.

На нем по-прежнему был комбинезон, но теперь еще и шляпа. Он ее не снял. Опять его серые, холодные, безумные глаза будто не видели ее, даже не смотрели.

— Если бы сам Господь явился к одной из вас в комнату, — сказал он, — вы бы подумали, что он явился по кошачьему делу. Ты ей сказала?

Женщина сидела на кровати. Обратив к нему бескровное лицо, комкая на груди одежду, она как будто медленно валилась на спину.

— Сказала?

— Что она с ним сделает?

— Сделает? — Она наблюдала за ним: его остановившиеся блестящие глаза, казалось, не столько глядят на нее, сколько окутывают взглядом. Рот у нее был разинут, как у слабоумной.

— Куда его пошлют? — Она не ответила. — Не ври мне. Господу Богу не ври. Они пошлют его в негритянский? — Ее рот закрылся, до нее словно только сейчас дошло, о чем он говорит. — Э-э… я все обдумал. Его пошлют в приют для черных. — Она не ответила, она следила за ним — взглядом, хотя и немного испуганным, но затаенным, что-то прикидывая. Теперь и он на нее смотрел, его глаза будто вцепились в ее тело, в нее самое. — Отвечай мне, Иезавель! — крикнул он.

— Тс-с-с-с! — сказала она. — Да. У них нет выхода. Когда они узнают…

— Ага, — сказал он. Его глаза потухли, они отпустили ее и снова окутали невидящим взглядом. Глядя в них, она будто видела ими себя: ничтожней ничтожного, пустячней щепки, плавающей

в луже. Затем его глаза сделались почти человеческими. Он начал оглядывать женское жилище, как будто прежде ничего подобного не видел: тесную комнату, теплую, неопрятную, пропахшую розово-женским. — Бабья пакость, — сказал он. — Перед лицом Господним. — Он повернулся и вышел. Немного погодя женщина поднялась. Она стояла неподвижно, комкая одежду, и бессмысленно смотрела в дверной проем, словно не зная, что делать дальше. Потом побежала. Она ринулась к двери, налетела на нее, захлопнула, заперла, привалилась к ней, тяжело дыша и вцепившись в ключ обеими руками.

На другое утро во время завтрака хватились сторожа и мальчика. Они исчезли бесследно. В полицию заявили сразу. Черный ход, ключ от которого был у сторожа, оказался незапертым.

— Это потому, что он знал, — сказала диетсестра начальнице.

— Что знал?

— Что этот ребенок, этот мальчишка Кристмас — нигер.

— Кто? — переспросила начальница. Откинувшись в кресле, она сердито смотрела на диетсестру. — Ниг… Не верю! — закричала она. — Не верю!

— Вы можете не верить, — ответила та. — А он это знает. Поэтому он его и выкрал.

Заведующей приютом шел шестой десяток; у нее было дряблое лицо и добрый, нерешительный взгляд неудачницы. «Я этому не верю!» — сказала она. Но на третий день сама вызвала диетсестру. Выглядела она так, будто ни разу за эти дни не спала. У диетсестры, напротив, вид был вполне свежий, вполне безмятежный. Она не дрогнула даже тогда, когда начальница сказала ей, что сторожа и мальчика разыскали. «В Литтл-Роке. Он пытался сдать там мальчика в приют. Его приняли за ненормального и задержали до прихода полиции». Она посмотрела на младшую. «Вы говорили мне… На днях вы сказали… Откуда вам это известно?»

Диетсестра не отвела взгляда.

— Мне не известно. Я понятия не имела. Конечно, я понимаю — то, что дети прозвали его нигером, ничего не значит…

— Нигером? — повторила хозяйка. — Дети?

— Они не первый год зовут его нигером. Порой мне кажется, что у детей есть способность понимать такие вещи, которых люди моих или ваших лет просто не замечают. У детей и у стариков вроде него, вроде этого сторожа. Вот почему он

всегда сидел в дверях, когда они играли на дворе: следил за мальчиком. Может быть, он догадался потому, что слышал, как дети зовут его нигером. Но, может быть, и раньше знал. Если помните, они тут появились почти одновременно. Он у нас и месяца не проработал до той ночи… под Рождество, помните… когда Чар… когда ребенка нашли на ступенях? — Она говорила гладко, наблюдая за смущенным, обескураженным взглядом старшей, которая смотрела ей в глаза так, словно не могла оторваться. Сама же она глядела ласково и невинно. — Мы разговорились на днях, и он все пытался мне что-то сказать про ребенка. Что-то он хотел сказать мне — кому-нибудь сказать, — но, в конце концов, наверно, побоялся, не захотел, и я ушла. Я совсем об этом забыла. Как-то вылетело у меня из головы… но тут… — Голос у нее пресекся. Она смотрела на старшую, а лицо ее прояснялось, как будто ее внезапно осенило; никто бы не мог сказать, притворство это или нет. — А-а, так вот почему… А-а, теперь я все поняла. Ведь что было за день до этого, как они исчезли, скрылись? Я шла по коридору, к себе; как раз в этот день у нас был разговор — когда он мне что-то начал рассказывать, а потом передумал; и вдруг — он навстречу, останавливает

меня; я еще, помню, удивилась — раньше никогда его в доме не видела. И он сказал… он говорил как ненормальный и выглядел как ненормальный. Я испугалась, до того испугалась, что двинуться не могла, да еще он дорогу загораживает… и говорит: «Ты ей сказала?» Я спрашиваю: «Кому? Что сказала?» — и тут понимаю, что он о вас говорит: передала ли я вам, что он пытался завести со мной разговор о мальчике. Чего он хотел, что я должна была передать — непонятно; я уже закричать хотела, но тут он сказал: «Что она сделает, если узнает про это?» — как отвечать, как от него отделаться — ума не приложу, но тут он сказал: «Можете не говорить. Я сам знаю, что она сделает. Она пошлет его в приют для нигеров».

— Для негров?

— Сама не понимаю, как мы могли так долго этого не замечать. Только посмотрите на его лицо, на глаза, на волосы. Конечно, это ужас. Но ведь больше его некуда девать, правда?

Нерешительные, встревоженные глаза начальницы смотрели сквозь стекла очков затравленно, студенисто, словно она пыталась уловить что-то за пределами их физической зоркости.

— Но зачем ему понадобилось увозить ребенка?

— Ну, если хотите знать мое мнение, то, по-моему, он ненормальный. Вы бы видели его в коридоре в тот веч… в тот день. Конечно, это плохо для ребенка — после нас, после того, как он воспитывался с белыми, отправиться в негритянский приют. Не его вина, что он нигер. Но и не наша ведь… — Она умолкла, глядя на старшую. Глаза начальницы смотрели из-за стекол все так же загнанно, нерешительно, безнадежно, губы ее дрожали, когда она выговаривала слова. И слова были безнадежные, но при этом — достаточно решительные, достаточно определенные.

— Мы должны пристроить его. Пристроить немедленно. Кто к нам обращался? Если вы дадите мне папку…

Когда мальчик проснулся, его несли. Была кромешная тьма и холод; его нес вниз по лестнице кто-то, двигавшийся безмолвно и с бесконечной осторожностью. Между мальчиком и державшей его рукой был зажат комок, в котором он угадал свою одежду. Он не вскрикнул, не проронил ни звука. По запаху, по воздуху он догадался, что находится на черной лестнице, ведущей от заднего подъезда к комнате, где с тех пор, как он себя помнил, среди сорока других кроватей стояла его кровать. И, опять же по запаху,

догадался, что несет его мужчина. Но он не проронил ни звука и лежал неподвижно, расслабленно, как и во время сна, плыл высоко на невидимых руках, ехал, медленно спускался к заднему подъезду, который выходил на площадку для игр.

Он не знал, кто его несет. И не беспокоился из-за этого, ибо думал, что знает, куда его несут. Вернее — зачем. Но и куда несут — не беспокоился. История была двухлетней давности, в ту пору шел ему четвертый год. Однажды они недосчитались девочки Алисы, ей было двенадцать лет. Он любил ее — настолько, что позволял себя нянчить; а может быть, за это и любил. Для него она была взрослой и почти такой же большой, как женщины, распоряжавшиеся его едой, мытьем и сном, — с той только разницей, что она не была и так и не стала его врагом. Однажды ночью она его разбудила. Она прощалась с ним, но он этого не понял. Он был сонный, недовольный, так и не проснулся как следует — и не протестовал только потому, что она всегда старалась быть с ним ласковой. Он не понял, что она плачет, ибо не знал, что взрослые плачут, а к тому времени, когда узнал, память уже забыла о ней. И так же, не протестуя, он уснул, а наутро ее уже не было. Исчезла, не оставив следов, да-

же старой одежды, и сама кровать, на которой она спала, уже была занята новым мальчиком. Он так и не узнал, куда она делась. В тот день он слышал, как несколько взрослых девочек, собиравших ее в дорогу, говорили — приглушенно, таинственно, все еще с придыханием, будто собирали невесту, — о новом платье, о новых туфлях, об экипаже, который ее увез. Тогда он понял, что она уехала навсегда — сгинула за железными воротами стальной ограды. И тогда он словно увидел ее: фигурку, которая в момент исчезновения за слязгнувшимися воротами стала героической и, не уменьшаясь в размерах, таяла в чем-то безымянном и великолепном, как закат. Больше года прошло, прежде чем он узнал, что она была не первой — не будет последней. Что и другие — не одна Алиса — исчезали за слязгнувшимися воротами, в новом платье или новом комбинезоне, с аккуратным, маленьким — порою меньше коробки от туфель — узелком в руках. Он думал, что именно это и происходит с ним сейчас. Он думал, что теперь ему понятно, как им всем удавалось исчезнуть, не оставив после себя следов. Он думал, что их уносили, как и его, в глухую полночь.

Он уже чувствовал, что впереди — дверь.

Она была совсем близко; он точно знал, на сколько еще невидимых ступеней спустился с безмолвной бесконечной осторожностью человек, который его несет. Он чувствовал под собой напряженные жесткие руки и узелок, комок, в котором он угадал свою одежду, собранную в темноте, ощупью. Человек остановился. Когда он нагнулся, ноги мальчика, описав дугу, стали на пол, и пальцы, коснувшись холодных, как железо, досок, загнулись вверх. «Стой», — сказал человек. И тогда ребенок понял, кто это.

Он узнал его сразу и не удивился. Удивилась бы начальница, если бы узнала, как хорошо он знает этого человека. Мальчик не знал его имени, и за те три года, что он был сознательным существом, они не перемолвились и сотней слов. Но человек этот был самой определенной личностью в его окружении — не исключая и девочки Алисы. Даже в трехлетнем возрасте мальчик чувствовал, что между ними есть связь, не нуждающаяся в словах. Он знал, что секунды не может провести на площадке без того, чтобы этот человек не следил за ним со своего стула в дверях котельной, и что он следит за ним с глубоким и неослабным вниманием. Будь ребенок постарше, он, может быть, подумал бы *Он ненавидит*

меня и боится. До того, что не может спустить с меня глаз А в тех же летах, но со словарем побогаче — мог бы подумать *Вот почему я не такой, как другие: потому что он все время за мной следит* Он примирился с этим. И потому не удивился, узнав, кто забрал его, сонного, из постели и понес вниз; и, стоя перед дверью, в кромешной и холодной тьме, пока человек помогал ему одеться, он мог бы подумать *Он ненавидит меня настолько, что пытается предотвратить какое-то надвигающееся на меня событие*

Дрожа, торопясь изо всех сил, он послушно оделся; оба они при этом путались в его маленьких вещах, но кое-как их натягивали. «Ботинки, — сказал человек все тем же неслышным шепотом. — На!» Мальчик сел на холодный пол, чтобы обуться. Теперь человек его не трогал, но ребенок слышал, чувствовал, что и он наклонился, занят чем-то. «Тоже ботинки надевает», — подумал он. Пошарив, человек опять дотронулся до него, поднял на ноги. Шнурки у мальчика не были завязаны. Он еще этому не научился. Он не сказал, что не завязал шнурки. Он вообще не проронил ни звука. Только стоял, а потом его завернули целиком в какую-то вещь — по запаху он догадался, что она принад-

лежит этому человеку, — и снова подняли. Дверь открылась, разинулась. В нее хлынул свежий холодный воздух, свет уличных фонарей; он увидел фонари, голые фабричные стены, высокие бездымные трубы на фоне звезд. Высвеченная улицей стальная ограда стояла как строй изможденных солдат. Пока его несли через площадку, его свисающие ноги качались в такт шагам мужчины, а незашнурованные ботинки похлопывали по щиколоткам. Наконец они очутились у железных ворот и вышли за ограду.

Ждать трамвая им пришлось недолго. Будь мальчик постарше, он отметил бы, как хорошо этот человек рассчитал время. Но он ничего не замечал и не удивлялся. Он просто стоял на перекрестке рядом с мужчиной, в расшнурованных ботинках, до пят закутанный в мужское пальто, с широко раскрытыми, круглыми глазами и спокойным, совсем не сонным лицом. Подъехал трамвай, ряд окон, дребезжа, остановился и жужжал, пока они входили. В вагоне было почти пусто — шел третий час ночи. Здесь мужчина заметил, что ботинки не зашнурованы, и зашнуровал их, а ребенок наблюдал за этим, сидя смирно, с вытянутыми ногами. Вокзал был далеко, а на трамвае ему уже приходилось ездить,

так что, когда они добрались до вокзала, мальчик спал. Когда он проснулся, был день, и они уже давно ехали на поезде. На поезде ему ездить не приходилось, но никто бы об этом не догадался. Он сидел смирно, как в трамвае, закутанный в мужское пальто — весь, кроме головы и торчащих вперед ног, — и рассматривал местность: холмы, деревья, коров и прочее — он никогда не видел, чтобы они плыли мимо окна. Увидев, что он не спит, мужчина вынул еду, завернутую в газету. Ломтики хлеба с ветчиной. «На», — сказал мужчина. Он взял и стал есть, глядя в окно.

Он не сказал ни слова, не выразил ни малейшего удивления — даже на третий день, когда пришли полицейские и забрали его и мужчину. Дом, где они жили теперь, ничем не отличался от того, который они покинули ночью: те же дети с разными именами, те же взрослые с разными запахами — и так же мало причин уезжать из нового дома, как покидать старый. Но он не удивился, когда они пришли и велели встать и одеться — не потрудившись объяснить, почему и куда он опять должен ехать. Может быть, он понимал, что едет обратно; может быть, с детской прозорливостью еще вначале понял то, чего не понимал мужчина: что так не будет, не может

продолжаться. И снова он видел из поезда те же холмы, те же деревья, тех же коров — но с другой стороны, в другом направлении. Полицейский дал ему еду. Ломтики хлеба с ветчиной; только вынул их не из газеты. Он заметил это, но ничего не сказал и, может быть, ничего не подумал.

Потом он очутился дома. Может быть, он ожидал, что по возвращении его накажут, хотя за какое именно преступление — узнать и не рассчитывал, ибо давно усвоил, что если дети могут принимать взрослых как взрослых, то взрослые детей не умеют воспринимать иначе, как тоже взрослых. Он уже забыл историю с пастой. Теперь он избегал диетсестру так же, как месяц назад старался попасться ей на глаза. Он был так занят этим, что давно забыл причину — а вскоре забыл и путешествие, ибо ему не суждено было знать, что между тем и другим есть связь. Путешествие он время от времени вспоминал, но рассеянно, смутно. И бывало это только тогда, когда ему случалось взглянуть на дверь котельной и вспомнить человека, который прежде сидел там, наблюдая за ним, а теперь исчез совершенно и, по обычаю всех покидавших дом, не оставил следов — даже плетеного стула на пороге. И куда он мог деться, ребенок тоже не интересовался,

не задумывался.

Однажды вечером за ним пришли в класс. Это было за две недели до Рождества. Две молодые женщины — диетсестры среди них не было — отвели его в ванную, вымыли, одели в чистый комбинезон, расчесали ему влажные волосы и доставили его в кабинет начальницы. Там сидел мужчина, чужой. Он посмотрел на мужчину и все понял — раньше, чем начальница успела раскрыть рот. Может быть, память знала, знание начало вспоминать, а может быть, даже — желание, ибо к пяти годам нельзя накопить столько отчаяния, чтобы родилась надежда. Может быть, он внезапно вспомнил путешествие в поезде и еду, потому что даже память простиралась ненамного дальше этого. «Джозеф, — сказала начальница, — хотел бы ты уехать и жить в деревне с хорошими людьми?»

Он стоял в новом жестком комбинезоне с красными, горящими от простого мыла и грубого полотенца лицом и ушами и слушал чужого. Один раз он посмотрел на него — и увидел плотного мужчину с густой коричневой бородой и волосами, стриженными не то чтобы недавно, но коротко. И борода и волосы были жесткие, буйные, без седины, словно растительности

не коснулись сорок с лишним лет, прошедшиеся по лицу. Глаза были светлые, холодные. Костюм — жесткий, строгий, черный. На колене лежала черная шляпа, ее придерживала чистая квадратная рука, в кулак сжатая даже на мягком фетре. Поперек жилета тянулась тяжелая серебряная цепь от часов. Надежные черные башмаки покоились на полу бок о бок; они были начищены до блеска. При взгляде на него даже пятилетнему ребенку было понятно, что он не употребляет табаку и в других этого не потерпит. Но мальчик не смотрел на него — из-за его глаз.

Однако он чувствовал на себе его взгляд — холодный и пристальный, но не нарочито суровый. Таким взглядом он мог бы изучать лошадь или подержанный плуг — заранее зная, что найдет изъяны, заранее зная, что купит. Говорил он обстоятельно, веско, с расстановкой — голосом человека, требующего, чтобы его выслушивали если и не со вниманием, то хотя бы молча.

— Значит, вы либо не можете, либо не хотите ничего больше сказать о его родословной.

Начальница на него не смотрела. Глаза ее за стеклами очков были студенистыми — по крайней мере в эту минуту. Ответила она

сразу, как-то даже чересчур сразу:

— Мы не пытаемся выяснять их родословную. Как я уже сказала, его подобрали здесь, на ступеньках, в канун Рождества — без двух недель пять лет назад. Если для вас так важна родословная, вам вообще не стоит усыновлять ребенка.

— Я не совсем то хотел сказать, — возразил незнакомец. Тон у него был слегка примирительный. Он ухитрялся извиняться, ни на йоту не отступив от своих убеждений. — Надо бы мне, пожалуй, потолковать с мисс Аткинс (так звали диетсестру), поскольку я лично с ней состоял в переписке.

И снова начальница ответила ему холодно и без промедления — чуть ли не раньше, чем он успел договорить:

— Я, вероятно, могу дать вам не меньше сведений об этом или любом другом из наших детей, чем мисс Аткинс, потому что ее официальные обязанности ограничиваются здесь кухней и столовой. Просто вышло так, что в данном случае она любезно согласилась служить секретарем в нашей переписке с вами.

— Не важно, — сказал незнакомец. — Не важно. Я просто подумал…

— Что вы подумали? Мы никого не принужда-

ем брать у нас детей, так же как детей не принуждаем уезжать против воли — если у них есть достаточно серьезные причины. Это — вопрос, который стороны должны решать между собой. Мы только советуем.

— Ну, ну, — сказал незнакомец. — Это не важно, еще раз говорю. Я не сомневаюсь, что малец у нас приживется. Он найдет себе хорошую семью в лице меня и миссис Макихерн. Люди мы уже не молодые, живем тихо. Разносолов и праздности не найдет. И работы не больше, нежели ему на пользу. Я не сомневаюсь, что, несмотря на его происхождение, он возрастет у нас в страхе Божьем и в отвращении к праздности и суете.

Так вексель, который он подписал два месяца назад тюбиком пасты, был опротестован, а до сих пор не вспоминавший о нем должник, закутанный в чистую попону, маленький, бесформенный, неподвижный, сидел в коляске, трясшейся в декабрьских сумерках по заледенелым ухабам. Ехали весь день. В полдень мужчина накормил его, достав из-под сиденья картонку с деревенской едой, приготовленной три дня назад. Но заговорил он с мальчиком только сейчас. Одетым в варежку кулаком, в котором был зажат кнут, он показал вперед на единственный

огонек, светивший в сумраке, и произнес одно-единственное слово. «Дом», — сказал он. Ребенок ничего не сказал. Мужчина смотрел на него сверху. Он тоже закутался от холода: большой, коренастый, бесформенный, чем-то похожий на булыжник, и не столько крутой, сколько безжалостный. «Я говорю, вон твой дом». Ребенок по-прежнему не отвечал. Он никогда не видел своего дома, поэтому ему нечего было сказать. А чтобы говорить, ничего при этом не сказав, он был еще слишком мал. «Здесь ты найдешь кров и хлеб и заботу верующих людей, — сказал мужчина. — И работу себе по силам, которая убережет тебя от дурного. Ибо ты у меня скоро усвоишь, что два есть порока — леность и праздномыслие, две добродетели — работа и страх Божий». Ребенок опять ничего не сказал. Он никогда не работал и не боялся Бога. О Боге он знал меньше, чем о работе. Работа, которую олицетворяли люди с граблями и лопатами на площадке для игр, происходила на его глазах, шесть дней в неделю; Бог же появлялся только по воскресеньям. И тогда — если не считать непременного испытания чистотой — он был музыкой, приятной для слуха, и словами, слуха не задевавшими вовсе, — в целом приятным, хотя и несколько

утомительным. Мальчик ничего не сказал. Коляска подскакивала, крепкие, ухоженные мулы поторапливались — к стойлу, к корму, к дому.

И было еще одно, что он вспомнил гораздо позже — когда память уже не признавала того лица, не признавала поверхности воспоминания. Они — в кабинете начальницы: он стоит неподвижно, избегая смотреть в глаза незнакомцу, но чувствует на себе его взгляд и ждет, когда незнакомец скажет то, что думают его глаза. И он слышит: «Кристмас. Языческая фамилия. Святотатство. Я ее переменю».

— Это ваше законное право, — ответила начальница. — Нам важно не как их зовут, а как с ними обращаются.

Но чужой уже никого не слушал — так же, как ни к кому не обращался.

— С нынешнего дня его будут звать Макихерн.

— Это разумно, — сказала сестра-хозяйка. — Дать ему вашу фамилию.

— Он будет есть мой хлеб и соблюдать мою религию, — сказал незнакомец. — Почему бы ему не носить мою фамилию?

Мальчик не слушал. Он был безучастен. Его это мало беспокоило — не больше, чем если бы незнакомец сказал, что день жаркий, когда он

на самом деле не жаркий. Настолько мало, что он даже не сказал про себя *Меня не Макихерном зовут. Меня зовут Кристмас* Беспокоиться из-за этого пока не стоило. Времени впереди было много.

— Почему бы и нет, в самом деле? — сказала начальница.

7

И вот что знает память — двадцать лет спустя память еще будет верить *В тот день я стал мужчиной*

Чистая спартанская комната благоухала воскресеньем. Чистые штопаные занавески на окнах колыхались от ветерка, пахшего взрыхленной землей и лесным яблоком. На желтом, под дуб мелодеоне, педали которого были обиты вытертой и обтрепанной ковровой тканью, стояла ваза для фруктов с цветами шпорника. Мальчик сидел на жестком стуле за столом, на котором стояла никелированная лампа и лежала огромная Библия с латунными застежками и петлями и латунным замком. Мальчик был в чистой белой рубашке без воротничка и темных брюках, новых и жестких. Ботинки его были начищены недавно и неумело — как мог начистить восьмилетний ребенок, — с тусклыми пятнами там и сям, особенно на задниках, куда не попала вакса. На столе перед ним лежал раскрытый пресвитерианский катехизис.

Макихерн стоял у стола. Он был в чистой

сатиновой рубашке и тех же черных брюках, в которых мальчик увидел его в первый раз. Его волосы, влажные и все еще без седины, были зачесаны на круглой голове гладко и аккуратно. Борода — тоже расчесана, тоже еще влажна. «Ты не старался выучить», — сказал он.

Мальчик не поднял глаз. Он не шевелился. Но лицо мужчины не стало от этого менее каменным. «Я старался».

«Тогда постарайся еще. Даю тебе еще час». Макихерн вынул из кармана пузатые серебряные часы, положил на стол циферблатом кверху, придвинул к столу еще один жесткий стул с прямой спинкой и сел, чисто вымытые руки положив на колени, ровно поставив ноги в тяжелых начищенных башмаках. На них не было тусклых пятен, не смазанных ваксой. Вчера вечером, однако, — во время ужина, — они были. А позже, когда мальчик, раздевшись на ночь, остался в одной рубашке, его выпороли, и он начистил их сызнова. Мальчик сидел за столом. Лицо его, потупленное, неподвижное, не выражало ничего. В чистую голую комнату замирающими порывами влетал весенний ветер.

Это происходило в девять часов утра. Они сидели тут с восьми. Церкви поблизости были,

но пресвитерианская находилась в пяти милях, и до нее был час езды. В половине девятого появилась миссис Макихерн. Она робко заглянула в комнату — уже в черном платье, в шляпе, — маленькая забитая женщина с чуть согнутой спиной. Выглядела она лет на пятнадцать старше своего кряжистого, ражего супруга. В комнату она даже не вошла. Остановилась на пороге, постояла — в шляпе, в черном платье, порыжелом, но, как всегда, вычищенном, с зонтиком и веером в руках; странное выражение было в ее глазах: казалось, все, что она слышит и видит, она слышит и видит через более явственный образ и голос мужчины — как если бы она была медиумом, а ее ражий, безжалостный муж — духом. Возможно, он и услышал ее. Но не оглянулся и не заговорил. Она повернулась и ушла.

Ровно через час Макихерн поднял голову. «Теперь знаешь?» — спросил он.

Мальчик не шелохнулся. «Нет», — сказал он.

Макихерн встал, медленно, не спеша. Он взял со стола часы, закрыл их и положил в карман, снова пропустив цепь через подтяжку. «Пошли», — сказал он. Он не оглядывался. Мальчик последовал за ним по коридору в глубину дома; он тоже шел выпрямившись, молча, с поднятой

головой. Их спины выражали одинаковое упрямство, будто наследственное. Миссис Макихерн была на кухне — все еще в шляпе, все еще с зонтиком и веером в руках. Она смотрела на дверь, когда они проходили мимо. «Па», — сказала она. Ни тот, ни другой даже головы не повернули. Словно не слышали, словно она и не сказала ничего. Они прошли мимо двухзвенной цепочкой, — более схожие в непреклонном отрицании всякого компромисса, чем если бы их связывало кровное родство. Они пересекли двор и вошли в хлев. Макихерн отворил дверь стойла и отступил в сторону. Мальчик вошел в стойло. Макихерн снял с гвоздя упряжной ремень. Ремень был ни старый, ни новый, как его башмаки. Он был чистым, как башмаки, и пах, как сам хозяин, чистой, крепкой, ядреной кожей. Мужчина посмотрел на мальчика.

«Где книга?» — спросил он. Мальчик смирно стоял рядом, на его спокойном лице сквозь ровную пергаментную желтизну проступила легкая бледность. «Ты ее не принес, — сказал Макихерн. — Ступай обратно и принеси». Голос его не был недобрым. В нем вообще не было ничего человеческого, личного. Он был просто холодный, неумолимый, как писаное или печатное

слово. Мальчик повернулся и вышел.

Когда он вошел в дом, миссис Макихерн была в коридоре. «Джо», — сказала она. Он не отозвался. Он даже не взглянул на нее — на ее лицо, на деревянное движение руки, приподнявшейся в деревянной пародии на самый ласковый жест, доступный человеческой руке. Он прошел мимо как деревянный, с непреклонным лицом — непреклонным, быть может, от гордости и отчаяния. А может быть — от тщеславия, глупого мужского тщеславия. Он взял со стола катехизис и вернулся в конюшню.

Макихерн ждал с ремнем наготове. «Положи», — сказал он. Мальчик положил книгу на пол. «Не сюда, — сказал Макихерн без гнева. — Ты думаешь, что пол в хлеву, топталище скота — место для слова Божья. Но я тебя и в этом направлю». Он сам поднял книгу и положил на выступ. «Спусти штаны, — сказал он. — Мы их марать не будем».

Штаны упали на пол; мальчик остался в короткой рубашке, не закрывавшей ног. Он стоял прямой и тонкий. При первом ударе ремня он не отпрянул, не дрогнуло и его лицо. Он смотрел прямо перед собой со спокойным, углубленным выражением, как монах на картине. Маки-

херн принялся хлестать, методично, медленно, с рассчитанной силой, по-прежнему без гнева и азарта. Трудно сказать, чье лицо было более спокойным и углубленным, в чьем было больше убежденности.

Он ударил десять раз и перестал. «Возьми книгу, — сказал он. — Штаны не трожь». Он подал мальчику катехизис. Мальчик взял его. И продолжал стоять — прямой, с поднятым лицом и книжкой, в позе благоговейного восторга. Он был точь-в-точь как мальчик из католического хора, только без стихаря, и вместо нефа таяло в сумраке стойло, грубая дощатая стена, за которой в сухом аммиачном уединении возилась, изредка всхрапывая и лениво стукая копытом, невидимая скотина.

Макихерн, не сгибаясь, сел на ясли и сидел, расставив ноги, одну руку положив на колено, а на другой ладони держа серебряные часы; его чистое бородатое лицо было твердым, словно вытесанным из камня, глаза смотрели безжалостно и холодно, но не зло.

Так они провели час. Один раз за это время в задней двери дома показалась миссис Макихерн. Но ничего не сказала. Только постояла, глядя на хлев — в шляпе, с зонтиком и веером.

Потом вернулась в дом.

И снова ровно через час, секунда в секунду, Макихерн спрятал часы в карман. «Теперь знаешь?» — спросил он. Мальчик не ответил — прямой, застывший, с раскрытой книжкой перед глазами. Макихерн вынул книжку из его рук. Мальчик при этом не шелохнулся. «Повторяй катехизис», — сказал Макихерн. Мальчик смотрел на стену прямо перед собой. Теперь лицо его было совсем белым, несмотря на ровный насыщенный тон кожи. Неторопливо и аккуратно Макихерн положил книгу на выступ и взял ремень. Он ударил десять раз. Когда он кончил, мальчик еще мгновение стоял неподвижно. Он еще не завтракал; они оба еще не завтракали. Затем мальчик пошатнулся и упал бы, если бы Макихерн не схватил его за руку и не поддержал. «Поди, — сказал Макихерн и потянул его к яслям. — Сядь тут».

«Нет», — сказал мальчик. И стал выдергивать руку, которую держал Макихерн. Тот отпустил.

«Что с тобой? Ты болен?»

«Нет», — сказал мальчик. Голос у него был слабый, лицо — белое.

«Возьми книгу», — сказал Макихерн, вкладывая ее в руку мальчика. За окном показалась миссис

Макихерн — она опять вышла из дома. Теперь она была в летнем капоре и длинном линялом платье и несла деревянную бадью. Она прошла за окном, не взглянув в их сторону, и скрылась из виду. Немного погодя до них донесся протяжный скрип колодезного ворота, звучавший мирно и удивительно в тишине богослужебного дня. Потом она снова прошла за окном, изогнувшись под тяжестью бадьи, и скрылась в доме, не взглянув на хлев.

Снова ровно через час Макихерн оторвал взгляд от часов. «Ты выучил?» — спросил он. Мальчик не ответил, не пошевелился. Когда Макихерн подошел к нему, он увидел, что мальчик вовсе не смотрит на страницу, что глаза у него остановившиеся и пустые. Когда он взялся за книгу, он обнаружил, что мальчик цепляется за нее, как за веревку или за столб. Когда он силой отнял у него книгу, мальчик грянулся об пол и больше не шевелился.

Когда мальчик очнулся, день был на исходе. Он лежал на своей кровати в чердачной комнате под покатой крышей. В комнате стояла тишина, вползали сумерки. Ему было хорошо; он лежал, покойно глядя на скошенный потолок, и не сразу почувствовал, что рядом кто-то сидит. Это был

Макихерн. Теперь он тоже был одет по-будничному — не в комбинезон, в котором ходил в поле, а в выгоревшую чистую рубашку без воротничка и выгоревшие чистые брюки защитного цвета. «Ты не спишь», — сказал он. Он протянул руку и отвернул покрывало. «Идем», — сказал он.

Мальчик не шевелился. «Вы опять будете меня бить?»

«Идем, — сказал Макихерн. — Встань». Мальчик слез с кровати и встал — худенький в мешковатом бумажном белье. Макихерн тоже зашевелился — туго, неуклюже, как будто его сковывали собственные мышцы и движение стоило ему неимоверной затраты сил; мальчик с детским интересом, но без удивления наблюдал, как он медленно и тяжело опускается на колени. «Стань на колени», — сказал Макихерн. Мальчик стал; в тесной сумрачной комнате стояли на коленях двое: ребенок в перешитом белье и безжалостный мужчина, не знавший, что такое сомнение или сострадание. Макихерн начал молиться. Он молился долго, монотонным, нудным, усыпляющим голосом. Он просил, чтобы ему простилось прегрешение против воскресного дня и то, что он поднял руку на ребенка, на сироту, любезного Богу. Он просил, чтобы упрямое сердце ребенка

смягчилось и ему тоже простился грех непослушания — по ходатайству человека, которого мальчик презрел и ослушался, — и предлагал Всевышнему быть таким же великодушным, как он сам, по причине и вследствие сознательного милосердия.

Он кончил и грузно поднялся на ноги. Мальчик остался на коленях. Он вообще не пошевелился. Но глаза его были открыты (он ни разу не отвернул, даже не потупил лица) и лицо было вполне спокойно — спокойно, безмятежно, вполне непроницаемо. Он услышал, как мужчина возится у стола, где стоит лампа. Чиркнула, вспыхнула спичка. Пламя выровнялось на фитиле под стеклянным шаром, на котором рука мужчины казалась кровавой. Тени метнулись и выровнялись. Макихерн что-то взял со стола возле лампы: катехизис. Он обернулся к мальчику: нос, гранитный выступ скулы, заросшей волосами до самой глазницы, прикрытой стеклом очков.

«Возьми книгу», — сказал он.

Началось это в воскресенье, до завтрака. Он так и не позавтракал: вероятно, ни он, ни Макихерн о еде ни разу не вспомнили. Макихерн и сам не завтракал, хотя подошел к столу и попросил прощения за пищу и необходимость ею питаться.

Обеденный час мальчик проспал из-за нервного переутомления. А об ужине ни тот, ни другой не вспомнили. Мальчик даже не понимал, что с ним происходит, почему он ощущает такую слабость и покой.

Вот и все, что он чувствовал, лежа в кровати. Лампа еще горела; на дворе было темно. Время шло, но ему казалось, что если он повернет голову, то увидит обоих, себя и мужчину, на коленях возле кровати или по крайней мере ямки на коврике от двух пар колен, не заполненные ничем осязаемым. Сам воздух, казалось, еще источал этот монотонный голос, который был похож на бормотание сновидца и говорил, умолял, препирался с кем-то, не способным даже оставить призрачную ямку на настоящем коврике.

Так он лежал — на спине, скрестив на груди руки, словно надгробное изваяние, — и вдруг снова услышал на узкой лесенке шаги. Шаги были не мужские: он слышал, как в сумерки Макихерн уехал на коляске в церковь, не пресвитерианскую, а ближнюю, в трех милях — замаливать утреннее.

Не поворачивая головы, мальчик слышал, как карабкается по лестнице миссис Макихерн. Слышал, как приближается к его кровати.

Он не смотрел на нее, но скоро ее тень упала на стену, стала видна, и он увидел, что миссис Макихерн несет какую-то вещь. Это был поднос с едой. Она поставила поднос на кровать. Он ни разу не взглянул на нее. Не шевельнулся. «Джо», — сказала она. Он не шевелился. «Джо», — сказала она. Она видела, что глаза у него открыты. Она к нему не прикоснулась.

«Не хочу есть», — сказал он.

Миссис Макихерн не шевелилась. Она стояла, сложив руки под фартуком. Казалось, она на него тоже не смотрит. Казалось, она обращается к стене над его кроватью. «Я знаю, что ты думаешь. Нет. Он не говорил, чтобы я отнесла тебе поесть. Я сама догадалась. Он не знает. Эта еда не от него». Он не шевелился. Его лицо было спокойно, как лицо изваяния, и обращено к скату дощатого потолка. «Ты целый день не ел. Сядь и поешь. Это не он велел, чтобы я отнесла тебе поесть. Он не знает. Я сама собрала — ждала только, пока он уедет».

Тогда он сел. У нее на глазах он поднялся с кровати, взял поднос, ушел с ним в угол и перевернул, скинув посуду с едой на пол. Затем он вернулся на кровать, держа поднос как дароносицу, только вместо стихаря на нем было белье,

купленное для взрослого и ушитое. Она уже не смотрела на него, хотя ни разу за это время не пошевелилась. Руки ее были спрятаны под фартуком. Он влез на кровать и снова лег навзничь, глядя широко раскрытыми глазами в потолок. Он видел ее неподвижную тень, расплывчатую, чуть согнутую. Потом тень исчезла. Он не повернул головы, но услышал, как она присела в углу и собирает на поднос разбитую посуду. Потом она вышла из комнаты. Стало совсем тихо. Лампа горела ровно, ровным язычком; на стене мелькали тени мошек, большие, как птицы. Он чуял, слышал за окном темноту, весну, землю.

Тогда ему было всего восемь лет. Годы прошли, прежде чем память распознала то, что он помнил; годы — с того вечера, когда через час после ее ухода он поднялся с кровати, пошел и стал на колени в углу, как не желал стоять на коврике, и, над поруганной пищей склонившись, стал есть, как дикарь, как собака.

Сумерки; ему полагалось быть за несколько миль отсюда — дома. Хотя в субботние вечера он принадлежал самому себе, никогда еще в такой поздний час он не отлучался так далеко от дома. Дома его ожидала порка. Но не за то, что он

сделал или не сделал во время отлучки. Хотя он не совершил никакого греха, по возвращении его должны были выпороть так же, как если бы он согрешил на глазах у Макихерна.

Но он, наверное, и сам еще не знал, что не согрешит. Впятером они тихо собрались в сумерки у покосившихся дверей брошенной лесопилки, куда перед тем вошла и, раз оглянувшись, скрылась девушка-негритянка, за которой они наблюдали, спрятавшись метрах в ста. Устроил это один из ребят постарше — он и пошел первым. Остальные — подростки в одинаковых комбинезонах, жившие в радиусе трех миль отсюда и в свои четырнадцать-пятнадцать лет, подобно тому, кто звался среди них Джо Макихерном, умевшие пахать, доить и колоть дрова не хуже взрослых, тащили соломинки, разыгрывая очередь. Он, наверное, и не думал об этом как о грехе, пока не подумал о человеке, который ждет его дома, ибо первейший грех для четырнадцатилетнего — быть публично обвиненным в девственности.

Настал его черед. Он вошел в сарай. Там было темно. Сразу же им овладело страшное нетерпение. Что-то рвалось из него, как раньше, когда он думал о зубной пасте. Но он не мог двинуть-

ся с места: внезапно почуяв женщину, почуяв негра, стоял, обуянный негро-женским, охваченный нетерпением, и вынужден был ждать, пока не услышал от нее путеводного звука, который не был осмысленным словом и получился нечаянно. Тогда ему показалось, что он видит ее: что-то распростертое, жалкое, может быть — и ее глаза. Нагнувшись, он словно заглянул в черный колодец и на дне его увидел мерцание — как отблески мертвых звезд. Он уже двигался, потому что его нога коснулась ее. Потом коснулась еще раз, потому что он ее пнул. И снова пнул, с силой, и продолжал пинать придушенный вопль удивления и страха. Она завизжала, он схватил ее за руку, рванул вверх и стал бить, исступленно, наотмашь, молотя, может быть, ее голос, но попадая в плоть — обуянный негро-женским, охваченный нетерпением.

Затем она отлетела от его кулака, и сам он тоже отлетел назад, потому что остальные навалились на него, толпясь, хватая, шаря, а он отвечал ударами, и в горле у него клокотало от ярости и отчаяния. Он чуял теперь только мужской запах, они — тоже, а где-то внизу визжала, пыталась выбраться она. Они топали и мотались, молотя по всему, что касалось руки или тела,

и наконец рухнули кучей — Джо в самом низу. Но он и тут отбивался, боролся, плача. Ее уже не существовало. Они просто дрались — словно ветром их обдало, резким и свежим. Они придавили его, растянули на земле. «Ну, кончишь теперь? Ты попался. Говори, кончишь?»

— Нет, — сказал он. Он извивался, пробовал встать.

— Кончай, Джо! Со всеми не сладишь. Мы же не хотим с тобой драться.

— Нет, — сказал он, пыхтя и вырываясь. Ни один из них не мог разглядеть, где — кто. Они совсем забыли о девушке, о причине драки и о том, была ли вообще причина. Для тех четверых все получилось автоматически, непроизвольно: инстинктивное побуждение самца драться за самку или из-за самки, с которой он спарился недавно или желает спариться. Но никто из них не понимал, почему дерется он. А он им сказать не мог. Они прижимали его к земле и переговаривались тихими сдавленными голосами.

— Эй, вы, сзади, давайте отсюда. А потом мы его отпустим, разом.

— Кто его держит? Кого я держу?

— Эй, пусти. Так, погоди… вот он… Мы с… — Сно-

ва вся куча вздыбилась, напряглась. Они снова его прижали. — Он тут, под нами. А вы отпускайте и — ходу. Дайте нам повернуться.

Двое поднялись и отступили за дверь. Затем другие двое, словно подброшенные взрывом, вылетели из темного сарая и бросились бежать. Джо ударил сразу, как только его отпустили, но уже никого не достал. Лежа на спине, он смотрел, как убегает в сумерках четверка, замедляет ход, оборачивается. Он поднялся и вышел из сарая. Он стоял у двери, отряхиваясь — тоже непроизвольно, — а они тихо сошлись невдалеке и наблюдали за ним. Он на них не смотрел. Он зашагал прочь; комбинезон его сливался с сумерками. Час был поздний. Вечерняя звезда, тяжелая и сочная, висела, как цветок жасмина. Он ни разу не оглянулся. Он уходил, призраком тая в темноте; четверо ребят следили за ним, сбившись в кучку, и лица их в сумерках были маленькими и бледными. Внезапно один из них произнес неожиданно громко: «Ага-а-а!» Джо не оглянулся. Другой голос тихо сказал, прозвучал тихо, внятно: «Покедова, Джо, до завтра». Он не ответил. Продолжал идти. То и дело механическим жестом он отряхивал комбинезон.

Когда впереди показался дом, небо на западе

уже потухло совершенно. На выгоне за сараем бил родник; купа ив шумела и пахла, но была неразличима. Когда он приблизился, трели молодых лягушек смолкли разом, как струны, перерезанные ножницами. Он опустился на колени; в темной воде не видно было даже очертаний его головы. Он ополоснул лицо, заплывший глаз. Потом пошел дальше — через выгон, к свету в кухонном окне. Оно следило за ним, выжидательно и угрожающе, как глаз.

Перед изгородью он остановился, глядя в освещенное окно. Постоял немного, опершись на изгородь. В траве дружно стрекотали кузнечики. Над росно-серой землей между темных древесных стволов плавали и гасли светляки, блуждающие и неверные. На дереве возле дома пел пересмешник. Дальше, в лесу за родником, свистали два козодоя. А еще дальше, словно за каким-то последним горизонтом лета, выла собака. Он прошел за ограду и в дверях хлева, где его дожидались две недоеные коровы, увидел неподвижно сидящего человека.

Он узнал Макихерна и даже не удивился — словно ситуация эта была совершенно логичной, разумной и неизбежной. Возможно, ему пришло в голову, что они двое всегда могут друг

на друга рассчитывать, положиться друг на друга; что только ее поступки нельзя предугадать. Возможно, он не видел ничего несообразного в том, что, хотя он и воздержался от греха, который в глазах Макихерна был бы самым тяжким из возможных грехов, его сейчас накажут так же, как если бы он согрешил. Макихерн не встал. Он продолжал сидеть, бесстрастный, каменный, и рубашка его смутно белела в черном зеве двери. «Я подоил и накормил», — сказал он. Потом встал неторопливо. Возможно, мальчик знал, что ремень уже у него в руке. Он взлетал и падал неторопливо, по счету, с пресными неторопливыми хлопками. Тело мальчика было как будто из дерева, из камня: столп или башня, на котором чувствилище его размышляло как отшельник — созерцательно и отстраненно, в экстазе самораспятия.

К кухне они подошли бок о бок. Когда свет из окна упал на них, мужчина остановился, повернулся, приблизил к нему лицо, вглядываясь.

— Дрался, — сказал он. — Из-за чего?

Мальчик не ответил. Вид у него был бесстрастный, сосредоточенный. Немного погодя он ответил. Голос его был ровен, холоден.

— Просто так.

Они стояли.

— Ты что же — не можешь сказать или не хочешь сказать? — Мальчик не ответил. Он не смотрел в землю. Он ни на что не смотрел. — Если ты сам не знаешь, ты дурак. А если не хочешь сказать, значит, ты нашкодил. Ты был с женщиной?

— Нет, — ответил мальчик.

Мужчина смотрел на него. Когда он заговорил, тон у него был задумчивый.

— Ты никогда мне не лгал. То есть сколько я знаю. — Он смотрел на мальчика, на его спокойный профиль. — С кем ты дрался?

— Там был не один.

— Ага, — сказал мужчина. — Я полагаю, ты им оставил память?

— Не знаю. Наверно.

— Ага, — сказал мужчина. — Поди умойся. Ужин готов.

В ту ночь он ложился спать с твердым решением бежать из дома. Он чувствовал себя как орел: суровым, независимым, могущественным, беспощадным, сильным. Но это прошло, хотя он не понимал тогда, что ему, как орлу, клеткой была собственная плоть и все окружающее пространство.

Макихерн хватился телки только на третий

день. И то потому, что наткнулся на спрятанный в хлеву новый костюм. Осмотрев его, он понял, что костюм ни разу не надеван. Костюм он нашел утром. Но ничего об этом не сказал. А вечером пришел в хлев, где Джо доил корову. Хотя он сидел на низком табурете, прислонясь головой к коровьему боку, нетрудно было заметить, что ростом он не уступит взрослому мужчине. Но Макихерн этого не видел. Если он что и видел, то — ребенка, пятилетнего сироту, который сидел с ним в коляске декабрьским утром двенадцать лет назад, настороженно замерший и покорно-безразличный, как животное. «Я не вижу твоей телки», — сказал Макихерн. Джо не ответил. Он склонился над подойником, над ровно шипящей струей молока. Макихерн стоял позади него, над ним, глядя сверху.

— Я говорю, твоей телки не видно.

— Знаю, — сказал Джо. — Она, наверно, у ручья. Я за ней сам присмотрю, раз она моя.

— Ага, — сказал Макихерн. Он не повысил голоса. — Пятидесятидолларовой телке вечером не место у ручья.

— Ну, это будет моя потеря, — сказал Джо. — Корова была моя.

— Была? — переспросил Макихерн. — Ты ска-

зал, корова *была* твоя?

Джо не поднял головы. Струя молока из-под его пальцев с тихим шипением толкалась в подойник. Он слышал, что Макихерн ходит у него за спиной. Но не оглядывался, пока не кончил доить. Тогда он повернулся. Макихерн сидел на чурбаке у двери.

— Ты бы снес сперва домой молоко, — сказал он.

Джо встал; в руке у него покачивалось ведерко. Он ответил упрямо, но спокойно:

— Утром ее найду.

— Снеси домой молоко, — сказал Макихерн. — Я подожду тебя тут.

Джо постоял еще секунду. Потом повернулся. Он вышел из хлева и направился к кухне. Когда он ставил подойник на стол, появилась миссис Макихерн.

— Ужин готов, — сказала она. — Мистер Макихерн уже дома?

Джо отвернулся к двери.

— Скоро придет, — сказал он. Он чувствовал, что женщина смотрит на него.

Она сказала обеспокоенно, несмело:

— Ты как раз успеешь умыться.

— Скоро придем. — Он вернулся в хлев.

Миссис Макихерн подошла к двери и смотрела ему вслед. Еще не совсем стемнело, и она увидела в дверях хлева фигуру мужа. Она не позвала его. Просто стояла и смотрела, как сходятся двое мужчин. Что они говорят, она не могла расслышать.

— Так, говоришь, она у ручья? — сказал Макихерн.

— Я сказал — может быть. На выгоне места много.

— Ага, — сказал Макихерн. Оба разговаривали спокойно. — Где же она, по-твоему?

— Не знаю. Я не корова. Не знаю, где она может быть.

Макихерн пошел.

— Давай посмотрим, — сказал он. Джо вышел на пастбище следом за ним. До ручья было четверть мили. В темной ленте прибрежных деревьев мелькали светляки. Они подошли к деревьям. Стволы их задыхались в болотной поросли, непролазной даже днем. — Кликни ее, — сказал Макихерн. Джо молчал. Не шевелился. Они стояли лицом к лицу.

— Корова моя, — сказал Джо. — Вы мне отдали ее теленком. Я вырастил ее, потому что вы отдали ее мне в собственность.

— Да, — сказал Макихерн. — Отдал. Чтобы

приучить тебя к ответственности владения имуществом, собственностью. К ответственности владельца перед тем, чем он владеет с Божьего соизволения. Чтобы научить тебя предусмотрительности и приумножению. Кликни ее.

Они по-прежнему стояли лицом к лицу. Возможно, смотрели друг на друга. Потом Джо повернулся и пошел вдоль топи, Макихерн последовал за ним.

— Почему не зовешь? — сказал он. Джо не ответил. Он как будто вовсе не смотрел на ручей, на болото. Наоборот, он смотрел на одинокий огонек в той стороне, где был дом, — то и дело оглядывался на него, словно измеряя пройденный путь. Они шли не быстро, но вскоре очутились перед изгородью, отмечавшей границу выгона. Уже совсем стемнело. У изгороди Джо повернулся. Теперь они смотрели друг на друга. Они опять стояли лицом к лицу. Потом Макихерн сказал:

— Что ты сделал с телкой?

— Продал, — сказал Джо.

— Ага. Продал. А могу я узнать, что ты за нее получил?

Лиц они уже не могли различить. Они были всего лишь двумя тенями, почти одинаковой вы-

соты, только Макихерн был пошире. Голова его над белым пятном рубашки напоминала мраморные ядра на памятниках Гражданской войны.

— Корова была моя, — сказал Джо. — Если она была не моя, зачем вы мне так сказали? Зачем мне ее отдали?

— Ты прав. Она была твоей собственностью. Пока что я тебя не упрекал за продажу — если только ты взял за нее хорошую цену. И если даже тебя надули, как это скорей всего и должно случиться с мальчиком восемнадцати лет, — я тебя все равно не упрекну. Хотя надо было спросить совета у старшего, кто лучше знает жизнь. Но ты должен учиться, как я учился. А спрашиваю я вот что: куда ты положил деньги на сохранение? — Джо не отвечал. Они стояли друг против друга. — Может, ты отдал их на хранение приемной матери?

— Да, — сказал Джо. Сказал его язык — солгал помимо воли. Он отвечать не собирался. Он услышал свой ответ с каким-то тягостным изумлением. Но было уже поздно. — Отдал ей, чтобы спрятала, — добавил он.

— Ага, — сказал Макихерн. И вздохнул — вздохнул чуть ли не с наслаждением — удовлетворенно, победоносно. — И ты, конечно, скажешь,

что это приемная мать купила тебе новый костюм, который спрятан на сеновале. Ты был замечен во всех других грехах, на какие способен: в лени, в неблагодарности, в непочтительности, в богохульстве. Теперь я уличил тебя в последних двух: во лжи и разврате. Зачем тебе понадобился новый костюм, если не для распутства? — Так он признал, что ребенок, усыновленный им двенадцать лет назад, — мужчина. Стоя с ним почти нос к носу, Макихерн ударил его кулаком.

Первые два удара Джо стерпел — может быть, по привычке, может быть — от удивления. Но стерпел — чувствуя, как тяжелый кулак мужчины дважды врезался ему в лицо. Потом он отскочил, пригнулся, слизывая кровь, пыхтя. Они стояли друг против друга.

— Попробуй еще ударь, — сказал он.

Позже, когда, холодный, окоченелый, он лежал у себя на чердаке, он услышал их голоса, долетавшие по узкой лестнице из нижней комнаты.

— Я его купила! — говорила миссис Макихерн. — Я! На свои деньги от масла. Ты сказал, что я могу распоряжаться… могу тратить… Саймон! Саймон!

— Ты врешь еще нескладнее, чем он, — сказал мужчина. Голос Макихерна, размеренный,

суровый, бесстрастный, долетал по лестнице до его кровати. Он его не слушал. — На колени. На колени. НА КОЛЕНИ, ЖЕНЩИНА. Проси у Бога милости и прощения — не у меня.

Она всегда старалась быть с ним ласковой — с того первого декабрьского вечера двенадцать лет назад. Когда коляска подъехала к дому, она стояла на крыльце — терпеливое, забитое существо без признаков пола, если не считать аккуратного седеющего узелка на макушке да юбки. Казалось, не морил, не разлагал ее исподволь безжалостный фанатик-муж, превращая в нечто чуждое даже своим намерениям и ее разумению, а упрямо расплющивал ее, как ковкий, податливый металл, все тоньше и тоньше — в бесплотность немых надежд и неисполненных желаний, серых и тусклых, как зола.

Когда коляска остановилась, она пошла к ним так, словно заранее все наметила и отрепетировала: как она снимет его с дрожек, унесет в дом. С тех пор, как он научился ходить, его ни разу не брала на руки женщина. Он вывернулся и пошел в дом сам — зашагал, маленький и неуклюжий в широкой попоне. Она шла рядом, вилась вокруг него. Она его усадила; в том, как она вилась вокруг него, в ее проворстве было что-то

натянутое, растерянно-егозливое, словно ей хотелось повторить все сначала — чтобы он и она действовали так, как было намечено. Став перед ним на колени, она пыталась его разуть — до тех пор, пока он не догадался, чего ей надо. Он отвел ее руки и разулся сам, но на пол башмаки не поставил. Он не выпускал их из рук. Она стащила с него чулки и тут же принесла таз с горячей водой — принесла так быстро, что всякий, кроме ребенка, понял бы, что она держала его наготове, вероятно даже, с самого утра. Тогда он заговорил в первый раз: «Я вчера уже мылся».

Она не ответила. Она стояла перед ним на коленях, а он разглядывал ее макушку и руки, неловко копошившиеся у его ног. Теперь он не пытался ей помочь. Он не понимал, что она затевает, даже тогда, когда его застывшие ноги погрузились в теплую воду. Он не верил, что это — все: слишком ему было приятно. Он ждал, когда начнется остальное, неприятная часть — какова бы она ни была. Такого с ним раньше никогда не случалось.

Потом она уложила его в постель. Уже почти два года он одевался и раздевался сам, никто за ним не присматривал, никто не помогал — разве что, изредка, какая-нибудь Алиса. Заснуть

сразу он не мог, потому что слишком устал, и сейчас был растерян, нервничал, желая только одного — чтобы она наконец ушла и дала ему уснуть. А она не уходила. Наоборот, она придвинула к кровати стул и села. Печка в комнате не топилась, было холодно. На женщине была шаль, она куталась в шаль, а изо рта у нее шел пар, как будто она курила. Ему совсем расхотелось спать. Он ждал, когда начнется неприятная часть, какова бы она ни была, за какую бы провинность ни полагалась. Он не понимал, что это — все. Такого с ним тоже никогда не случалось.

С той ночи все и пошло. И он думал, что так будет продолжаться всю жизнь. В семнадцать лет, оглядываясь назад, он видел всю длинную цепь будничных, нелепых, напрасных усилий, рожденных жизненным крушением, беспомощностью и дремлющим инстинктом: кушанья, которые она готовила тайком и заставляла тайком брать и есть, когда он их не хотел, зная к тому же, что Макихерну это безразлично; случаи вроде сегодняшнего, когда она пыталась встать между ним и наказанием: заслуженное ли, нет ли, справедливое или несправедливое, оно всегда было нелицеприятным, и мужчина с мальчиком относились к нему как к естественному и неиз-

бежному факту — покуда не вмешивалась она и не сообщала ему какого-то душка, утонченности, стойкого привкуса.

Порою он думал сказать ей наедине — будучи уверен, что по беспомощности своей она не сможет ни перетолковать, ни оставить его слова без внимания, — сказать ей, чтобы знала и вынуждена была скрывать от мужа, чья немедленная и наперед известная реакция настолько бы заслонила и стерла само известие, что к нему больше и не возвращались бы, — сказать по секрету, расплатиться тайком за поданную тайком еду, которой он не хотел: «Слушай. Он говорит, что вскормил неблагодарного богохульника. Так вот, соберись с духом и скажи ему, кого он вскормил. Нигера он вскормил под своей крышей, за своим столом, своей собственной пищей».

Потому что она всегда была добра к нему. Мужчина, суровый, безжалостный судья, просто полагался на него — что он будет вести себя определенным образом и получать за это столь же определенное воздаяние; так же и он мог положиться на мужчину — что тот определенным образом будет реагировать на определенные его поступки и проступки. В женщине было дело —

с ее женским влечением и склонностью к секретам, к тому, чтобы грешком приправить самое ерундовое и невинное занятие. За отставшей доской в стене его чердачной комнаты она спрятала в жестянке немного денег. Деньги были пустячные и прятались, понятно, не от кого иного, как от мужа, хотя мальчик думал, что мужу было бы все равно. Для него же это никогда не было секретом. Когда он был еще ребенком, она тайком приглашала его с собой на чердак, кралась туда со всяческими предосторожностями, как в ребячьей игре, и добавляла к своему кладу жалкие, считанные пяти– и десятицентовики (плоды невесть каких мелких уловок и обманов, против которых никто на свете и возражать бы не стал), а он смотрел серьезными круглыми глазами, как падали в жестянку монеты, в достоинстве которых он даже не разбирался. Это женщина доверялась ему, навязывала свое доверие, как навязывала свои кушанья: заговорщицки, тайком, делая тайну из тех отношений, которые этот акт доверия должен был подтверждать.

Дело было не в тяжелой работе, которую он ненавидел, не в наказаниях и несправедливости. С этим он свыкся еще до того, как узнал их обоих. Ничего другого он не ждал: это его не удивляло

и не возмущало. В женщине: ее мягкость и доброту, чьей жертвой, казалось ему, он обречен быть всю жизнь, — вот что ненавидел он пуще сурового и безжалостного суда мужского. «Она хочет, чтоб я заплакал», — думал он, когда лежал на своей кровати, закинув руки за голову, холодный, окоченелый, в полосе лунного света, и слышал настойчивое бормотание мужчины, долетавшее до его комнаты по дороге к небу. «Хотела, чтоб я заплакал. Тогда, думает, он у нас в руках».

8

Двигаясь бесшумно, он достал из тайника веревку. Один конец был заранее завязан петлей, чтобы закреплять в комнате. Теперь он мог моментально спуститься на землю и подняться обратно; теперь, после года с лишним упражнений, он умел, ни разу не коснувшись стены, взлететь по веревке с тенеподобной легкостью и проворством кошки. Он высунулся из окна, и отпущенный конец прошелестел вниз. В лунном свете веревка выглядела не толще паучьей нити. Затем, подвесив связанные ботинки сзади к поясу, он съехал по веревке, пронесшись, как тень, мимо окна, за которым спали Макихерны. Веревка висела прямо перед окном. Он оттянул ее вбок по стене и привязал. Потом прошел под лунным светом к хлеву, взобрался на сеновал и вытащил из тайника новый костюм. Костюм был аккуратно завернут в бумагу. Прежде чем развернуть его, он ощупал складки бумаги. «Нашел, — подумал он. — Пронюхал». И шепотом произнес: «Сволочь. Гад».

Он оделся в темноте, быстро. Он уже опазды-

вал: пришлось дожидаться, когда они уснут после скандала из-за телки — и виновата в скандале была женщина, потому что вмешалась, когда все уже было кончено или по крайней мере отложено до утра. В пакете лежала еще белая сорочка и галстук. Галстук он положил в карман, но пиджак надел, чтобы не так заметна была при луне белая рубашка. Он спустился и вышел из хлева. После стираного-перестираного комбинезона новая одежда казалась плотной, жесткой. Дом, темный и непроницаемый, предательски затаился в лунном свете. Из-за луны у него как будто появилась собственная физиономия: лживая, угрожающая. Он миновал дом и вышел на дорогу. Вынул из кармана дешевые часы. Они были куплены три дня назад, на выручку от телки. Но он еще не привык иметь дело с часами и поэтому забыл их завести. Впрочем, и без часов было ясно, что он опаздывает.

Перед ним в лунном свете лежала прямая дорога, обсаженная деревьями; жирные резкие тени сучьев на мягкой пыли были как будто намазаны черной краской. Он шел быстро; дом остался за спиной, из дома его уже нельзя было увидеть. Дорога выходила на большак невдалеке. В любую минуту мимо мог промчаться автомобиль:

он предупредил ее, что если не придет к перекрестку, то встретит ее прямо у школы, где будут танцы. Но машина не показывалась, и, выйдя на большак, он ничего не услышал. Дорога, ночь были безлюдны. «Может, уже проехала», — подумал он. Он снова вынул бездействующие часы и посмотрел на них. Часы стояли потому, что ему помешали их завести. Из-за Макихернов он опоздал: это они не дали ему завести часы, и теперь он не мог узнать, опоздал он или нет. Там, позади, в конце темной дороги, в невидимом доме спала женщина — почему бы не спать, раз она сделала все, чтобы он опоздал. Он оглянулся назад, в сторону дома — и в этой позе, с этой мыслью замер; замерли ум и тело, словно их одновременно выключили: ему показалось, будто между теней на дороге кто-то движется. Потом он подумал, что ему просто померещилось — что это, может быть, его мысли спроецировались, как тень на стену. «Но я надеюсь, что это он, — подумал он. — Хорошо бы, если он. Хорошо бы, он следил за мной и поглядел, как я сажусь в машину. Хорошо бы, он попробовал нас догнать. Попробовал бы остановить меня». Но на дороге он ничего не увидел. Она была пуста, исчерчена предательскими тенями. Потом он услышал вдалеке,

со стороны города, звук мотора. Он стал вглядываться и вскоре различил свет фар.

Она была официанткой в плохоньком ресторанчике на одной из глухих улиц города. Взрослый с первого взгляда понял бы, что ей уже за тридцать. Но Джо, вероятно, казалось, что ей не больше семнадцати — из-за ее миниатюрности. Она не только ростом была мала, она была худа, как ребенок. Но взрослый заметил бы, что миниатюрность эта — не от природной хрупкости, а от какой-то внутренней порчи в душе, хрупкость, в которой никогда не было ничего молодого, в чьих линиях юность и не живала. Волосы у нее были темные. Лицо ее с рельефным костяком всегда было опущено, словно голова на плечах сидела неправильно, с наклоном. Глаза ее напоминали пуговичные глаза игрушечного зверька — их взгляд мало было бы назвать жестким, хотя жесткости в нем не было.

И подступился он к ней только потому, что она была маленькая — словно это могло или должно было уберечь ее от плотоядных рыщущих мужских глаз, увеличить его шансы. Если бы она была крупной, он бы не отважился. Он подумал бы: «Бесполезно. У нее уже есть парень, мужчина».

Началось это осенью, когда ему было сем-

надцать лет. День был будний. Обычно они приезжали в город по субботам, на весь день, и привозили еду с собой — холодный обед в корзинке, купленной и хранившейся специально для этого. На этот раз Макихерн поехал повидаться с юристом — с намерением закончить дела и вернуться домой к обеду. Но когда он вышел на улицу, где ждал Джо, было почти двенадцать. Он появился, глядя на свои часы. Затем он поглядел на городские часы и, наконец, на солнце — с выражением досады и возмущения. С тем же выражением он поглядел на Джо; открытые часы лежали у него на ладони, а в глазах было холодное недовольство. Он словно впервые изучал, оценивал юношу, которого воспитывал с младенческих лет. Потом он повернулся. «Пойдем, — сказал он. — Теперь уж ничего не поделаешь».

Город стоял на разветвлении железной дороги. Даже в будни на улицах толпились мужчины. Весь дух города был мужской, транзитный: город, где даже женатые люди бывали дома урывками и по праздникам, где мужчины жили отдельной, сокровенной жизнью, разворачивавшейся в далекой среде, а во время коротких наездов домой их ублажали, как меценатов в театре.

Джо впервые видел заведение, куда его привел Макихерн. Это был ресторанчик на глухой улице: грязная узкая дверь между двумя грязными окошками. Он не сразу понял, что это ресторан. Вывески не было; не слышалось ни звуков, ни запахов кухни. Глазам его предстала длинная деревянная стойка с рядом табуретов, крупная блондинка за витриной с сигарами напротив входа и у дальнего конца стойки — группа мужчин, которые ничего не ели и, повернувшись, как по команде, уставились на вошедших сквозь табачный дым. Никто не проронил ни звука. Все смотрели на Джо и Макихерна так, словно дыхание оборвалось вместе с разговором, и даже дым сигарет оборвался и теперь плавал как попало, под собственной тяжестью. Мужчины были не в комбинезонах — все в шляпах, и лица, как на подбор, ни молодые, ни старые, ни сельские, ни городские. Они имели вид людей, которые только что сошли с поезда и завтра опять уедут, людей без адреса.

Сидя на табуретах за стойкой, Джо и Макихерн ели. Джо поел быстро, потому что Макихерн ел быстро. Даже за едой этот человек сидел с какой-то оскорбленной чопорностью. Еду он заказал простую — которую готовят наскоро и наскоро

едят. Но Джо знал, что скупость здесь ни при чем. Скупость, возможно, привела их сюда, а не в другое место, но еду эту он заказал потому, что хотел поскорее уйти. Не успев положить нож и вилку, Макихерн слез с табурета и сказал: «Идем». У витрины с сигарами Макихерн расплатился с латунноволосой. Было в ней нечто неподвластное возрасту: воинственная, диамантово-неуязвимая почтенность. Она не удостоила их взглядом — даже когда они входили, даже тогда, когда Макихерн протянул ей деньги. Так же, не глядя, она быстро и точно отсчитала сдачу, ссыпав на стекло монеты чуть ли не раньше, чем Макихерн протянул свою бумажку; за фальшивым блеском внимательно уложенных волос, внимательного лица в ней была четкость каменной львицы, стерегущей портал, и почтенность свою она выставляла как щит, за которым могли сбиваться в кучку праздные, сомнительные люди в шляпах набекрень, с косо влипшими в рот сигаретами. Макихерн проверил сдачу, и они вышли на улицу. Он опять стал смотреть на Джо. Он сказал: «Ты у меня запомни это место. Есть на свете места, куда мужчине можно зайти, а мальчику, юноше твоих лет, вход заказан. Вот это — такое место. Может, тебе вообще не следовало сюда

заходить. Но повидать такое надо — чтоб ты знал, чего избегать и сторониться. Тем более что я находился рядом и мог объяснить и предостеречь. И обед здесь дешев».

— А чего тут такого? — спросил Джо.

— Это — дело города, не твое. Ты же просто запомни мои слова: я тебе не разрешаю ходить сюда без меня. А моей ноги здесь больше не будет. В другой раз, рано не рано, а обед мы привезем с собой.

Вот что он увидел в тот день, быстро глотая еду рядом с несгибаемым, безмолвно негодующим человеком, с которым они сидели у середины длинной стойки, начисто отрезанные от всех — и от латунноволосой женщины с одного края, и от группы мужчин — с другого, и от официантки, чьи большие, чересчур большие руки расставляли тарелки и чашки, а скромно потупленное лицо выглядывало из-за стойки на высоте чуть больше детского роста. Потом они с Макихерном вышли. Он не рассчитывал когда-либо вернуться сюда. И не потому, что ему запретил Макихерн. Просто ему не верилось, что жизнь занесет его сюда еще раз. Он как бы сказал себе: «Эти люди мне чужие. Я вижу их, но не понимаю, что они делают и почему. Слышу их, но не по-

нимаю, что они говорят, почему говорят и кому. Я знаю, что-то тут есть, кроме еды, питания. Но что — не знаю. И никогда не узнаю».

И это ушло с поверхности сознания. В следующие полгода он изредка ездил в город, но ресторана не видел, мимо не проходил. Мог бы. Но как-то не думал об этом. Может быть, просто не чувствовал нужды. Мысли — может быть, безотчетно порой — выливались в картину, отстаивавшуюся, отстоявшуюся: длинная, пустая и какая-то сомнительная стойка; неподвижная, хладноликая, буйноволосая женщина будто сторожит ее с краю; с другого — мужчины с притягивающимися головами, в шляпах набекрень, дымят и дымят, закуривая и бросая сигарету за сигаретой; и официантка, женщина с ребенка ростом, снует между кухней и залом с ношей посуды, каждый раз становясь досягаемой для мужчин, которые наклоняются к ней, что-то говорят сквозь табачный дым, шепчут, как бы потешаясь или торжествуя победу, и лицо ее задумчиво, скромно, потуплено, словно она не слышит. «Не знаю даже, что они ей говорят», — думал он, с мыслью *Не знаю, может, то, что они говорят ей, годилось бы и для ушей проходящего мимо ребенка* и верилось *Я не знаю еще, что в миг*

сна веки замыкают в темнице глаз ее лицо, скромное, задумчивое; трагическое, печальное и молодое; ждущее, осиянное смутной туманной волшебной зарей молодого желания. Что есть уже для любви пища: что во сне я знаю теперь, почему отверг и ударил ту негритянку три года назад, что и она должна это знать и гордиться, гордиться и ждать

Так что он не рассчитывал снова ее увидеть, ибо любовь молодых сыта такою же крохой надежды, как и желания. Он, по всей вероятности, не меньше был удивлен своим поступком и тем, что в поступке обнажилось, чем был бы удивлен Макихерн. Это произошло в субботу, уже весной. Ему недавно исполнилось восемнадцать. Макихерн опять поехал повидать юриста. Но на этот раз он подготовился. «Я пробуду здесь час, — сказал он. — Можешь погулять, посмотреть город». Как и тогда, он глядел на Джо пристально, оценивающе, как и тогда — с легким раздражением справедливого человека, вынужденного смирять свою справедливость ради здравого смысла. «На, — сказал он. Он открыл кошелек и вынул монету. Десятицентовую. — И постарайся не дарить первому же, кто согласится их взять. Странное дело, — с раздражением сказал он, глядя

на Джо, — ну прямо не может человек научиться ценить деньги, пока швырять их не научится. Будешь здесь через час».

Он взял монету и отправился прямо в ресторан. Даже в карман ее не спрятал. Он поступил так без всякого обдуманного плана, почти невольно, словно его действиями управляли ноги, а не голова. Горячую маленькую монету он сжимал в кулаке, как ребенок. Он открыл затянутую сеткой дверь и вошел неловко, споткнувшись о порог. Блондинка (она словно не шевельнулась за эти полгода, пряди не сдвинула в жесткой, яркой, волнисто-латунной прическе, не переменила даже платья) наблюдала за ним из-за витрины с сигарами. Мужчины — все такие же, в шляпах набекрень, с сигаретами в зубах, пропахшие парикмахерской, — наблюдали за ним, сидя у дальнего края стойки. Среди них находился хозяин. Джо увидел, заметил его впервые. Как и другие мужчины, хозяин был в шляпе и курил. Он был невысокий, ненамного выше Джо, и сигарета у него торчала в углу рта, — словно заткнутая туда, чтобы не мешать разговору. У этого человека, невозмутимо прищурившегося за курчавым дымком сигареты, которая курилась беспризорно, без приложения рук, а догорев,

выплевывалась и растаптывалась каблуком, Джо переймет одну из его повадок. Но не теперь. Это произойдет позже, когда жизнь завертится с такой быстротой, что приятие подменит собой и познание и убеждения. Теперь же он только смотрел на человека, который прислонился к стойке с другой стороны, — человека в грязном фартуке, нацепленном так, как разбойник с большой дороги нацепил бы накладную бороду. Приятие пришло позже, вместе со всею суммой надругательств над доверчивостью: эти двое — как муж и жена; их заведение — как место, где едят, с чередой привозных официанток, неумело разносящих тарелки с едой, самой дешевой и незамысловатой, только бы название ресторана оправдать; и он принимал и потреблял все без разбора во время недолгой бурной гулянки — с наивным восторженным изумлением, как молодой жеребчик на укромном пастбище усталых профессиональных кобылиц — обобранный безымянными, несчитанными мужчинами.

Но это было впереди. Джо подошел к стойке, сжимая в кулаке монету. Он был уверен, что мужчины умолкли, наблюдают за ним — ибо не слышал ничего, кроме яростного шипения сковород за кухонной дверью, — и думал

Она там. Вот почему я ее не вижу Он потихоньку влез на табурет. Он был уверен, что все наблюдают за ним. Что смотрит блондинка из-за витрины с сигарами, что смотрит хозяин, перед лицом которого совсем, должно быть, застыла ленивая струйка дыма. Потом хозяин произнес одно короткое слово. Джо знал, что он не пошевелился и не дотронулся до своей сигареты. «Бобби», — сказал он.

Мужское имя. Это не было мыслью. Возникло мгновенно, целиком *Ее нет. Вместо нее взяли мужчину. Выкинул деньги — правильно он сказал* Ему казалось, что теперь нельзя уйти; если он поднимется, блондинка его остановит. Ему казалось, что мужчины у края стойки понимают это и смеются над ним. И он неподвижно сидел на табурете, опустив глаза, сжав в кулаке монету. Он не видел официантку, пока на стойке перед его глазами не появились две большие руки. Он увидел узор на ее платье, нагрудник и две мосластые руки, лежавшие на краю стойки так неподвижно, как будто они тоже были предметами, принесенными ею с кухни. «Кофе с пирожным», — сказал он.

Ее голос прозвучал понуро, пусто. «Лимонное какао шоколадное».

Судя по тому, с какой высоты раздавался голос, эти руки просто не могли принадлежать ей. «Да», — сказал Джо.

Руки не шевельнулись. В голосе ничего не шевельнулось. «Лимонное какао шоколадное. Какое». Со стороны они, должно быть, выглядели странно. Друг против друга, разделенные темным, заляпанным, сальным, до гладкости вытертым прилавком, они были немного похожи на молящихся: юноша с деревенским лицом, чисто, по-спартански одетый, в чьем облике от скованности появилось что-то немирское, невинное, и женщина перед ним, понурая, застывшая в ожидании, настолько маленькая, что и ей как будто сообщился тот же отпечаток — мира не плотского. Лицо у нее было худое, заострившееся, скулы — обтянутые, под глазами темные круги. Глаза, полуприкрытые веками, казалось, лишены глубины и даже не отражают света. Нижняя челюсть выглядела слишком узкой, чтобы вместить подкову зубов.

«С какао», — сказал Джо. Сказал его язык, потому что ему тут же захотелось отказаться от этих слов. У него было всего десять центов. Но он так крепко держал монету, что забыл, что их всего десять. Ладонь, сжимавшая монету, потела, мокла.

Он был уверен, что мужчины опять наблюдают за ним и смеются. Он их не слышал и не смотрел на них. Но был уверен в этом. Руки исчезли со стола. Потом вернулись, поставив перед ним тарелку и чашку. Теперь он посмотрел на нее — на лицо. «Почем пирожное?» — сказал он.

«Пирожное десять центов». Она просто стояла перед ним за стойкой, ее большие руки опять лежали на темном дереве, и фигура ее по-прежнему выражала только усталость и ожидание. Она ни разу не взглянула на него. Он сказал слабым, отчаянным голосом: «Я, кажется, не хочу кофе».

Она не шевелилась. Потом большая рука оторвалась от стойки и взяла чашку с кофе; рука и чашка исчезли. Он сидел неподвижно, тоже потупясь; ждал. И наконец услышал. Не хозяина. Женщину за витриной с сигарами.

— В чем дело? — сказала она.

— Он не хочет кофе, — сказала официантка. Ее голос, речь удалялись, как будто вопрос настиг ее на ходу. Голос был глухой, тихий. Блондинка тоже говорила тихо.

— Он что, не заказывал кофе? — спросила она.

— Нет, — сказала официантка тем же ровным голосом, удалявшимся, уходившим. — Я не по-

няла.

Когда он вышел, когда душа скорчилась от унижения и горя и нестерпимого желания незаметно прошмыгнуть мимо холодного лица женщины за табачной витриной, он был уверен, что больше не захочет и не сможет видеть официантку. Он не мог поверить, что найдет в себе силы снова увидеть ее или хотя бы снова кинуть взгляд на эту улицу, на грязную дверь даже издали; но не думал еще *Это ужасно — быть молодым. Ужасно. Ужасно* Когда подходила суббота, он выискивал, придумывал причину не ехать в город, и Макихерн присматривался к нему — пока еще без особого подозрения. Джо убивал дни усердной работой, слишком усердной; Макихерн наблюдал за работой с подозрением. Но ничего не мог отсюда понять, заключить. Работать не возбранялось. Это позволяло Джо сладить и с ночами — ибо он слишком уставал, чтобы не спать. А со временем даже отчаяние, горе и стыд притупились. Он не перестал вспоминать и вновь переживать случившееся. Но теперь оно поистерлось, как сиплая, заигранная пластинка, сжевывающая голоса и узнаваемая лишь по рисунку мелодии. И, наконец, даже Макихерн вынужден был смириться. Он сказал:

«Я наблюдал за тобой последнее время. И прямо не знаю — либо мне глазам своим не верить, либо ты и вправду признал наконец то, что Господь благоволил отпустить на твою долю. Но я не дам тебе возгордиться после моего хорошего отзыва. У тебя будет время и случай (и желание тоже, не сомневаюсь) заставить меня пожалеть о своих словах. Снова погрязнуть в лени и праздности. Однако награда положена человеку свыше, равно как и наказание. Видишь телку? С этого дня она — твоя собственность. Смотри, чтоб мне не пришлось об этом пожалеть».

Джо поблагодарил его. Теперь он мог посмотреть на телку и сказать вслух: «Это принадлежит мне». Он посмотрел на нее и — опять не подумал, а возникло мгновенно, целиком: *Это не подарок. Это даже не обещание — это угроза* и подумал: «Я его не просил. Он сам дал. Я его не просил», зная *Видит Бог, я ее заработал*

Месяц спустя. В субботу утром.

— Я думал, тебе разонравилось ездить в город, — сказал Макихерн.

— Еще разок съездить — не велика беда, — сказал Джо. В кармане у него было полдоллара. Ему их дала миссис Макихерн. Он попросил пять центов. Она заставила его взять полдоллара.

Он взял, положил на ладонь с холодным презрением.

— Ну что ж, — сказал Макихерн. — И работал ты старательно. Но город — дурная привычка для того, кому еще надо выбиться в люди.

Ему не пришлось убегать, хотя он не остановился бы и перед этим — даже если бы пришлось применить силу. Но Макихерн облегчил ему задачу. Джо отправился в ресторан, быстро. Теперь он вошел не споткнувшись. Официантки не было. Возможно, он заметил, обратил внимание, что ее нет. Он остановился у витрины с сигарами, за которой сидела блондинка, и положил на витрину полдоллара. «Я должен пять центов. За чашку кофе. Я сказал, кофе с пирожным, а не знал, что оно — десять центов. Я должен вам пять центов». Он не смотрел в глубину зала. Там сидели мужчины в шляпах набекрень, с сигаретами. Там стоял хозяин — в грязном фартуке; Джо наконец услышал его слова, пропущенные мимо сигареты:

— Чего там? Чего ему надо?

— Он говорит, что должен Бобби пять центов, — ответила женщина. — Хочет отдать Бобби пять центов. — Она говорила тихо. Хозяин говорил тихо.

— Господи спаси, — сказал он.

Джо казалось, что все в зале обратилось в слух. Он слышал не слыша; видел не глядя. Он уже шел к двери. Полудолларовая монета лежала на стеклянной витрине. Хозяин, хоть и был далеко, заметил ее — он сказал:

— А это за что?

— Он говорит, что должен за чашку кофе, — объяснила женщина.

Джо уже подходил к двери.

— Слушай, малый, — окликнул его хозяин.

Джо не остановился.

— Верни ему деньги, — сказал хозяин ровным голосом, все еще не двигаясь. Дым сигареты, должно быть, поднимался ровно перед его лицом, не потревоженный ни малейшим движением. — Отдай обратно, — сказал он. — Не знаю я, какая у него игра. Только с нами это не пройдет. Верни ему деньги. Шел бы ты к себе на ферму, селянин. Может, там уговоришь девочку за пять центов.

И вот он уже на улице, и полудолларовая монета купается в поту, потеет в руке, большая, как тележное колесо. Смех гнал его. Джо вышел за дверь под смех мужчин — преследуемый смехом. Смех подхватил его и понес по улице; потом улетел дальше, замирая, оставив его на земле,

на тротуаре. Перед ним стояла официантка. Она была в темном платье и в шляпе, шла быстро, потупясь и увидела его не сразу. И снова, как в тот раз, когда она поставила перед ним кофе с пирожным, она на него даже не смотрела — раз взглянув, все поняла. Она сказала:

— А-а. Вы пришли отдать мне деньги. При них. И они над вами посмеялись. Надо же.

— Я думал, вам самой пришлось заплатить… Я думал…

— Надо же. Может, хватит об этом? Хватит?

Стоя лицом к лицу, они не смотрели друг на друга. Их можно было принять за двух монахов, встретившихся в саду в часы созерцания.

— Я просто подумал, что…

— Где вы живете? — сказала она. — В деревне? Надо же. Как вас зовут?

— Не Макихерн, — сказал он. — Кристмас.

— Кристмас? Это ваша фамилия? Кристмас! Надо же.

В отрочестве и позже он и еще четверо или пятеро ребят ходили по субботам на охоту или на рыбалку. Девушек он видел только в церкви, по воскресеньям. Девушки ассоциировались с воскресеньем и церковью. Поэтому он не мог их замечать: это было бы — даже для него — отре-

чением от ненависти к религии. Но между собой они говорили о девушках. Может быть, кое-кто из них (например, тот, который договорился тогда с негритянкой) знал. «Они все хотят, — сказал он остальным. — Но иногда не могут». Остальные этого не знали. Они не знали, что все девушки хотят, а тем более что бывает время, когда они не могут. Они представляли себе дело иначе. Но, признавшись, что им неизвестно последнее, они тем самым признались бы, что не имели случая убедиться в первом. Поэтому они слушали, что говорил тот. «Это у них бывает раз в месяц». Он описал, как представляет себе физическую сторону события. Возможно, он знал. Во всяком случае, рассказ был достаточно живописным, достаточно убедительным. Если бы он стал описывать это как душевное состояние, о котором можно только гадать, они бы его не слушали. Но он развернул картину физическую, фактическую, доступную обонянию и даже глазу. Это тронуло их: временная и жалкая беспомощность того, что дразнило неисполнимые желания; гладкий прекрасный сосуд, обитель хотения, обреченного с неотвратимой регулярностью становиться жертвой периодической грязи. Так он излагал это, и остальные пятеро молча

слушали, поглядывая друг на друга вопросительно и заговорщицки. В следующую субботу Джо не пошел с ними охотиться. Макихерн думал, что он отправился на охоту, потому что ружья дома не было. А Джо прятался в хлеву. Он просидел там весь день. В следующую субботу он опять ушел с ружьем, но один, рано, до того, как за ним забежали ребята. Он не охотился. В конце дня меньше чем в трех милях от дома он убил овцу. Он наткнулся на стадо в укромной лощине, подкрался и застрелил ее из ружья. Потом, с пересохшим ртом, дрожа и озираясь, стал на колени и окунул руки в теплую кровь издыхающего животного. Так он преодолел это в себе, превозмог. Он не забыл того, что рассказывал приятель. Просто примирился с этим. Обнаружил, что может с этим жить. Словно сказал себе, отбросив логику, со спокойствием отчаяния *Ладно. Пусть это так. Но не для меня. Не в моей жизни, не в моей любви* И вот прошло три или четыре года, и это было забыто, как забывается факт, уступив однажды настойчивости ума, отказывающегося признать его и истинным и ложным.

Он встретился с официанткой в понедельник ночью — через день после той субботы, когда пытался отдать деньги за чашку кофе. Веревки

у него еще не было. Он вылез в окно, спрыгнул с трехметровой высоты на землю и прошел пять миль до города. Он совсем не думал о том, как будет возвращаться к себе в комнату.

Он пришел в город и встал на перекрестке, где она просила его ждать. Перекресток был тихий; он явился слишком рано и думал *Надо помнить об этом. Надо, чтобы сама мне показала, что делать, как и когда. Надо, чтоб она не догадалась, что я не знаю и должен узнать от нее*

Он ждал ее больше часа. Так рано он явился. Она пришла пешком. Подошла и стала перед ним, по-прежнему терпеливо и выжидательно, по-прежнему не поднимая глаз, с видом человека, вырвавшегося из тьмы.

— Вы уже тут, — сказала она.

— Раньше никак не мог. Пришлось ждать, пока они лягут. Боялся, что опоздаю.

— Вы давно тут? Долго ждали?

— Не знаю. Бежал почти всю дорогу. Боялся, что опоздаю.

— Бежали? Все три мили?

— Пять миль. Не три.

— Надо же. — Они умолкли. Стояли, как две тени, лицом к лицу. Спустя год с лишним, вспом-

нив эту ночь, он вдруг понял и сказал себе *Будто ждала, что я ее ударю* — Да-а, — сказала она.

Он начал потихоньку дрожать. Он ощущал ее запах, запах ожидания, спокойного, мудрого, чуть усталого — думал *Она ждет, чтобы я начал, а я не знаю — как* Даже ему самому его голос показался дурацким.

— Наверно, поздно уже.

— Поздно?

— Я подумал — может, вас ждут. Не ложатся, пока вы…

— Ждут… Ждут… — Голос ее утих, замер. Они стояли, как две тени; она сказала, не шевелясь: — Я живу с Мейм и Максом. Вы их знаете. По ресторану. Вы должны были их запомнить, когда хотели отдать эти пять центов… — Она засмеялась. В ее смехе не было веселья, не было ничего. — Подумать только. Представляю, как вы пришли туда, с пятью центами. — Она перестала смеяться. Но и это не означало, что секунду назад ей было весело. Вновь послышался тихий, жалкий, понурый голос: — Я сегодня ошиблась. Я что-то забыла. — Может быть, она ждала от него вопроса — что? Но он не спросил. Он просто стоял, и тихий, падающий голос не проникал в сознание. Он забыл об убитой овце. Он слишком долго

прожил с тем, что рассказал ему опытный приятель. Слишком давно очистился убийством овцы, чтобы память об этом сохранилась живой. Поэтому он сначала не понял, что она пытается сказать. Они стояли на углу. Это было на краю города, где улица переходила в дорогу, от правильных, отмеренных лужаек убегавшую к голым полям и разбросанным домишкам — маленьким, дешевым домишкам, из которых складываются предместья таких городов. Она сказала: — Слушайте. Я сегодня нездорова. — Он не понял. Ничего не ответил. Возможно, ему и не надо было понимать. Возможно, он и так ожидал какой-нибудь каверзы от судьбы, думая: «Больно уж все хорошо — не может такого быть»; и обгоняла мысль *Сейчас она исчезнет. Ее не станет. А я лежу в кровати, дома, и вовсе не выходил оттуда* Ее голос продолжал: — Я забыла, какой это день месяца, когда сказала вам «в понедельник вечером». Может — от неожиданности, что вас встретила. Тогда, на улице в субботу. В общем, забыла, какой это день. А вспомнила, только когда вы ушли.

Он говорил так же тихо, как она.

— Очень нездоровы? А дома у вас нечего принять, лекарства какого-нибудь?

— Принять… — Голос ее замер. Она сказала: —

Надо же. — И вдруг сказала: — Уже поздно. А вам еще четыре мили идти.

— Я уже прошел. Я уже здесь. — Голос его был тих, спокоен, безнадежен. — Наверно, времени много, — сказал он. Затем что-то произошло. Не глядя на него, она почувствовала перемену раньше, чем услышала в его погрубевшем голосе: — Что у вас за болезнь?

Она молчала, не двигалась. Потом сказала, глядя в землю:

— У вас никогда не было девушки. Ручаюсь, что не было. — Он не отвечал. — Не было? — Он не отвечал. Она шагнула к нему. Дотронулась до него — впервые. Взяла его за руку, легонько, обеими руками. Глядя на нее сверху, он видел силуэт головы — опущенной, как будто от рождения неправильно сидевшей на шее. Она объяснила ему — запинаясь, нескладно, теми единственными словами, какие ей были известны. Но он уже это слышал. Он уже бежал назад, мимо убитой овцы, очистительной жертвы: к тому дню, когда он сидел на берегу ручья — не столько удивленный или обиженный, сколько возмущенный. Рука, которую она держала, освободилась рывком. Она не верила, что он хотел ее ударить; она предполагала другое. Но результат не стал

от этого другим. Провожая взглядом фигуру, тень, растворявшуюся в темноте, она думала, что он бежит. Она еще слышала его шаги, когда он пропал из виду. Она не сразу пошла назад. Стояла в той же позе, неподвижно, потупясь, словно ожидая удара — который уже был нанесен.

Он не бежал. Но шел быстро — и не к дому, стоявшему в пяти милях отсюда, а прочь от него, по-прежнему не задумываясь о том, как проникнуть обратно в комнату, из которой он вылез через окно. Он быстро шел по дороге, потом свернул в сторону и прыгнул через изгородь на вспаханную землю. На поле что-то росло. Дальше был лес, деревья. Он дошел до леса и углубился в чащу твердых стволов, ветвями крытую глушь, давящую тишиной, давящую запахом, непроглядную. В беспросветности тяжкого знания, как в пещере, он словно видел уходящий вдаль ряд мягкоконтурных ваз, выбеленных лунным светом. И ни одна не была целой. Каждая была с трещиной, и из каждой трещины сочилось что-то жидкое, зловонное, мертвенного цвета. Он прикоснулся к дереву. Он уперся в ствол руками, видя перед собой вереницу освещенных луной ваз. Его вырвало.

К вечеру следующего понедельника он успел

запастись веревкой. Он ждал на том же углу; он опять явился рано. Наконец увидел ее. Она подошла к нему.

— Я думала, вы не придете.

— Да? — Он взял ее за руку и потащил по дороге.

— Куда мы идем? — спросила она. Он молча продолжал ее тащить. Ей приходилось бежать рысцой, чтобы поспеть за ним. Она трусила неуклюже: животное, которому мешало то, что отличало его от животных: каблуки, платье, миниатюрность. Он потащил ее прочь от дороги — к изгороди, которую перепрыгнул неделю назад. — Подождите… — сказала она. Слова выскакивали отрывисто. — Забор… Я не могу… — Когда она нагнулась, чтобы подлезть под проволоку, которую он перешагнул, платье зацепилось. Он наклонился и рванул его с треском.

— Новое куплю, — сказал он. Она не ответила. Она покорилась рукам, которые не то тащили, не то несли ее между каких-то растений, по бороздам, к лесу, в чащу.

Аккуратно свернутую веревку он держал у себя на чердаке, за той же отставшей доской, за которой миссис Макихерн держала свою мелочь — только веревка была засунута поглубже,

куда миссис Макихерн не могла дотянуться. Идею он позаимствовал у нее. Порой, когда старики храпели у себя внизу, он размышлял над этим парадоксом. Даже хотел открыться ей, показать, как он прячет орудие греха, научившись у нее, воспользовавшись ее же идеей и хранилищем. Но он знал, что единственным ее желанием будет желание помочь ему — чтобы он продолжал грешить, а она помогала ему хранить это в секрете; что в конце концов при помощи многозначительных сигналов и шепота она разведет такую таинственность, что Макихерн поневоле заподозрит неладное.

Так он начал красть — таскать деньги из тайника. Очень возможно, что не она толкнула его на это, что о деньгах она с ним не говорила. Возможно даже, он не понимал, что платит деньгами за удовольствие. Просто он много лет наблюдал, как миссис Макихерн прячет деньги в определенном месте. Потом у него самого появилось что прятать. Он прятал в самое безопасное место, какое знал. И каждый раз, когда он засовывал или вынимал веревку, на глаза ему попадалась жестянка с деньгами.

В первый раз он взял пятьдесят центов. Он немного поколебался, взять ему пятьдесят

или двадцать пять. Взял все же пятьдесят — ему как раз столько было нужно. На эти деньги он купил лежалую, засиженную мухами коробку конфет — у человека, которому она досталась за десять центов в магазинной лотерее. Конфеты подарил официантке. Это был его первый подарок. Он дал ей коробку так, будто никому до него в голову не приходило что-нибудь ей дать. Когда она взяла большими руками эту обшарпанную, пестро размалеванную коробку, на лице ее было несколько странное выражение. Она сидела на кровати — дело происходило в ее спальне, в домике, где она жила с мужчиной по имени Макс и женщиной по имени Мейм. Как-то вечером, примерно за неделю до этого, Макс к ней зашел. Она раздевалась — сидя на кровати, снимала чулки. Он вошел с сигаретой в зубах и прислонился к комоду.

— Богатый фермер, — сказал он. — Джон Джейкоб Астор с сеновала.

Она чем-то прикрылась и продолжала сидеть, неподвижно, потупясь.

— Он мне платит.

— Чем? Он что — не промотал еще свои пять центов? — Он посмотрел на нее. — Обслуживаем землепашцев. Для этого я тебя вез из Мемфиса.

Теперь остается только жратву раздавать бесплатно.

— Я это — в свободное время.

— Еще бы. Запретить я не могу. Мне просто смотреть на это противно. Пацан, долларовой бумажки в глаза не видел. А в городе навалом денежных ребят — я понимаю, эти бы хоть ухаживали как люди.

— А может, он мне нравится. Об этом ты не подумал?

Макс разглядывал ее — макушку неподвижной, опущенной головы, руки, лежавшие на коленях. Он курил, прислонясь к комоду.

— Мейм! — сказал он. И, подождав немного, повторил: — Мейм! Поди сюда. — Стены были тонкие. Немного погодя в передней послышались неторопливые шаги блондинки. Она вошла. — Слыхала? — сказал мужчина. — Говорит: может, он мне нравится больше всех. Ромео и Джульетта. Мать моя!

Блондинка посмотрела на темную макушку.

— Ну и что?

— Ничего. Прелесть. Макс Конфрей представит вам мисс Бобби Аллен, подружку малолетнего.

— Выйди, — сказала женщина.

— Сей момент. Я просто занес ей сдачу с пяти

центов. — Он вышел. Официантка не шевелилась. Блондинка подошла к комоду и прислонилась к нему, глядя на ее опущенную голову.

— Он тебе платит хоть? — спросила она.

Официантка не шевелилась.

— Да. Платит.

Блондинка смотрела на нее, прислонясь к комоду, как перед этим Макс.

— Ехать сюда из самого Мемфиса. Тащиться в такую даль, чтобы давать бесплатно.

Официантка не шевелилась.

— Максу же это не мешает.

Блондинка смотрела на опущенную голову. Потом повернулась и отошла к двери.

— Да уж, постарайся, чтоб не мешало, — сказала она. — Это дело недолговечное. Маленькие городишки долго такого не терпят. Я-то знаю. Сама в похожем выросла.

С пестрой, дешевой коробкой в руках она сидела на кровати — сидела так же, как во время разговора с блондинкой. Только не блондинка, а Джо теперь смотрел на нее, прислонясь к комоду. Она засмеялась. Она смеялась, держа в мосластых руках размалеванную коробку. Джо наблюдал за ней. Наблюдал за тем, как она встает и, потупясь, проходит мимо него. Она вышла

за дверь и позвала Макса по имени. Джо видел Макса только в ресторане — в шляпе и грязном фартуке. К тому же он вошел сейчас без сигареты. Он сунул Джо руку.

— Как жизнь, Ромео?

Джо пожал ему руку, еще не совсем понимая, кто это.

— Меня зовут Джо Макихерн, — сказал он. Блондинка тоже пришла. Ее он тоже впервые видел вне ресторана. Он видел, как она вошла в комнату, наблюдал за ней, наблюдал за тем, как официантка открывает коробку. Она протянула ее вошедшим.

— Джо мне подарил, — сказала она.

Блондинка скользнула по коробке взглядом. Она даже не шевельнула рукой.

— Спасибо, — сказала она. Мужчина тоже взглянул на коробку, не пошевелив рукой.

— Так, так, так, — сказал он. — Смотри, как Рождество иногда затягивается. А, Ромео?

Джо отодвинулся от комода. Он впервые попал в этот дом. Он смотрел на мужчину чуть озадаченно и примирительно, но без тревоги — наблюдал за его непроницаемым монашеским лицом. Но ничего не сказал. Сказала официантка:

— Если не нравится, можешь не есть. — Он следил за Максом, следил за его лицом, слушая голос официантки — понурый голос: — Ни тебе… никому это не мешает… В свободное время…

Он не смотрел ни на нее, ни на блондинку. Он следил за Максом — по-прежнему мирно и с недоумением, но без испуга. Теперь говорила блондинка; казалось, они говорят о нем и при нем, но на своем языке, зная, что ему не понять.

— Пойдем, — сказала блондинка.

— Мать моя, — сказал Макс. — Только я хотел поднести Ромео.

— А он хочет? — спросила блондинка. Даже когда она обратилась к Джо, можно было подумать, что она еще разговаривает с Максом. — Хотите выпить?

— Не мучай его неизвестностью, — помнишь, что было в тот раз? Скажи, что бесплатно.

— Не знаю, — сказал Джо. — Никогда не пробовал.

— Мать моя, — сказал Макс. — Ничего не пробовал бесплатно. — Он ни разу не посмотрел на Джо после того, как поздоровался. Опять они говорили о нем и отпускали замечания на его счет так, как будто их язык был ему непонятен.

— Пошли, — сказала блондинка. — Пошли же.

Они ушли. Блондинка вообще ни разу не взглянула на него, а Макс, не глядя, ни разу не выпустил его из поля зрения. Потом их не стало. Джо стоял у комода. Посреди комнаты стояла официантка — потупясь, с открытой коробкой в руке. Комната была тесная, затхлая, пропахшая духами. Джо попал сюда впервые. Он не верил, что когда-нибудь окажется здесь. Шторы были задернуты. На проводе висела голая лампочка; вместо абажура была пришпилена страница из журнала, побуревшая от жара.

— Ничего, — сказал он. — Ладно. — Она молчала и не шевелилась. Он думал о темноте снаружи, о ночи, где они раньше оставались вдвоем. — Пойдем, — сказал он.

— Пойдем? — переспросила она. Тогда он посмотрел на нее. — Куда? Зачем? — Он все еще не понимал. Он смотрел, как она подходит к комоду и ставит на него коробку. У него на глазах она начала раздеваться — срывать с себя одежду, швырять на пол.

Он сказал:

— Здесь? Прямо здесь? — Он впервые видел голую женщину, хотя жил с ней уже месяц. Но до сих пор он даже не знал, что не знает, какое

зрелище может ему открыться.

В ту ночь они разговаривали. Лежали на кровати и разговаривали в темноте. Вернее, разговаривал он. И все время думал: «Господи. Господи. Так вот это что». Он тоже лежал голый, рядом с ней, трогал ее и говорил о ней. Не о том, где она родилась и чем занималась, а о ее теле — словно никто еще такого не делал, ни с ней и ни с кем другим. Словно, говоря, разузнавал о женском теле с любопытством ребенка. Она рассказала ему о болезни первой ночи. Теперь его это не потрясло. Подобно наготе и телесной форме это было чем-то не существовавшим, не виданным до него. Поэтому и он рассказал ей то, что знал. Рассказал о том, что было с негритянской девушкой на лесопилке три года назад. Он рассказывал тихо и умиротворенно, лежа с ней рядом, трогая ее. Наверное, он даже не понимал, слушает она или нет. Потом он сказал:

— Ты заметила, какая у меня кожа, волосы? — и ждал ее ответа, медленно водя рукой.

Она ответила тоже шепотом:

— Да. Я думала, может, ты иностранец. И уж точно, не из наших краев.

— И даже не так. Не просто иностранец. Тебе не догадаться.

— А кто? Как это — не просто?

— Угадай.

Они говорили тихо. Было тихо, глухо, ночь уже изведана, желание, томление — позади.

— Не могу. Кто ты?

Рука его двигалась тихо и спокойно по ее невидимому боку. Он ответил не сразу. Не то чтобы он разжигал ее любопытство. Просто он как бы еще не надумал говорить дальше. Она снова спросила. Тогда он сказал:

— Во мне есть негритянская кровь.

Потом она лежала совершенно неподвижно; но это была другая неподвижность. Он же как будто не замечал этого. Он тоже лежал спокойно, и рука его медленно двигалась вверх-вниз по ее боку.

— Что? — сказала она.

— Наверно, во мне есть негритянская кровь. — Глаза его были закрыты, рука двигалась медленно и без устали. — Не знаю. Но думаю — есть.

Она не пошевелилась. Но сказала тотчас же:

— Врешь.

— Вру так вру, — сказал он не шевелясь, но рука продолжала гладить.

— Не верю, — сказал в темноте ее голос.

— Не веришь — не верь, — сказал он; рука про-

должала гладить.

В следующее воскресенье он взял еще полдоллара из тайника миссис Макихерн и отдал официантке. Через день или два у него появились основания думать, что миссис Макихерн заметила пропажу и подозревает его. Потому что она подстерегала его, покуда не уверилась — и он эту уверенность почувствовал, — что Макихерн им не помешает. Тогда она сказала: «Джо». Он остановился и посмотрел на нее, зная, что она на него смотреть не будет. Не глядя на него, она сказала ровным и вялым голосом: «Я знаю, молодому человеку, когда взрослеет, нужны деньги. Больше, чем па… чем мистер Макихерн тебе дает…» Он смотрел на нее, пока ее голос не затих, не замер. Видимо, ждал, когда он затихнет. И тогда ответил:

— Деньги? На что мне деньги.

В следующую субботу он заработал два доллара, переколов соседу дрова. Он наврал Макихерну, куда он собирается, где он был и чем занимался. Деньги отдал официантке. Макихерн узнал про дрова. Возможно, он решил, что Джо припрятал деньги. Может быть, так ему сказала миссис Макихерн.

Ночи две в неделю Джо проводил с официант-

кой в ее комнате. Первое время он не представлял себе, чтобы это было доступно еще кому-нибудь, кроме него. Возможно, он верил до самой последней минуты, что только для него и ради него сделано такое исключение. И, по всей вероятности, до последней минуты думал, будто Макса и Мейм надо задабривать — не потому, что у него какие-то отношения с официанткой, а потому, что он ходит в дом. В доме, однако, он их больше не видел, хотя знал, что они здесь. Полной же уверенности, что им известно о его пребывании здесь — или появлениях после того случая с конфетами, — у него не было.

Обычно они встречались на улице и не торопясь шли к ней или куда-нибудь в другое место. Возможно, он до последней минуты думал, что этот порядок заведен им. И вот однажды вечером она не пришла на место встречи. Он ждал, пока часы на башне суда не пробили двенадцать. Тогда он отправился к ней. Раньше он так не делал, хотя и не мог бы припомнить, чтобы она запрещала ему приходить туда без нее. Все же в эту ночь он отправился к ней, ожидая, что дом будет погружен в темноту и сон. Дом был погружен в темноту — но не спал. Он знал это — знал, что за темными шторами в ее комнате не спят

и что она там не одна. Откуда знал — он сам не мог бы сказать. И никогда не признался бы в этой уверенности. «Это просто Макс, — думал он. — Это просто Макс». Но не верил в это. Он знал, что в комнате с ней — мужчина. Две недели он с ней не встречался, хотя знал, что она его ждет. Затем пришел вечером на угол; появилась и она. Ни слова не говоря, он ударил ее кулаком, чувствуя, по чему ударил. Теперь он знал то, во что до сих пор не мог поверить. Она вскрикнула. Он ударил еще раз. Она прошептала: «Не здесь. Не здесь». Затем он увидел, что она плачет. Он никогда не плакал, сколько помнил себя. Он плакал, ругал ее и бил. Потом она обняла его. Тогда даже причины бить ее не стало. «Ну что ты, что ты, — приговаривала она. — Что ты, что ты».

В ту ночь они так и остались на перекрестке: не ушли с дороги и не пошли гулять. Они сидели на поросшем травой откосе и разговаривали. На этот раз говорила она — рассказывала. На долгий рассказ не набралось. Теперь ему стало понятно то, что он знал, оказывается, с самого начала: ресторан, бездельники с сигаретами, которые начинали подпрыгивать, когда гости заговаривали с официанткой, и сама она — бес-

прерывно снует взад-вперед, понурая, жалкая. Он слушал ее голос, а в нос ему, заглушая запахи земли, бил запах безымянных мужчин. Голова ее во время рассказа была опущена, руки неподвижны на коленях. Он, конечно, не видел этого. Ему и не нужно было видеть.

— Я думала, ты знал, — сказала она.

— Нет, — сказал он. — Не знал, наверно.

— Я думала, знал.

— Нет, — сказал он. — Не знал, наверно.

Через две недели он начал курить, щуря глаза от дыма, и пить — тоже. Пил вечерами с Максом и Мейм, иногда в компании еще трех-четырех мужчин и обычно одной или двух женщин — случалось, и городских, но чаще — тех, которые приезжали из Мемфиса и в качестве официанток проводили неделю или месяц за стойкой, где целый день праздно сидели мужчины. Он не всегда знал, как зовут собутыльников, но научился заламывать шляпу не хуже их; вечерами за спущенными шторами в столовой у Макса он сдвигал ее набекрень и говорил с другими об официантке, даже при ней, — громким пьяным отчаянным юношеским голосом, называя ее своей курвой. Время от времени на машине Макса он возил ее за город на танцы, всегда

с предосторожностями — чтобы это не дошло до Макихерна. «Не знаю, из-за чего он больше взбесится, — говорил он ей, — из-за тебя или из-за танцев». Однажды им пришлось уложить его в постель, мертвецки пьяного, — в доме, куда он прежде и попасть не мечтал. Утром официантка отвезла его домой — до рассвета, чтобы не заметили. А днем Макихерн наблюдал за ним с угрюмым, ворчливым одобрением.

— Впрочем, у тебя еще будет случай заставить меня пожалеть об этой телке, — сказал Макихерн.

9

Макихерн лежал в кровати. В комнате было темно, но он не спал. Он лежал рядом с миссис Макихерн, полагая, что она спит, и думал быстро и напряженно, думал: «Надевал костюм. Но когда. Не днем, потому что он у меня на глазах, кроме субботних дней после обеда. Однако в любую субботу после обеда он может зайти в хлев, снять и спрятать подобающую одежду, которую ему велено носить, и напялить то, что пригодно и потребно только для греховодничанья». И теперь он как будто знал, как будто ему сказали. Это означало, что костюм носили тайком, то есть, надо полагать, — ночью. А если так, то какая еще могла быть цель у парня, кроме разврата? Сам он никогда в жизни не развратничал, и не было случая, чтобы он согласился слушать человека, рассказывающего о разврате. Тем не менее после получаса напряженных размышлений он знал о проделках парня почти столько же, сколько мог бы рассказать сам Джо, — за исключением имен и мест. Весьма возможно, что, даже услышав о них из уст самого Джо, он не по-

верил бы, — ибо у этой породы людей бывают такие же твердо установившиеся представления о механике, драматургии зла, как и о механике добра. Так что фанатизм и прозорливость сошлись в одно, только фанатизм чуть припаздывал: когда Джо, спускаясь по веревке, тенью мелькнул мимо облитого лунным светом окна, Макихерн не сразу узнал его, — а может быть, не поверил своим глазам — хотя веревка висела у него прямо перед глазами. А пока он подошел к окну, Джо успел отвести и закрепить веревку и уже направлялся к хлеву. Наблюдая за ним из окна, Макихерн испытывал чистое, праведное возмущение — вроде того, что должен испытывать судья, видя, как подсудимый, которому грозит высшая мера, наклоняется и плюет на рукав приставу.

Притаившись в тени деревьев на полдороге между домом и большаком, он видел Джо на перекрестке. Он тоже услышал машину, увидел, как она подъехала, остановилась и как Джо сел в нее. Возможно, его и не интересовало, кто еще сидел в машине. Возможно, он уже знал и хотел только увидеть, в каком направлении они поедут. Возможно, он верил, что и это знает, поскольку машина могла поехать куда угодно, подходящих

мест вокруг было сколько угодно, и к любому вела дорога. Ибо, по-прежнему кипя чистым и праведным негодованием, он уже повернул назад и быстро шел к дому — словно верил, что еще более великое и чистое негодование поведет его, и даже сомневаться в своем чутье ему будет не нужно. В ковровых шлепанцах, без шляпы, в ночной рубашке, заправленной в брюки, со спущенными подтяжками, он направился прямо к стойлу, оседлал свою большую старую сильную белую лошадь, и тяжелым галопом выехал на дорогу, и поскакал к большаку, хотя миссис Макихерн окликала его из кухонной двери, когда он выезжал со двора. Тем же медленным тяжеловесным галопом он устремился по большаку, вместе с животным напряженно клонясь вперед, подобно какому-то грозному воплощению скорости, хотя сама скорость отсутствовала — словно при этой холодной, непреклонной, несокрушимой убежденности в собственном всемогуществе и в собственном ясновидении, вселившейся в них обоих, ни скорость, ни знание адреса не были нужны.

С той же самой скоростью он прискакал прямо к месту, которое искал и нашел посреди целой ночи и чуть ли не целой половины округа, хотя

оно было не так уж и далеко. Не проехав и четырех миль, он услышал впереди музыку, а потом увидел у дороги освещенные окна однокомнатного здания школы. Он знал, где находится школа, но знать о том, что там состоятся танцы, ему было неоткуда и незачем. И все же он прискакал прямо к ней и въехал в рощицу, запруженную тенями пустых машин, колясок, оседланных лошадей и мулов, и соскочил на землю чуть ли не раньше, чем остановилась лошадь. Он даже не привязал ее. Соскочил и в ковровых шлепанцах, со спущенными подтяжками, круглоголовый, выставив короткую, тупую, возмущенную бороду, побежал к открытой двери и открытым окнам, где играла музыка и при керосиновом свете в какой-то планомерной кутерьме мельтешили тени.

Входя в комнату, он думал, наверно, — если только думал в этот момент, — что его направлял и подвигает теперь сам воинственный архангел Михаил. По-видимому, зрение его не притупилось ни на миг от внезапного света и суматохи, когда, протискиваясь между тел с повернутыми к нему головами и оставляя за собой волну изумления и робкий еще шумок, он бежал к парню, которого усыновил по собственной доброй воле и старался воспитать так, как считал пра-

вильным. Джо танцевал с официанткой и еще не видел его. Женщина видала его только раз, но, наверно, запомнила — а может быть, одного взгляда на его лице теперь было достаточно. Она замерла, на лице ее появилось выражение, очень похожее на ужас, и Джо, увидев это, обернулся. Когда он обернулся, Макихерн уже был рядом. Макихерн и сам видал эту женщину только раз, да и в тот раз, наверное, не смотрел на нее — точно так же, как не желал слушать разговоры мужчин о блуде. Однако он направился прямо к ней, не обращая пока внимания на Джо. «Прочь, Иезавель!» — сказал он. Голос его прогремел в изумленном молчании, среди изумленных лиц под керосиновыми лампами, в тишине оборвавшейся музыки, в мирной лунной ночи молодого лета. «Прочь, потаскуха!»

Наверное, он не замечал того, что двигается быстро, что говорит громко. Наверное, самому ему казалось, что он стоит — справедливый и скалоподобный, чуждый спешки и гнева — и вокруг него дрянь слабого человечества томится в долгом вздохе ужаса перед посланцем разгневанного карающего Престола. И, наверно, даже не его рука ударила в лицо парня, которого он держал под своим кровом, питал и одевал с младенче-

ских лет, — и когда лицо нырком ушло от удара и снова вернулось на место, оно, наверно, не было лицом того ребенка. Однако это его не удивило, ибо не детское лицо занимало его, но лицо Сатаны, которое также было ему знакомо. И когда, вперясь в это лицо, он твердо шел к нему, занеся руку для удара, очень может быть, что шел он в исступленном, самозабвенном восторге мученика, уже сподобившегося отпущения, навстречу стулу, который обрушил на его голову Джо, — в небытие. Наверно, небытие его удивило — но не сильно и не надолго.

Потом все унеслось от Джо, ревя, замирая, и он стоял посреди комнаты с разбитым стулом в руке, глядя на приемного отца. Макихерн лежал на спине. Теперь он выглядел вполне умиротворенным. Казалось, он спит: круглоголовый, неукротимый даже в покое, и даже кровь на его лбу стыла спокойно и мирно.

Джо тяжело дышал. Слышал это — и что-то еще, тонкое, пронзительное, далекое. Слушал долго, пока не узнал голос, женский голос. Посмотрел, увидел: двое мужчин держат ее, она извивается, бьется, волосы свалились на лоб, белое искаженное лицо уродливо, по-дикарски заляпано краской, рваная дырка рта, брызжущая криком.

«Обозвал меня потаскухой!» — визжа, вырывалась из рук мужчин. «Старая сволочь! Пустите! Пустите!» Голос перестал выговаривать слова, снова сорвался в визг; извивалась, билась, тянулась укусить руки мужчин, боровшихся с ней.

Держа разбитый стул, Джо пошел к ней. Сбившись кучками у стен, на него глядели люди: девушки в разномастной топорщившейся одежде, в чулках и туфлях, выписанных по почте; мужчины, молодые люди в стоявших колом костюмах, тоже почтовой подгонки, с заскорузлыми расплющенными руками и выражением глаз, уже выдававшим потомственных созерцателей бесконечной борозды и сонного мулячьего зада. Джо побежал, размахивая стулом. «Пустите ее!» — сказал он. Она сразу перестала биться и всю свою визгливую ярость обратила на него — словно только сейчас его увидела, осознала, что он тоже здесь.

«А ты! Притащил меня сюда! Ублюдок, дубье деревенское! Ублюдок ты. Сволочи такие, что один, что другой. Напустил его на меня, а я сроду не видала…» Джо как будто и не нападал ни на кого в отдельности, и лицо его под занесенным стулом было совершенно спокойно. Мужчины отступили от официантки, отпустили

ее, но она продолжала дергать руками, словно еще не почувствовала этого.

«Уходи отсюда!» — закричал Джо. Он крутился, размахивая стулом, но лицо его по-прежнему было совершенно спокойным. «Назад!» — сказал он, хотя никто не сделал к нему ни шага. Все умолкли, оцепенели, как человек, лежавший на полу. Джо размахивал стулом, пятясь к двери. «Ни с места! Говорил, что убью когда-нибудь! Говорил ему!» Он размахивал стулом и со спокойным лицом пятился к двери. «Никому не двигаться», — сказал он, беспрерывно водя глазами по лицам, которые можно было принять за маски. Потом он швырнул стул, повернулся и выскочил за дверь, на землю, залитую мягким и пятнистым лунным светом. Официантку он догнал, когда она садилась в машину. Он запыхался, но голос его тоже звучал спокойно; лицо было как у спящего, только дышал он так, что было слышно. «Езжай обратно в город, — сказал он. — Я буду там, как только…» По-видимому, он не отдавал себе отчета ни в том, что говорит, ни в том, что происходит; когда женщина вдруг повернулась в двери машины и стала бить его по лицу, он не шевельнулся, и голос его звучал по-прежнему: «Ну да. Правильно. Буду, как толь-

ко...» Потом он повернулся и побежал, а она еще продолжала молотить по воздуху.

Он не мог знать, где Макихерн оставил лошадь да и здесь ли она вообще. И все же он прибежал прямо к ней, словно и ему передалась крепкая вера приемного отца в безотказность хода вещей. Он вскочил на лошадь и повернул к большаку. Машина уже выехала на дорогу. Он видел, как уменьшались и пропали ее красные огни.

Старая сильная рабочая лошадь возвращалась домой коротким ровным галопом. Юноша на ее спине сидел легко, балансировал легко, сильно клонясь вперед, ликуя, наверно, как Фауст, — что отбросил раз и навсегда все зароки, что освободился наконец от чести и закона. В движении тек навстречу приятный резкий запах конского пота — серный; обдувал невидимый ветер. Он закричал громким голосом: «Сделал все-таки! Сделал все-таки! Говорил им, что сделаю!»

Он свернул с большака и под лунным светом, не сбавляя хода, прискакал к дому. Он думал, что в доме будет темно, но темно не было. Он не мешкал: секретная веревка стала теперь такой же частью изжитой жизни, как честь, надежда, как надоедливая старуха, которая тринадцать лет была одним из его врагов — и теперь

не спала, дожидаясь его. Свет горел в ее и Макихерна спальне, а она стояла на пороге, в ночной рубашке, с шалью на плечах. «Джо?» — сказала она. Он быстро шел по передней. Лицо у него было такое, каким его увидел Макихерн из-под опускавшегося стула. Возможно, она еще не могла его разглядеть. «Что случилось? — сказала она. — Папа уехал на лошади. Я слышала…» Тут она разглядела его лицо. Но отступить уже не успела. Он ее не ударил; его рука прикоснулась к ней не грубо. Просто торопливо — спеша убрать ее с дороги, от двери. Он откинул ее в сторону, как полог на двери.

«Он на танцах, — сказал Джо. — Отойди, старуха». Она повернулась, одной рукой сжимая шаль, другую приложив к двери, и смотрела ему вслед, пока он шел через комнату и взбегал по лестнице к себе на чердак. На ходу он оглянулся. Тогда она увидела, как сверкнули в свете лампы его зубы. «На танцах, слышишь? Только не танцует». Он глядел назад, скалясь на лампу; отдернулся, продолжая смеяться и бежать, исчезая на бегу, исчезая наверху со смехом — сперва голова, потом тело, — словно вбегал очертя голову во что-то, стиравшее его без следа, как с доски — рисунок мелом.

Она шла за ним, карабкалась по лестнице; она двинулась за ним почти сразу, едва он прошел мимо, — словно то же властное побуждение, которое увело ее мужа, вернулось в дом с приемным сыном и от него передалось ей. Она тащилась вверх по тесной лесенке, цепляясь одной рукой за перила, другой — за шаль. Она ничего не говорила, не окликала его. Она была как дух, послушный приказу отсутствующего повелителя. Джо не зажег лампу. Но комнату наполнял раздробленный свет луны — хотя, пожалуй, и без него она бы разобрала, что делает Джо. Она держалась на ногах, опираясь о стену, шарила по стене рукой и наконец, добравшись до кровати, опустилась на нее, села. На все это ушло немало времени, так что, когда она посмотрела на свой тайник, Джо уже приближался к кровати, куда свет луны падал прямо, и она увидела, как он опрокидывает над кроватью жестянку, сгребает рукой маленькую кучку монет и бумажек и запихивает руку в карман. Только тогда он посмотрел в ту сторону, где сидела она — чуть отвалившись назад, опираясь на руку, придерживая шаль другой. «Я их у тебя не просил, — сказал он. — Запомни. Не просил — боялся, что дашь. Я их сам взял. Не забывай это».

Он начал отворачиваться еще до того, как закончил фразу. Она смотрела, как он выходит на свет, бьющий снизу по лестнице, и спускается. Он скрылся из виду, но она еще слышала его. Потом услышала, как он быстро идет по передней, немного погодя опять услышала лошадь, пущенную вскачь, и немного погодя топот лошади замер.

Когда часы пробили где-то час, Джо, погоняя старую изнуренную лошадь, ехал по главной улице города. Лошадь давно уже тяжело дышала и спотыкалась, но он заставлял ее бежать, мерно колотя по крупу тяжелой палкой. Это был не хлыст: это был обрезок метловища, торчавший прежде в клумбе миссис Макихерн подпоркой какому-то растению. Хотя лошадь еще бежала галопом, перемещалась она немногим быстрей пешехода. Так же устало и ужасающе медленно поднималась и падала палка, но юноша на спине лошади по-прежнему клонился вперед, словно не знал, что лошадь изнемогла, или будто подавал, посылал вперед обессилевшее животное, чьи медленные копыта стучали мерно и глухо в пустоте кружеволунной улицы. Они — всадник и лошадь — представляли собой странное зрелище: словно лупой времени растянут был этот

упрямый, заторможенный бег по улице к тому перекрестку, где он ждал когда-то — послушный побуждению, быть может, менее властному, но не менее нетерпеливый и более молодой.

А лошадь уж и не бежала на негнущихся ногах, она дышала глубоко и надсадно; каждый вздох — как стон. Палка взлетала и падала; по мере того, как замедлялся ход лошади, удары учащались в обратной пропорции. Но лошадь все замедляла ход, ее вело к обочине. Джо тянул повод, бил ее, но она дотащилась до обочины и стала, дрожа, в яблоках лунного света, свесив голову, дыша так, что похоже было на человечий голос. А всадник все клонился вперед, в стремительной позе, и бил лошадь по крупу. Если бы не мелькание палки и не стон животного, их можно было бы принять за конную статую, сошедшую с пьедестала и застывшую в позе крайнего изнеможения на тихой пустой улице, покрытой разводами и пятнами лунной тени.

Джо спешился. Он зашел вперед лошади и начал дергать ее, словно надеялся сдвинуть одной только силой, а затем вскочить в седло. Лошадь не двигалась. Он упорствовал; казалось, он склонился к лошади. И опять застыли изваяниями замученное животное и юноша, друг против

друга, почти соприкасаясь головами — как будто молились, или прислушивались, или держали совет. Потом Джо поднял палку и принялся бить по неподвижной лошадиной голове. Бил упорно, пока не сломалась палка. Продолжал бить обломком чуть длиннее ладони. Но то ли понял, что не причиняет боли, то ли рука наконец устала, потому что вдруг бросил палку, повернулся рывком и быстро зашагал прочь. Он не оглядывался. Уменьшаясь, мелькая в белой рубашке между тенями, он расстался с лошадиной жизнью так бесповоротно, как будто ее никогда не существовало.

Он миновал перекресток, куда приходил на свидания. Если он вообще заметил, подумал что-нибудь, то сказал, наверно *Господи, как давно. Как давно это было* Улица сворачивала на гравийную дорогу. Ему оставалось пройти почти милю, поэтому он побежал — не быстро, но собранно, ровно, чуть опустив голову, словно разглядывал дорогу, которую толок ногами, работая локтями, как тренированный бегун. Выбеленная луной дорога петляла между новых, беспорядочно разбросанных ужасных домишек, в каких селятся люди предместий, вчера приехавшие ниоткуда, завтра уезжающие невесть куда.

Все дома были темны, кроме того, к которому он бежал.

Он поравнялся с домом и свернул с дороги, бегом, топая гулко и мерно в ночной тиши. Может быть, ему уже виделась официантка, ожидающая его в темном дорожном платье, в шляпе, с собранным чемоданом (как они уедут, на чем отправятся, он, наверное, ни разу не задумался), может быть — и Мейм с Максом, скорее всего неодетые: он — без пиджака, а то и просто в нижней рубашке, она — в голубом кимоно; оба — хлопотливые, веселые, шумные, как положено при проводах. По существу, он вообще ни о чем не думал — ведь он даже не сказал официантке, чтобы она готовилась к отъезду. Может быть, ему казалось, что он ей говорил или что она сама должна догадаться, поскольку его прошлые действия и планы на будущее представлялись ему простыми и понятными для всех. Может быть, ему казалось даже, будто он успел объяснить официантке, когда она садилась в машину, что едет домой за деньгами.

Он взбежал на крыльцо. До сих пор, даже в золотые его деньки в этом доме, ему всегда хотелось как можно быстрее и незаметнее прошмыгнуть с дороги под защиту крыльца и в самый дом,

где его ждали. Он постучался. Как он и предвидел, в ее комнате горел свет, в передней — тоже; сквозь зашторенные окна доносились голоса, в которых он уловил скорее беспокойство, чем веселье; но он и это предвидел, думая *Наверно, думают, что я не приду. Чертова кляча. Чертова кляча* Он опять постучал — громче, взялся за ручку, подергал, прижавшись лицом к завешенному стеклу двери. Голоса смолкли. Из дома не доносилось ни звука. Два света — озаренная штора в ее окне и матовая занавеска на двери — горели ярко и ровно, будто в доме все умерли, как только он тронул ручку. Он опять постучал, почти без паузы; он еще стучал, когда дверь (ни тени не упало на занавеску, ни шага не послышалось за ней) внезапно и беззвучно распахнулась под его рукой. Он уже шагнул через порог, словно его притянуло дверью, когда из-за нее возник Макс и преградил дорогу. Он был полностью одет, даже в шляпе. «Кого я вижу», — сказал он. Голос его был негромок, и все получилось так, будто он втащил Джо в прихожую, захлопнул дверь и запер ее раньше, чем Джо успел осознать, что он в доме. Однако его голос опять звучал как-то двусмысленно — сердечно будто бы и совершенно пусто, без тени удовольствия или веселья — как нечто

исключительно внешнее, вроде личины, из-за которой он наблюдал за Джо, отчего и раньше Джо смотрел на Макса со смешанным чувством недоумения и гнева. «А вот наконец и наш Ромео, — сказал он. — Король Бийл-стрит». Потом он заговорил чуть громче, а «Ромео» произнес совсем громко. «Заходи, гостем будешь».

Джо уже шел к знакомой двери, опять почти бежал — если этот бег вообще прерывался. Он не слушал Макса. Он никогда не слышал о Бийл-стрит — этих трех-четырех кварталах Мемфиса, по сравнению с которыми Гарлем — кинодекорация. Он ничего не замечал. И вдруг увидел в глубине передней блондинку. Он не понял, как она появилась в передней, — когда он входил, ее не было. И вдруг оказалось, что она тут. Она была одета, в темной юбке, и в руке держала шляпу. А рядом с ним, за открытой дверью, в темной комнате, был сложен багаж — несколько чемоданов. Может быть, он их не видел. А может, взглянув, увидел на миг, и мелькнуло быстрее мысли *Я не думал, что у нее так много* И, может быть, тогда он впервые подумал, что ехать-то им не на чем, подумал *Как же я все это унесу?* Но не остановился, уже поворачивал к знакомой двери. И только прикоснувшись к ней, почувство-

вал, что за нею мертвая тишина, тишина, создать которую — он уже знал это в свои восемнадцать лет — один человек не может. Но не остановился и, наверно, не почувствовал даже, что передняя снова опустела, что блондинка снова исчезла, неслышно, незаметно для него.

Он открыл дверь. Теперь он бежал — то есть так, как забегает человек далеко вперед себя и своего знания в тот миг, когда он остановится точно вкопанный. Официантка сидела на кровати — он не раз видел ее в этой позе. Как он и ожидал, она была в темном платье и в шляпе. Она сидела потупясь и даже не взглянула на открытую дверь, и в неподвижной руке ее, огромной и уродливой на темном платье, дымилась сигарета. В тот же миг он увидел второго мужчину. Раньше он с ним не встречался. Но сейчас он этого не сознавал. Это он вспомнил позднее — так же, как сваленный в темной комнате багаж, на который он взглянул мельком, не поспевая зрением за мыслью.

Незнакомец тоже сидел на кровати и курил. Шляпа у него была нахлобучена на лоб, так что даже рот находился в тени. Он был не старый, но и не молодой. Они с Максом были точно братья — в том смысле, в каком любые двое белых,

забредших в африканскую деревню, могут показаться туземцам братьями. Его лицо, вернее, подбородок, на который падал свет, было неподвижно. Смотрит на него незнакомец или нет, Джо не знал. И что Макс стоит у него прямо за спиной — тоже не знал. И слышал их голоса, не понимая, о чем они говорят, даже не прислушиваясь *Спроси его*

Почем он знает Возможно, он слышал эти слова. Но скорее — нет. Скорее всего они пока что значили для него не больше, чем шорох насекомых за плотно завешенным окном или сложенные чемоданы, на которые он посмотрел, но пока еще их не видел *Бобби говорит, он сразу смылся*

А может, он знает. Попробуем выяснить хотя бы, от чего мы бежим

Хотя Джо не пошевелился с тех пор, как вошел, он все еще бежал. Когда Макс тронул его за плечо, он обернулся так, как будто его остановили на полном ходу. Он и не подозревал, что Макс в комнате. Он посмотрел на Макса через плечо с досадой, чуть ли не с бешенством.

— Давай потолкуем, паренек, — сказал Макс. — Ну, что там?

— Где — там? — сказал Джо.

— Со стариканом. Как думаешь, укокал его?

Только начистоту. Ты же не хочешь, чтоб Бобби влипла?

— Бобби, — сказал Джо, думая *Бобби. Бобби* Он повернулся, снова побежал; на этот раз Макс схватил его за плечо, хотя не грубо.

— Ну так? — сказал Макс. — Ну, мы же тут все свои. Укокал его?

— Укокал? — сказал Джо раздраженно, сдерживая нетерпение, как человек, которого донимает расспросами ребенок.

Заговорил незнакомец:

— Ну, которого ты стулом огрел. Умер он?

— Умер? — сказал Джо. Он перевел взгляд на незнакомца. При этом он опять увидел официантку и опять побежал. Но на этот раз он действительно двигался. Он совершенно забыл об обоих мужчинах. Он подошел к кровати, выдергивая что-то из кармана с восторженным и победоносным выражением лица. Официантка на него не смотрела. Она не посмотрела на него ни разу за все время, но он скорее всего упустил это из виду. Она так и не пошевелилась, сигарета еще дымилась у нее в руке. Неподвижная рука была безжизненной, большой и бледной, как мясо, недавно брошенное на сковородку. Опять кто-то схватил его за плечи. На этот раз оказа-

лось — незнакомец. Незнакомец и Макс стояли плечом к плечу и смотрели на Джо.

— Не тяни волынку. Если смарал старика, так и скажи. Это, знаешь, не долго будет секретом. Глядишь, всплывет через какой-нибудь месячишко.

— Сказано вам, не знаю! — ответил Джо. Он глядел то на одного, то на другого с раздражением, но пока без злобы. — Я его ударил. Он упал. Я ему говорил, что он у меня дождется. — Он глядел то на одно, то на другое лицо — бесстрастные, почти неразличимые. Он начал дергать плечом, за которое его ухватил незнакомец.

Заговорил Макс:

— Так чего ты сюда пришел?

— Чего я… — сказал Джо. — Чего я сюда… — повторил он упавшим голосом, возмущенно переводя взгляд с одного лица на другое, но еще смиряя злобу. — Чего я пришел? Я пришел за Бобби. Вы что… ведь я домой ездил, взять денег на женитьбу… и после этого вы… — И снова он начисто забыл о них, выкинул их из головы. Он вырвался и повернулся к женщине — опять не помня ничего, гордясь и торжествуя. Вероятно, в этот миг обоих мужчин выдуло из его жизни, как два клочка бумаги. Вероятно, он даже

не заметил, как Макс отошел к двери и крикнул, и через секунду появилась блондинка. Он нагнулся над кроватью, где неподвижно и понуро сидела официантка, склонился над ней, выгребая из кармана ей на колени и на кровать свалявшуюся массу бумажек и монет. — Вот! Смотри что. Смотри. Достал. Видишь?

А потом ветер снова налетел на него, как три часа назад в школе, среди остолбенелых людей, которых он не замечал. Официантка вскочила, толкнув его снизу, он выпрямился от удара и стоял спокойно в каком-то полусне, спокойно глядя, как она собирает скомканные и рассыпанные деньги и швыряет их, спокойно глядя на ее искаженное лицо, на кричащий рот, на глаза, которые тоже кричали. Он один из всех казался себе спокойным, невозмутимым, один лишь его голос был спокоен настолько, что проникал в сознание: «Значит, ты не хочешь? — говорил он. — Значит, ты не хочешь?»

Было очень похоже на то, что творилось в школе: ее держали, она вырывалась и визжала, всклокоченная голова тряслась и дергалась, а лицо и даже рот, напротив, были неподвижны, как у покойника.

— Сволочь! Паразит! Впутал меня в такую

историю — а я с тобой как с белым человеком! Как с белым!

Но для него, наверное, это было все еще просто шумом, никак не проникавшим в сознание, — просто долгим порывом ветра. Он просто смотрел на нее, на лицо, которого никогда прежде не видел, и говорил спокойно (вслух или нет — он сам не знал), с тягостным недоумением: *Я же ради нее убил. Я даже украл ради нее* — словно только что услышал, узнал об этом, словно ему только сейчас сказали, что он это сделал.

Затем и ее будто выдуло из его жизни долгим порывом ветра — как третий клочок бумаги. Он начал помахивать рукой, словно все еще держал разбитый стул. Блондинка уже довольно давно находилась в комнате. Он заметил ее впервые, без удивления — выросшую как из-под земли, неподвижную, в диамантовой своей невозмутимости вызывавшую такое же почтение, как непререкаемо поднятая белая перчатка полисмена, — и хоть бы волосок выбился. Теперь голубое кимоно было надето поверх темного дорожного платья. Она тихо сказала:

— Заберите его. И давайте уходить. Тут скоро будет полиция. Они узнают, где его искать.

Возможно, Джо совсем не слышал ее, так же

как визг официантки:

— Он мне сам сказал, что он нигер! Паразит! Пускать задаром эту негритянскую морду, чтобы из-за него же связаться с деревенской полицией. На деревенской танцульке.

Возможно, он не слышал ничего, кроме долгого ветра, когда, размахивая рукой так, словно рука еще сжимала стул, бросился на двоих мужчин. Должно быть, он даже не знал, что они сами двинулись на него. Потому что в каком-то исступленном восторге, подобно приемному отцу, он бросился прямо на кулак незнакомца. Возможно, он не ощутил ни первого, ни второго удара, но незнакомец дважды попал ему в лицо, прежде чем он рухнул навзничь и застыл, как тот, кого он сам поверг недавно. Он не потерял сознания — потому что глаза его были открыты и тихо смотрели на них. В глазах не было ни боли, ни удивления — ничего. Но, видимо, он не мог пошевелиться; он просто лежал с выражением глубокой задумчивости и тихо смотрел вверх на двоих мужчин и блондинку, все еще неподвижную, гладкую, лощеную, как литая статуя. Возможно, и голосов не слышал, а если слышал — они и сейчас значили для него не больше, чем ровное сухое гудение насекомых за окном:

Надо же — запаскудить местечко, о каком я мечтал всю жизнь

Нельзя ему с ними, паскудами, связываться

Да как ему удержаться? Если от первой-то ножницами отрезали

А он правда нигер? Что-то не похож

Он сам сказал Бобби ночью. Только думаю, она и сейчас знает про это не больше него. Эти деревенские выблядки кем хочешь могут оказаться

А мы узнаем. Сейчас поглядим, черная у него юшка или нет

Лежа тихо и покойно, Джо смотрел, как наклоняется незнакомец, приподнимает ему голову и снова бьет в лицо — на этот раз коротким резким ударом. Чуть погодя он лизнул губу, как ребенок — ложку на кухне. Он смотрел, как незнакомец отводит руку. Но она не ударила.

Хватит. Надо в Мемфис ехать

Еще разок Джо лежал тихо и смотрел на руку. Тут рядом с незнакомцем оказался Макс — тоже нагнувшись. *Надо еще чуть-чуть пустить, чтобы знать наверняка*

Точно. И пускай не волнуется. Это ему тоже бесплатно

Рука не ударила. Возле них оказалась блондинка. Она держала руку незнакомца за запястье. *Хватит я сказала*

10

Знание помнит, не сокрушаясь, тысячу диких безлюдных улиц. Они протянулись от той ночи, когда он лежал и слышал, как замер последний шаг, хлопнула последняя дверь (они даже свет не выключили), а он все лежал, тихо, навзничь, с открытыми глазами, и колба, висевшая над ним, сверкала больно и ровно, словно все в доме умерли. Он не знал, долго ли он лежал так. Он совсем не думал, не страдал. Возможно, он ощущал где-то внутри себя разорванный провод между волей и чувствительностью — два оголенных конца, лежащих порознь, разомкнутых, ждущих соединения, замыкания, чтобы он снова мог двигаться. Заканчивая приготовления к отъезду, они то и дело переступали через него, как люди, покидающие дом навсегда, переступают через вещь, которую решили бросить. *Эй бобби эй детка вот твоя гребенка ты ее забыла а вот деньжата нашего ромео черт небось обчистил кассу воскресной школы по дороге теперь они боббины ты что не видала он сам ей отдал что значит широкая натура точно*

собери их детка считай в погашение кредита или подарок на память она что не хочет скажи пожалуйста вот беда вот незадача но не валяться же им тут пол сгноят дырку сделают они уже сделали одну дырку только велика не по деньгам да на такую никаких денег не хватит эй бобби эй детка правильно я заберу их для бобби ни черта ты не заберешь то есть я хотел сказать заберу для бобби половину не трожьте их паршивцы на что они вам это его деньги мать моя ему-то они на что он деньгами не пользуется они ему не нужны спроси у бобби нужны ли ему деньги за что мы платим ему дают задаром оставь их я сказала черта лысого они не мои чтоб я их оставлял они боббины и не твои кстати или ты тоже черт подери скажешь что он тебе задолжал что он и тебя имел в кредит за моей спиной оставь их я сказала да иди ты в самом деле тут всего-то по пятку зеленых на нос Затем над ним нагнулась блондинка — он тихо на нее смотрел, — задрала юбку, вытащила из чулка пачку денег, отделила одну бумажку, постояла, сунула ему в часовой кармашек брюк. Затем ее не стало *давайте давайте отсюда ты сама еще не готова тебе еще надо это кимоно спрятать чемодан застегнуть да попудриться напоследок неси*

сюда мой чемодан и шляпу теперь иди или нет ты бери бобби и остальные чемоданы и идите в машину и ждите нас с максом думаете я вас тут оставлю одних чтобы вы и эту последнюю у него стянули а ну давайте марш отсюда

Затем они ушли: последний шаг, последняя дверь. Затем он услышал урчание машины, заглушившее шум насекомых; она гудела громче них, потом вровень, потом тише, пока не остались только насекомые. Он лежал под лампочкой. Он еще не мог двинуться — так же как глядел, ничего не видя, слушал, не понимая; концы провода еще не соединились, и он лежал покойно, время от времени по-детски облизывая губы.

Затем концы провода пришли в соприкосновение, замкнулись. Он не знал точно, в какую секунду это произошло, только вдруг почувствовал, что голова раскалывается, и медленно сел и, постепенно обретая себя, поднялся на ноги. Голова была дурная, комната шла кругом медленно и плавно, как мысли, и поэтому в мыслях возникло *Еще нет* Но боли он по-прежнему не ощущал — даже тогда, когда привалился к комоду и стал разглядывать в зеркале свое вспухшее, окровавленное лицо, трогать его. «Мать моя, — сказал он. — Ничего себе отделали».

Он еще не думал, до сознания еще не поднялось *Вроде надо уходить отсюда Вроде надо уходить отсюда* Он пошел к двери, вытянув руки перед собой, точно слепец или лунатик. Он попал в переднюю, не заметив, как прошел через дверь, и очутился в другой спальне, надеясь — наверно, еще не думая, — что движется к выходу. Спальня тоже была тесная. Но казалось, она еще полна блондинкой и шершавые тесные стены пучатся от ее воинственной диамантово-невозмутимой почтенности. На голом комоде стояла пол-литровая бутылка виски, почти полная. Он выпил ее, медленно, совсем не ощущая жжения, держась за комод, чтобы держаться на ногах. Виски потекло в глотку, холодное, безвкусное, как кормовая патока. Он поставил бутылку, прислонился к комоду, опустив голову, ни о чем не думая, и ждал — может быть, безотчетно, а может, и вообще не ждал. Затем виски начало разгораться в нем, и он начал медленно покачивать головой, а мысли зашевелились заодно с медленным сворачиванием и выворачиванием внутренностей: «Надо уходить отсюда». Он вернулся в переднюю. Теперь голова прояснилась, не слушалось тело. Он вынужден был тащить его через всю переднюю к выходу, скользя по стене, и думал:

«Ну, давай же, возьми себя в руки. Надо выйти». Думая *Мне бы только выбраться на воздух, на холод, в прохладную темноту.* Он наблюдал за тем, как шарят по двери его руки, и старался помочь им, сдержать и направить их. «Хоть двери не заперли, — подумал он. — Мать моя, я бы тогда до утра не выбрался. Ни за что бы окно не открыть — не вылезти». Наконец он отворил дверь, вышел и затворил дверь за собой — опять после препирательств с собственным телом, которое не желало утруждать себя этим и лишь по принуждению затворило дверь покинутого дома, где горели мертвым ровным огнем две лампочки, не ведающие, что дом покинут, и безразличные к этому, столь же безразличные к тишине и запустению, сколь безразличны они были к дешевым скотским ночам, к грязным, захватанным стаканам и грязным, заезженным постелям. Его тело стало покладистей, слушалось лучше. Он шагнул с темного крыльца в лунный свет и с окровавленной головой и пустым желудком, в которых горел и буянил хмель, вступил на улицу, протянувшуюся отсюда на пятнадцать лет.

Хмель со временем выветрился, сменился новым и снова выветрился, но улице не было конца. С той ночи сотни улиц вытянулись в од-

ну — с незаметными поворотами и сменами ландшафта, с промежутками езды — то попутчиком, то зайцем, на поездах, на грузовиках, на телегах, где в двадцать, в двадцать пять, в тридцать лет он сидит с неподвижным, жестким лицом, в костюме (пусть грязном и порванном) горожанина, а возница не знает, кто он и откуда, и не смеет спросить. Улица вела в Оклахому и Миссури и дальше на юг, в Мексику, а оттуда обратно на север, в Чикаго и Детройт, потом опять на юг и, наконец, — в Миссисипи. Она растянулась на пятнадцать лет: она пролегла между ублюдочными варварскими фасадами нефтяных городишек, где он, в своей неизменной диагонали и легких туфлях, черных от бездонной грязи, ел с жестяных мисок грубую пищу, по десять — пятнадцать долларов порция, и платил из пачки банкнот толщиной с большую жабу, тоже перепачканной грязью, жирной и, казалось, неисчерпаемой, как золото, выделявшееся из нее. Улица пролегла среди желтых полей пшеницы, где желтые каленые дни труда сменялись тяжким сном в скирдах под холодной безумной луной и колкими сентябрьскими звездами; он был разнорабочим, шахтером, старателем, зазывалой игорного притона; он за-

вербовался в армию, прослужил четыре месяца, дезертировал и не был пойман. И непременно, раньше или позже, улица пролегала через города, чьи названия не держались в памяти, через один и тот же, во всех городах одинаковый, квартал, где под темными, подозрительными сводами полуночи он спал с женщинами, платил им, если были деньги, а если не было, все равно спал, а потом говорил им, что он негр. Первое время, когда он был еще на Юге, это действовало. Получалось очень легко, очень просто. Рисковал он только тем, что его обругает женщина или бандерша, хотя, случалось, его избивали до потери сознания другие клиенты, и он приходил в себя где-нибудь на улице или в тюрьме.

Получалось это, пока он был на Юге или близко к Югу. Потому что однажды не получилось. Он поднялся с постели и сказал женщине, что он негр. «Ну? — удивилась она. — А я думала, опять какой-нибудь итальяшка». Она смотрела на него без особого интереса; потом, наверное, что-то увидела в его лице; сказала: «Ну и что? Выглядишь нормально. Видал бы ты, какого черного я перед тобой отпустила». Она смотрела на него. Теперь совсем застыв. «Слушай, ты где, по-твоему, находишься? Это что тебе — отель «Ритц»?»

Тут она замолчала. Она смотрела на его лицо, потом стала медленно пятиться, уставясь на него, бледнея, разинув рот, чтобы закричать. Потом она закричала. Чтобы скрутить его, понадобились двое полицейских. Сначала они подумали, что женщина убита.

После этого ему стало тошно. Раньше он не знал, что есть такие белые женщины, которые готовы принять мужчину с черной кожей. Ему было тошно два года. Иногда он вспоминал, как хитростью или насмешкой заставлял белых назвать себя негром, чтобы подраться с ними, избить их или быть избитым; теперь он подрался с негром, который назвал его белым. Он жил уже на севере — в Чикаго, потом в Детройте. Он жил с неграми, сторонясь белых. Ел с ними, спал с ними — воинственный, замкнутый, способный выкинуть что угодно. Теперь он жил с женщиной, словно вырезанной из черного дерева. Ночами лежал рядом с ней без сна и вдруг начинал глубоко, тяжело дышать. Он делал это нарочно, чувствуя и даже наблюдая, как его белая грудь вздымается все круче и круче, пытаясь вобрать в себя темный запах, темное и непостижимое мышление и бытие негров, с каждым выдохом стараясь изгнать из себя кровь белого,

мышление и бытие белого. А между тем от запаха, который он пытался сделать родным, ноздри его раздувались и белели, и все существо сводила судорога физического отвращения и духовного неприятия.

Он думал, что не от себя старается уйти, но от одиночества. А улица все тянулась: как для кошки, все места были одинаковы для него. И ни в одном он не находил покоя. Улица все тянулась в смене фаз и настроений, всегда безлюдная: видел ли он себя как бы в бесконечной последовательности аватар, среди безмолвия, обреченным движению, гонимым храбростью то подавляемого, то вновь разжигаемого отчаяния; отчаянием храбрости, которую надо то подавлять, то разжигать? Ему исполнилось тридцать три года.

Однажды улица приняла вид миссисипского проселка. Возле маленького города его ссадили с товарного поезда, шедшего на юг. Он не знал, что это за городок; ему было все равно, как он называется. К тому же он не видел его. Он обогнул его лесом, вышел на проселок, поглядел в одну сторону и в другую. Дорога была простая, грунтовая, но, как видно, наезженная. Он увидел несколько негритянских домишек, разбросанных

вдоль нее, потом увидел, примерно в полумиле, дом побольше. Большой дом посреди рощицы, в прошлом, видимо, не без претензий на роскошь. Но теперь деревья нуждались в стрижке, а дом не красили много лет. Однако видно было, что в доме живут, а он не ел уже сутки. «Этот, пожалуй, сойдет», — подумал он.

Но он пошел туда не сразу, хотя день клонился к вечеру. Он повернулся к дому спиной и пошел в обратную сторону — в грязной белой рубашке, в вытертых диагоналевых брюках, потрескавшихся, запыленных городских туфлях, дерзко заломленной суконной кепке, обросший трехдневной щетиной. И все равно он не был похож на бродягу — по крайней мере на взгляд парнишки-негра, который шел ему навстречу, размахивая ведром. Он остановил парнишку.

— В том большом доме кто живет? — спросил он.

— Вон там вон? Мис Берден.

— Миссис Берден с мужем?

— Она без мужа. Она там одна живет.

— Ага. Старуха, что ли?

— Нет, сэр, мис Берден — она не старая. Но и не молодая.

— И живет одна. И что же — не боится?

— А кто ее обидит у нас в городе? Цветные по соседству за ней присматривают.

— Цветные за ней присматривают?

Тут паренек будто дверь закрыл между собой и мужчиной, который его расспрашивал.

— А кто ее тут обидит? Она никого не обижает.

— Похоже, — сказал Кристмас. — А в эту сторону далеко до другого города?

— Да миль, говорят, тридцать. Вы не пешком туда собрались, нет?

— Нет, — сказал Кристмас. Потом повернулся и пошел дальше. Паренек смотрел ему вслед. Потом тоже повернулся и пошел, покачивая ведро у выгоревшей штанины. Через несколько шагов он оглянулся. Человек, который расспрашивал его, продолжал идти, мерно, но не быстро. Паренек в выгоревшем, латаном, коротком комбинезоне пошел дальше. Он был босой. Вскоре он начал приплясывать, шаркая ногами, и рыжая пыль взлетала вокруг костлявых шоколадных щиколоток и коротких обтрепанных штанин комбинезона; он замурлыкал, ритмично, музыкально, но без мотива, на одной ноте:

Ври лучше меньше,
Лучше больше знай.

Хочешь светлой девочки –
Выйди погулять[1].

Лежа в густом кустарнике, метрах в ста от дома, Кристмас услышал, как где-то вдалеке часы пробили девять, потом десять. Перед ним, среди деревьев, угловатый и огромный, маячил дом. В одном окне наверху горел свет. Шторы были раздвинуты, и он видел, что горит там керосиновая лампа, а время от времени по дальней стене скользила человеческая тень. Но самого человека он ни разу не увидел. Немного погодя свет погас.

Дом был темен; он перестал на него смотреть. Он лежал в кустарнике, ничком на темной земле. Тьма в зарослях была непроглядная; она заползала под рубашку и брюки, плотная, прохладная, мозгловатая — словно солнце никогда не касалось этого воздуха, запутавшегося среди кустов. Он ощущал, как не знавшая солнца земля пробивается в него, медленно и жадно, сквозь одежду: в пах, в бедро, в живот, в грудь, в плечи. Лоб его опирался на скрещенные руки, и в ноздри тек сырой густой запах темной плодородной земли.

Он ни разу не оглянулся на темный дом. Он больше часа неподвижно пролежал в ку-

---

[1] Сноски: 1
Перевод А. Сергеева.

стах и только тогда встал и вышел. Не таясь. Он не крался к дому, шел без особых предосторожностей. Он просто двигался тихо, словно это было его природным свойством, — огибая потерявшую границы громаду дома, направляясь к задней стороне, где должна быть кухня. Когда он задержался и постоял под окном, где потух свет, шуму от него было не больше, чем от кошки. В траве под ногами сверчки, которые умолкали от его шагов, окружая его островком тишины — как бы легкой желтой тенью своих тихих голосов, застрекотали снова и, когда он двинулся дальше, снова смолкли — с той же крохотной чуткой готовностью. Сзади к дому примыкал одноэтажный флигелек. «Это должна быть кухня, — подумал он. — Да, она самая». Он шел бесшумно, все время в островке чутко смолкших насекомых. В кухонной стене обозначилась дверь. Если бы он толкнул ее, то узнал бы, что она не заперта. Но он не толкнул. Он миновал дверь и остановился под окном. Прежде чем взяться за него, он вспомнил, что на окне, светившемся наверху, не было сетки.

Окно кухни было даже открыто и приперто палкой. «Это как надо понимать?» — подумал он. Он стоял под окном, положив руки на подокон-

ник, дыша спокойно, не вслушиваясь, не спеша, словно спешить было некуда на этом свете. «Ну и ну. Вот это я понимаю. Ну и ну». Потом он влез в окно; его словно втянуло в темную кухню: тень, возвращавшаяся без звука и без движения во всеутробу безвестности и тьмы. Может быть, он думал о том, другом окне, в которое ему приходилось лазить, о веревке, на которую приходилось полагаться; может быть, не думал.

Скорее всего не думал — как кошка не думала бы о другом окне. И, подобно кошке, он тоже, казалось, видел в темноте, когда безошибочно направился к пище, будто зная, где она должна быть, — или руководимый силой, которая знала. Он ел из невидимой тарелки невидимыми руками невидимую пищу. Ему было безразлично, что есть. Он даже не сознавал, что чувствует и пытается вспомнить вкус еды, покуда челюсти его вдруг не замерли и мысли не отшвырнуло на двадцать пять лет назад по улице, мимо незаметных поворотов, отмеченных горькими поражениями и еще горшими победами; отбросило за поворот, где он стоял и ждал в первые страшные недели любви, ждал ту, чье имя он позабыл, — еще дальше назад, за пять миль от того поворота *Сейчас узнаю. Я это где-то ел.*

Сейчас, сейчас и память отщелкивала, узнавала *знаю, знаю больше того — слышу, слышу вижу я голову наклонил слышу нудный назидательный голос кажется он никогда не умолкнет будет бубнить и бубнить всегда и скосив глаза вижу упрямую круглую голову тупую бороду они тоже склонились а я думаю Как ему только есть не хочется и чую запах рот и язык плачут едкой солью ожидания глаза пробуют душистый пар над тарелкой* «Горох, — сказал он вслух. — Мать моя, полевой горох с патокой».

Видимо, этим заняты были не только мысли — иначе он услышал бы звук раньше, ибо тот, кто издавал его, заботился о тишине и скрытности не больше, чем он сам под окном. А может, он и слышал. Но даже не шевельнулся, когда к кухне из дома стали приближаться мягкие шаги обутых в шлепанцы ног; потом, повернувшись внезапно — с внезапно вспыхнувшими глазами, — увидел под внутренней дверью слабый приближающийся свет. Открытое окно было рядом; шаг-другой — и он был бы там, но он не шевелился. Он даже не поставил миску. Даже не перестал жевать. Когда дверь открылась и женщина вошла, он так и стоял посреди комнаты с миской в руках и жевал. Она была в линялом

халате и несла свечу, держа ее высоко, так что свет падал ей прямо на лицо — спокойное, серьезное, ничуть не встревоженное. При мягком свете свечи она выглядела лет на тридцать с небольшим. Она остановилась в дверях. Они смотрели друг на друга больше минуты, почти в одинаковых позах — он с миской, она со свечой. Он перестал жевать.

— Если вам нужна еда, вы ее найдете, — сказала она очень сухо, спокойным низковатым голосом.

11

При свече, в мягком свете, который лился сверху на мягкое нестянутое тело женщины, раздевшейся на ночь, ей можно было дать немногим больше тридцати. Увидев ее при дневном свете, он понял, что ей за тридцать пять. Позже она ему сказала, что ей сорок. «Что может означать и сорок один, и сорок девять, судя по тому, как она сказала», — подумал он. Но услышал он это не в первую ночь — много ночей прошло, прежде чем она сказала ему хотя бы, сколько ей лет.

Она вообще ему мало рассказывала. Разговаривали они мало и мимоходом — даже после того, как он стал гостем ее стародевичьей постели. Иногда ему начинало казаться, будто он с ней совсем не разговаривает, совсем ее не знает. Будто их две: одна — с которой он изредка видится днем и обменивается словами, ничего не говорящими, поскольку они не для этого и произносятся; и другая — с которой он лежит ночью, не видя ее и не разговаривая совсем.

Даже спустя год (он работал на деревообделочной фабрике) он видел ее днем только в субботу

после работы и в воскресенье или зайдя в дом за едой, которую она готовила ему и оставляла на кухонном столе. Иногда она и сама заходила на кухню, но ни разу не оставалась там, пока он ел, а иногда, в первые четыре-пять месяцев его житья в хибарке, она встречала его у заднего крыльца, и они стояли и разговаривали, почти как незнакомые. Они всегда стояли: она — в одном из своих, видимо, бесчисленных, чистых ситцевых домашних платьев, иногда в деревенском чепце, он — в белой рубашке, теперь уже чистой, и диагоналевых брюках, по которым каждую неделю проходился утюг. Они никогда не присаживались, чтобы поговорить. Он только раз и видел ее сидящей — когда заглянул в окно на первом этаже и увидел, что она пишет. Потом он без любопытства заметил, сколько она получает и отправляет почты и что каждое утро она проводит какое-то время за обшарпанным, исцарапанным бюро в одной из почти нежилых, скудно обставленных комнат первого этажа и усердно пишет; прошел еще год, прежде чем он узнал, что получает она личные и деловые документы от полусотни отправителей, а посылает советы, деловые, финансовые и религиозные — директорам, попечителям, преподавателям, советы

личные и практические — девушкам-студенткам и даже выпускницам десятка негритянских колледжей и школ на Юге. Время от времени она исчезала из дома на три-четыре дня, и, хотя при желании он мог видеть ее каждую ночь, год прошел, прежде чем он выяснил, что во время отлучек она посещает школы и беседует с преподавателями и учениками. Дела ее вел адвокат-негр в Мемфисе, который состоял в попечительском совете одной из школ и держал в своем сейфе, помимо завещания, написанную ее рукой инструкцию, как распорядиться ее телом после смерти. Узнав это, он понял отношение к ней города, хотя знал, что городу известно еще меньше, чем ему. Сказал себе: «Значит, здесь меня не потревожат».

Однажды ему пришло в голову, что она ни разу не пригласила его в самый дом. Он ни разу не был дальше кухни, куда заходил уже самовольно, осклабясь, с мыслью: «Сюда она уже не может меня не пустить. Сама небось знает». Да и на кухню он днем не ходил иначе как за едой, которую она готовила ему и оставляла на столе. А когда он входил в дом ночью, он входил, как в первую ночь; он чувствовал себя вором, грабителем, даже поднимаясь в спальню, где она его ждала.

Даже спустя год он входил к ней так, словно каждый раз заново должен был лишать ее невинности. Словно каждая ночь ставила его перед необходимостью снова лишить ее того, чего давно лишил — или не смог лишить и никогда не сможет.

Иногда он так об этом и думал, вспоминая ее непокорную, без слез и жалоб, почти мужскую сдачу. Духовная уединенность, так долго не нарушавшаяся, что ее собственный инстинкт самосохранения принес ее в жертву; физически воплотившаяся в мужскую силу и стойкость. Раздвоение личности: с одной стороны — женщина, при первом взгляде на которую в свете поднятой свечи (а может быть, при первом звуке приближающихся ног в шлепанцах) перед ним мгновенно, как пейзаж при вспышке молнии, открылись виды на прибежище и удобную связь, если не наслаждение; с другой — мужские мускулы и мужской склад ума, воспитанного наследием и окружением, с которым он должен был биться до смертного часа. Не было женской нерешительности, не было стыдливости, скрывающей желание и намерение в конце концов уступить. Казалось, что боролся он с мужчиной, за предмет, не представляющий для обоих ника-

кой ценности, боролся только из принципа.

Увидев ее после этого, он подумал: «Господи. Как плохо я знаю женщин, а думал, что знаю хорошо». Это было на следующий же день; глядя на нее, слушая ее, нельзя было представить себе то, о чем вот уже двенадцать часов знала память; думалось *Под одеждой у нее не может быть такого, чтобы это могло случиться* Тогда он еще не работал на фабрике. Почти весь день он пролежал — на койке, которую она дала ему, в хибарке, куда она пустила его, — с сигаретой в зубах, закинув руки за голову. «Господи, — думал он, — как будто я был женщиной, а она мужчиной». Но и это было не совсем так. Потому что она сопротивлялась до последней секунды. И все же сопротивление было не женское, не то сопротивление, которое ни один мужчина не может преодолеть, если оно не притворно, ибо женщины не соблюдают правил физической борьбы. Она же сопротивлялась честно, по правилам, которые говорят, что при определенном положении кто-то побежден, продолжает он сопротивляться или нет. В ту ночь он ждал, покуда свет не уплыл из кухни и затем не появился в ее комнате. Он пошел к дому. Пошел не с вожделением, а со спокойной яростью. «Я ей

покажу», — сказал он вслух. Он не старался двигаться тихо. Вошел в дом нагло и стал подниматься по лестнице; она услышала его сразу. «Кто там?» — сказала она. Но в голосе ее не было тревоги. Он не ответил. Он поднялся по лестнице и вошел в комнату. Она была еще одета и, когда он вошел, обернулась к двери. Но ничего не сказала. Только смотрела на него, пока он шел к столу и, думая: «Сейчас побежит», — задувал лампу. Он прыгнул к двери, чтобы ее перехватить. Но она не побежала. Он нашел ее в темноте, на том же самом месте, где она стояла при свете, в той же позе. Он стал рвать с нее одежду. Приговаривал грубым, сдавленным, тихим голосом: «Я тебе покажу! Покажу, сука!» Она не противилась. Наверно, даже помогала ему, слегка изменяя положение конечностей, когда возникала нужда в последней помощи. Но тело ее в его руках было как труп — разве что не окоченевший. Однако он не отступался; и если руки его действовали грубо и настойчиво, то только от ярости. «Наконец-то хотя бы женщину из нее сделал, — думал он. — Теперь она меня ненавидит. Хотя бы этому ее научил».

Весь следующий день он опять пролежал в хибарке. Ничего не ел; даже не пошел на кухню

посмотреть, не оставила ли она ему еды. Ждал заката, сумерек. «И отвалю», — думал он. Он думал, что больше ее не увидит. «Лучше отвалить, — думал он. — Не дам ей выгнать меня из хибарки. Хоть этого-то не допущу. Не бывало еще, чтобы белая баба меня выставила. Только черная раз турнула, прогнала меня». И он лежал на койке, курил, ждал заката. В открытую дверь он видел, как спускается солнце, растягивая тени, становится медным. Потом медное погасло в лиловом, в густых лиловых сумерках. Он услышал лягушек, и за открытой дверью полетели светляки, становясь все ярче по мере того, как темнело. Потом он встал. Все его имущество состояло из бритвы; сунув ее в карман, он был готов в дорогу — хоть в милю длиной, хоть в тысячу, куда бы ни повела эта улица с незаметными поворотами. Однако направился он к дому. Как будто почувствовав, что ноги несут его туда, он уступил, покорился, сдался, думая *Ладно ладно,* паря, плывя в сумраке к дому, к заднему крыльцу, к двери, которая никогда не запиралась. Но когда он потянул за ручку, дверь не открылась. В первый миг ни рука, ни сам он этому не поверили; он стоял тихо, еще не думая, глядел, как рука дергает дверь, слушал бряканье засова.

Потом тихо повернулся. Еще не чувствуя гнева. Он пошел к кухонной двери. Ожидая, что и она заперта. Он не сознавал, что хочет этого, пока не увидел, что она открыта. Когда он обнаружил, что она не заперта, это было как оскорбление. Словно враг, которого он старался растоптать и опозорить, стоял перед ним, невозмутимый и невредимый, и разглядывал его задумчиво, с убийственным презрением. Войдя на кухню, он не направился к двери в дом — двери, где она стояла со свечкой в ту ночь, когда он впервые ее увидел. Он пошел прямо к столу, где она оставила ему еду. Ему незачем было видеть. Видели руки; тарелки были еще чуть теплые; он думал *Выставила для нигера. Для нигера*

Он словно издали наблюдал за своей рукой. Наблюдал, как она поднимает тарелку, заносит и держит над головой, а сам напряженно размышлял, глубоко и медленно дыша. Он услышал свой голос, прозвучавший громко, словно шла игра: «Ветчина», — и видел, как рука с силой швырнула тарелку в стену, в невидимую стену; выждал, пока смолкнет грохот, снова разольется тишина, и только тогда взял другую. Он держал ее на весу, принюхиваясь. На этот раз пришлось гадать. «Бобы или зелень? — сказал

он. — Бобы или шпинат?.. Ладно. Будем считать, бобы». Он швырнул ее с силой, дождался, пока стихнет грохот. Поднял третью тарелку. «Что-то с луком», — сказал он, думая *А приятно. Почему мне раньше не пришло в голову!* «Бабий корм». Швырнул ее сильно, не торопясь, услышал грохот, подождал. Затем услышал новый звук: шаги в доме, приближаются к двери. «На этот раз она придет с лампой, — подумал он, и в голове мелькнуло *Если бы оглянулся, увидел бы свет под дверью* А рука в это время опять замахнулась тарелкой *Сейчас она почти у двери* «Картошка», — произнес он наконец рассудительно и твердо. Он не оглянулся — даже когда услышал, как за дверью отодвинули засов и как отворилась дверь, впустив свет туда, где он стоял, подняв над головой тарелку. «Да, это картошка», — сказал он вдумчиво, ничего не замечая вокруг, как ребенок, играющий сам с собой. Теперь он и услышал и увидел, как тарелка разбилась. Затем свет пропал; снова послышался зевок двери, снова стукнул засов. Он так и не оглянулся. Он взял следующую тарелку. «Свекла, — сказал он. — Все равно, я свеклу не люблю».

На другой день он устроился на деревообделочную фабрику. Он вышел на работу в пятницу.

Последний раз он ел в среду ночью. Жалованье получил только в субботу вечером, проработав вторую половину дня сверхурочно. В субботу вечером он поел в городском ресторане — впервые за три дня. В дом он больше не наведывался. Первое время он даже не смотрел на него, когда шел к себе в хибарку или из хибарки. За шесть месяцев он протоптал собственную тропинку от хибарки к фабрике. Она пролегла прямо, как по нитке, минуя все дома, почти сразу углубляясь в лес, а из лесу — прямо к его рабочему месту у кучи опилок, и с каждым днем делалась все четче. В пять тридцать, когда раздавался гудок, он возвращался тропинкой к себе и, перед тем как пройти еще две мили до города, чтобы поесть, переодевался в белую рубашку и темные глаженые брюки, словно стыдясь своего комбинезона. А может, это был не стыд, хотя, вероятно, он так же не способен был понять, что это такое, как не способен был понять, что это не стыд.

Он уже не старался не замечать дома; но если и замечал, то невзначай. Сначала он думал, что она пошлет за ним. «Она первая подаст знак», — думал он. Но она не подавала знака; немного погодя он стал думать, что уже и не ждет этого. И все же, когда он в первый раз сознатель-

но посмотрел на дом, в голову ему бросилась кровь и сразу отхлынула; тогда он понял, что все время боялся увидеть ее, боялся, что все это время она наблюдала за ним со спокойным и нескрываемым презрением; ему показалось, будто он потеет, будто он преодолел тяжкое испытание. «С этим покончено, — подумал он. — Теперь я с этим справился». И когда это действительно случилось, он не испытал потрясения. Возможно, он был подготовлен. Во всяком случае, когда он совершенно случайно взглянул туда и увидел ее на заднем дворе в сером платье и чепце, кровь не бросилась ему в голову. Он не мог понять, следила ли она за ним все это время, видела ли его, следит ли за ним сейчас или нет. «Ты меня не трожь, и я тебя не трону», — подумал он с мыслью *Это мне приснилось. Этого не было. Нет у ней под одеждой такого, чтобы это могло случиться*

Он поступил на работу весной. Однажды вечером, в сентябре, он вернулся домой, вошел в хибарку и замер от изумления. Она сидела на койке и смотрела на него. Сидела с непокрытой головой. Он еще ни разу не видел ее с непокрытой головой, хотя в темноте, на темной наволочке, ощущал присутствие массы волос,

распущенных, но еще не встрепанных. Видеть же их ему еще не приходилось, и теперь он стоял, глядя только на волосы, а она наблюдала за ним; вдруг он сказал себе, в тот же миг сдвинувшись с места: «Она пытается *Так и знал, что с проседью* Пытается быть женщиной и не умеет». Думая, зная *Пришла поговорить*ь Два часа спустя они еще разговаривали, сидя бок о бок на койке в полной темноте. Она рассказала ему, что ей сорок один год, что она родилась и прожила всю жизнь в этом доме. Что ни разу не уезжала из Джефферсона больше чем на полгода — и то редко, тоскуя по дому, по обыкновенным этим доскам, гвоздям, земле, деревьям, кустам, составлявшим местность, которая была чужбиной для нее и ее родни; и даже сейчас, спустя сорок лет, когда она говорила, между смазанных согласных и тусклых гласных края, куда ее зашвырнула жизнь, говор Новой Англии слышался так же ясно, как в речи ее родных, которые никогда не покидали Нью-Гемпшира и которых она видела, может быть, раза три за всю жизнь, за свои сорок лет. Свет мерк, ровный, неумолчный, почти мужского тембра голос шел уже неведомо откуда, и Кристмас, сидя рядом с ней на темной койке, думал: «Она такая же, как все. Семнадцать им или со-

рок семь, но когда приходит пора сдаваться, они не могут обойтись без слов».

Калвин Берден был сыном священника, которого звали Натаниэль Беррингтон. Младший, десятый ребенок в семье, он сбежал из дому на корабле в возрасте двенадцати лет, еще не умея (или не желая, как думал отец) написать свое имя. Он совершил плавание вокруг мыса Горн в Калифорнию и перешел в католичество; год прожил в монастыре. Десятью годами позже он явился в Миссури с Запада. Через три недели после приезда он женился на девушке из гугенотской семьи, эмигрировавшей из Каролины через Кентукки. На другой день после венчания он сказал: «Пора, пожалуй, остепениться». И начал остепеняться в тот же день. Свадьба еще была в разгаре, а он уже предпринял первый шаг: официально объявил о своем отречении от католической церкви. Он сделал это в салуне, настаивая, чтобы все присутствующие выслушали его и высказали свои возражения; особенно он настаивал на возражениях, хотя их не было — то есть до тех пор, покуда его не увели друзья. На другой день он сказал, что говорит совершенно серьезно, что он не желает принадлежать к церкви лягушатников и рабо-

владельцев. Это было в Сент-Луисе. Он купил там дом и через год стал отцом. Тогда он сказал, что год назад порвал с католической церковью ради спасения души сына; мальчика же чуть ли не с пеленок он принялся обращать в веру своих новоанглийских предков. Унитарианской молельни поблизости не было, и английскую Библию Берден читать не умел. Зато у священников в Калифорнии он научился читать по-испански, и, как только ребенок начал ходить, Берден (теперь он называл себя Берденом, ибо, как пишется настоящая фамилия, он не знал, а священники научили его рисовать ее именно так — хотя веревка, нож и рукоять пистолета все равно ему были сподручней пера) начал читать ребенку привезенную из Калифорнии испанскую книгу, то и дело прерывая плавное, благозвучное течение мистики на иностранном языке корявыми экспромтами и рассуждениями, состоявшими наполовину из унылой и бескровной логики, которую он перенимал у отца нескончаемыми новоанглийскими воскресеньями, и наполовину из немедленной геенны и осязаемой серы, каким позавидовал бы любой проповедник-методист. Они сидели в комнате вдвоем: высокий, худой, нордического вида мужчина и маленький смуг-

лый живой мальчик, унаследовавший масть и сложение от матери, — словно люди двух разных рас. Когда мальчику было лет пять, Берден, заспорив с каким-то человеком о рабстве, убил его и вынужден был вместе с семьей бежать, покинуть Сент-Луис. Он уехал на Запад, «подальше от демократов».

Поселок, где он обосновался, состоял из лавки, кузницы, церкви и двух салунов. Здесь Берден большую часть времени проводил в разговорах о политике — грубым громким голосом проклиная рабство и рабовладельцев. Слава его дошла и сюда, было известно, что он носит пистолет, и мнениям его внимали, по меньшей мере не переча. Время от времени, особенно субботними вечерами, он приходил домой, переполненный неразбавленным виски и раскатами собственных тирад. Тогда он твердою рукой будил сына (мать уже умерла, родив еще трех дочерей, как на подбор голубоглазых). «Либо я научу тебя ненавидеть два зла, — говорил он, — либо я с тебя шкуру спущу. Эти два зла — ад и рабовладельцы. Ты меня слышишь?»

«Да, — отвечал мальчик. — Тут не захочешь — услышишь. Ложись, дай мне поспать».

Он не был веропроповедником, миссионером.

Если не считать нескольких незначительных эпизодов с применением огнестрельного оружия — к тому же без единого смертельного исхода, — он ограничивал себя кругом семьи. «Провались они все в свой закоснелый ад, — говорил он детям. — Но в вас четверых я буду вбивать возлюбленного Господа, покуда владею рукой». И делал это по воскресеньям. Каждое воскресенье, вымывшись, во всем чистом, — дети в ситце и парусине, отец в суконном сюртуке, оттопырившемся на бедре из-за пистолета, и в плиссированной рубашке без воротничка, которую старшая дочь отглаживала по субботам не хуже покойной матери, — они собирались в чистой, топорно обставленной гостиной, и Берден читал некогда позолоченную и разукрашенную книгу на языке, которого никто из них не понимал. Он продолжал это делать до тех пор, пока его сын не сбежал из дому.

Мальчика звали Натаниэлем. Он сбежал в четырнадцать лет и шестнадцать лет не возвращался, но два раза за это время от него приходили устные вести. Первый раз — из Колорадо, второй раз — из Мексики. Он не сообщал, что он делает в этих местах. «Все было благополучно, когда я уезжал», — сказал посланец. Это был

второй посланец; дело происходило в 1863 году, и гость завтракал на кухне, заглатывая пищу с чинным проворством. Три девочки, старшие две — уже почти взрослые, прислуживали ему, стоя около дощатого стола в простых широких платьях, с тарелками в руках, слегка разинув рты, а отец сидел за столом напротив гостя, подперши голову единственной рукой. Другую руку он потерял два года назад в Канзасе, сражаясь в отряде партизанской конницы; борода и волосы его уже поседели. Но он был по-прежнему силен и сюртук его по-прежнему оттопыривала рукоятка тяжелого пистолета.

— Он попал в небольшую передрягу, — рассказывал приезжий. — Но когда я в последний раз о нем слышал, все было благополучно.

— В передрягу? — переспросил отец.

— Убил мексиканца, который говорил, будто он украл у него лошадь. Вы же знаете, как эти испанцы относятся к белым людям, даже когда они мексиканцев не убивают. — Приезжий отпил кофе. — Да ведь, пожалуй, без строгости там нельзя — столько овечек в страну понаехало, да и мало ли что… Покорно благодарю, — сказал он старшей дочери, которая выложила ему на тарелку стопку горячих кукурузных оладьев, — спа-

сибо, хозяйка, я достану, достану до подливки. Люди говорят, что это вовсе и не мексиканца лошадь. Говорят, у него лошади сроду не было. Да ведь и испанцам приходится держать народ построже, когда из-за этих приезжих с Востока о Западе и так идет дурная слава.

Отец хмыкнул.

— Побожиться могу. Если была передряга, побожиться могу, что без него не обошлось. И скажите ему, — окончательно разъярился отец, — если он позволит этим желтопузым попам себя охмурить — на месте пристрелю, все равно как мятежника.

— Скажите ему, чтоб домой приезжал, — вмешалась старшая дочь. — Вот что ему скажите.

— Хорошо, хозяйка, — ответил приезжий. — Непременно скажу. Мне сейчас надо на Восток заехать, в Индиану. Но как вернусь, сразу его разыщу. Скажу непременно. Ах да, чуть не забыл. Он велел передать, что женщина и ребенок живы и здоровы.

— Чья женщина и ребенок? — сказал отец.

— Его, — ответил гость. — Еще раз покорно вас благодарю. И всего вам хорошего.

Перед тем как увидеться с ними, сын дал знать о себе в третий раз. В один прекрасный день они

услышали, как он кричит перед домом — правда, где-то вдалеке. Это было в 1866 году. Семья еще раз переехала — еще на сто миль к западу, и сын, пока нашел их, потерял два месяца, катая взад-вперед по Канзасу и Миссури на тарантасе, под сиденьем которого валялись, как пара старых башмаков, два кожаных мешочка с золотым песком, новыми монетами и необработанными камешками. Когда сын с криком подъехал к обложенной дерном халупе, перед дверью на стуле сидел мужчина. «Вон отец, — сказал Натаниэль женщине, которая ехала рядом с ним. — Видишь?» Хотя отцу не было шестидесяти, зрение у него ослабло. Он только тогда узнал сына, когда тарантас остановился и сестры с криками высыпали из дома. Тут он поднялся и издал долгий трубный рев. «Вот мы и дома», — сказал Натаниэль.

Калвин не произнес ни единой фразы. Он только кричал и ругался. «Шкуру спущу! — ревел он. — Дочки! Ванги! Бекки! Сара!» Сестры уже были тут. В своих сборчатых юбках они словно вылетели из двери или выплыли, как шары в потоке воздуха, с пронзительными криками, тонувшими в трубном реве отца. Его сюртук — сюртук богача, или удалившегося на покой, или просто

воскресный — был расстегнут, и он дергал что-то у пояса таким же движением и с таким выражением лица, с каким вытаскивал бы пистолет. Но он просто стаскивал с брюк единственной рукой свой кожаный ремень и через мгновение, размахивая им, ринулся сквозь голосистую вьющуюся стайку женщин. «Я тебя проучу! — ревел он. — Я тебе покажу, как убегать!» Ремень дважды хлестнул Натаниэля по плечам. Он успел хлестнуть дважды, прежде чем мужчины сцепились.

Это было вроде игры: смертельной игры, нешуточной забавы, игры двух львов, которая может кончиться, а может и не кончиться кровью. Они схватились, ремень повис: лицом к лицу, грудь в грудь стояли они — худой старик с сединой в бороде и светлыми глазами северянина и молодой, ничем на него не похожий, с крючковатым носом и белыми зубами, оскаленными в улыбке. «Перестань, — сказал Натаниэль. — Ты что, не видишь, кто смотрит на нас с тарантаса?»

До сих пор никто из них даже не взглянул в сторону тарантаса. Там сидела женщина и мальчик лет двенадцати. Отец только раз взглянул на женщину; на мальчика ему уже незачем было смот-

реть. Он только взглянул на женщину, и челюсть у него отвисла, словно он увидел привидение. «Евангелина!» — сказал он. Она была похожа на его покойную жену, как родная сестра. Сын, едва ли и помнивший свою мать, взял себе в жены женщину, которая была почти ее копией.

«Это Хуана, — сказал он. — С ней Калвин. Мы приехали домой, чтобы пожениться».

Вечером после ужина, уложив ребенка и женщину спать, Натаниэль стал рассказывать. Сидели вокруг лампы: отец, сестры, вернувшийся сын. У них там, объяснял Натаниэль, священников не было — одни попы, католики. «И вот, когда стало ясно, что она ждет чико[2], она начала поговаривать о попе. Но не мог же я допустить, чтобы Берден родился нехристем. Ну и начал кого-нибудь присматривать, чтобы ее ублажить. А тут то одно, то другое, — так я и не выбрался за священником; а потом мальчик родился, и спешить уже было некуда. А она все беспокоится — насчет попа и прочего, и тут как раз, годика через два, я услышал, что в Санта-Фе в какой-то день будет белый священник. Ну, собрались мы, поехали — и поспели в Санта-Фе как раз, чтобы полюбоваться

---

[2] Сноски: 2
Малыша *(исп.)*.

на пыль от дилижанса, который увозил священника. Ну, стали дальше ждать, и годика еще через два нам опять представился случай, в Техасе. А тут, как нарочно, я с конной полицией связался — помогал им уладить небольшую заваруху, когда там с одним помощником шерифа на танцах невежливо обошлись. А когда все кончилось, мы просто решили, что поедем домой и женимся по-человечески. Вот и приехали».

Отец сидел под лампой, худой, седой и строгий. Он слушал, но лицо его было задумчиво и выражало какую-то жарко дремлющую мысль, растерянность и возмущение. «Еще один чернявый Берден, бесово племя, — сказал он. — Люди подумают, у меня от работорговки дети. А теперь — он с такой же. Сын слушал молча и даже не пытался объяснить отцу, что женщина испанка, а не мятежница. «Проклятые чернявые недоростки — не растут, потому что гнетет их тяжесть Божьего гнева, чернявые, потому что грех человеческого рабства травит им кровь и плоть». Взгляд у него был отсутствующий, фанатичный, убежденный. «Но теперь мы их освободили — и чернявых и белых, всех. Теперь они посветлеют. Через сотню лет опять сделаются белыми людьми. Тогда мы, может, пустим их

обратно, в Америку». Он умолк в задумчивости, медленно остывая. «Ей-богу, — сказал он вдруг, — хоть и чернявый, а все равно у него мужская стать. Ей-богу, большой будет, в деда — не плюгавец вроде отца. Пускай мамаша чернявая и сам чернявый, а будет большой».

Все это она рассказывала Кристмасу, сидя с ним рядом на его кровати; в хибарке темнело. За час они ни разу не пошевелились. Теперь он совсем не видел ее лица, слушал вполуха; от голоса женщины его укачивало, как в лодке; неохватный, не вызывавший отзвуков в памяти покой навевал дремоту. «Его звали Калвином, как дедушку, и он был высокий, как дедушка, хотя смуглый в бабушкину родню и в мать. Мне она не была матерью: он мне единокровный брат. Дедушка был последним из десяти, отец был последним из двух, а Калвин был самым последним». Ему только что исполнилось двадцать лет, когда его убил в городе, в двух милях от этого дома, бывший рабовладелец и конфедератский офицер по фамилии Сарторис; дело шло об участии негров в выборах.

Она рассказала Кристмасу про могилы — брата, деда, отца и двух его жен — на бугре, под виргинскими можжевельниками, на выгоне в полумиле

от дома; слушая молча, Кристмас думал: «Ага. Поведет меня смотреть. Придется сходить». Но она не повела. После этой ночи, когда она сказала ему, где они и что он может пойти посмотреть на них, если хочет, она ни разу не заговаривала с ним о могилах.

— Впрочем, может, вы их и не найдете, — сказала она. — Потому что в тот вечер, когда деда и Калвина привезли домой, отец дождался темноты, похоронил их и скрыл могилы — сровнял холмики, забросал кустами и мусором.

— Скрыл? — сказал Кристмас.

В голосе ее не было ничего женственного, скорбного, мечтательного.

— Чтобы их не нашли. Не могли вырыть. И надругаться, чего доброго. — И с легким нетерпением продолжала: — Нас тут ненавидели. Мы были янки. Пришлые. Хуже, чем пришлые: враги. Саквояжники. А она — война — была еще слишком свежа в памяти, и даже побежденные не успели образумиться. Подбивают негров на грабежи и насилие — вот как это у них называлось. Подрывают главенство белых. Думаю, полковник Сарторис прослыл героем в городе, когда убил двумя выстрелами из пистолета однорукого старика и мальчика, который не успел даже про-

голосовать в первый раз. Возможно, они были правы. Не знаю.

— Ну? — сказал Кристмас. — Они и так могли? Выкопать их уже убитых, мертвых? Когда же люди разной крови перестанут ненавидеть друг друга?

— Когда? — Ее голос пресекся. Потом она продолжала: — Не знаю. Не знаю, вырыли бы их или нет. Меня еще не было на свете. Я родилась через четырнадцать лет после того, как убили Калвина. Не знаю, на что тогда были способны люди. Но отец думал, что они на это способны. Поэтому скрыл могилы. А потом умерла мать Калвина, и он похоронил ее там же, с Калвином и дедушкой. Так что незаметно это стало чем-то вроде нашего семейного кладбища. Может быть, отец не собирался ее там хоронить. Я помню, мать (ее прислали по просьбе отца наши нью-гемпширские родственники вскоре после того, как умерла мать Калвина. Он ведь остался один. Думаю, если бы Калвин и дедушка не были здесь похоронены, он бы уехал), мать говорила, что отец совсем уже собирался уезжать, когда умерла мать Калвина. Но она умерла летом, и по жаре нельзя было везти ее в Мексику, к родным. И он похоронил ее здесь. Поэтому, наверно,

здесь и остался. А может, потому, что начал стареть, и все, кто воевал в Гражданскую, тоже постарели, а негры в общем-то никого не убили и не изнасиловали. Словом, похоронил ее здесь. Эту могилу ему тоже пришлось скрыть — думал, вдруг кто-нибудь увидит ее и вспомнит про Калвина и дедушку. Не хотел рисковать, хотя все давно прошло и кончилось и поросло быльем. А на следующий год он написал нашему родственнику в Нью-Гемпшир. Он написал: «Мне пятьдесят лет. У меня есть все, чего она пожелает. Пришлите мне хорошую жену. Мне все равно, кто она, лишь бы хозяйка была хорошая и не моложе тридцати пяти лет». И послал в конверте деньги на билет. А через два месяца сюда приехала моя мать, и они в тот же день поженились. Скоропалительная была свадьба — для него. В первый раз — когда они с Калвином и матерью Калвина отыскали дедушку в Канзасе — ему, чтобы жениться, понадобилось двенадцать лет. Приехали они в середине недели, а свадьбу отложили до воскресенья. Устроили ее на воздухе, у ручья, зажарили бычка, поставили бочонок виски, и пришли туда все, кого им удалось позвать и кто сам прослышал. Собираться начали в субботу утром, а вечером приехал

проповедник. Сестры отца весь день шили матери Калвина свадебное платье и фату. Платье они сшили из мучных мешков, а фату — из москитной сетки, которой хозяин салуна закрывал картину над стойкой. Сетку одолжили на время. Даже Калвину сделали что-то вроде костюма. Тогда ему шел тринадцатый год, и они хотели, чтобы он был шафером. Он не хотел. Накануне ночью он узнал, что ему предстоит, и на другой день (свадьбу хотели устроить часов в шесть или семь утра), когда все встали и позавтракали, обряд пришлось отложить — Калвин куда-то пропал. Наконец его отыскали, заставили надеть костюм, и свадьба состоялась — мать Калвина была в самодельном платье и москитной фате, а отец — в узорчатых испанских сапогах, которые он привез из Мексики, и с намазанными медвежьим салом волосами. Дедушка был посаженым отцом. Только, пока охотились за Калвином, он то и дело отлучался к бочонку, и когда подошла пора вести невесту, он вместо этого произнес речь. Пустился рассуждать о Линкольне и рабстве, и все допытывался, кто из присутствующих посмеет отрицать, что Линкольн для негров — все равно что Моисей для детей Израилевых и что Чермное море — это кровь, которая должна

пролиться, чтобы черный народ достиг обетованной земли. Унять его и возобновить церемонию удалось не скоро. После свадьбы молодые пробыли там с месяц. Но в один прекрасный день отец с дедушкой отправились на Восток, в Вашингтон, и приехали сюда, получив от правительства полномочия содействовать освобожденным неграм. Они все приехали в Джефферсон, кроме сестер отца. Две вышли замуж, младшая осталась жить с одной из них, а дедушка с отцом, Калвином и его матерью переехали сюда и купили дом. А затем случилось то, к чему они готовы были, наверно, с самого начала, и отец жил один, пока из Нью-Гемпшира не приехала моя мать. До этого они никогда друг друга не видели, даже на карточках. Они поженились в день ее приезда, а через два года родилась я, и отец назвал меня Джоанной, в честь матери Калвина. Думаю, что он и не хотел еще одного сына. Я плохо его помню. Он только раз запомнился мне как человек, как личность — это когда он повел меня смотреть могилы Калвина и дедушки. День был ясный, весной. Я, помню, не знала даже, зачем мы идем, но идти не хотела. Не хотела идти под деревья. Не знаю почему. Я же не могла знать, что там; мне было всего четыре года. Да если бы

и знала, ребенка это не могло напугать. Наверное, что-то было в отце, как-то через него на меня подействовала эта роща. Он оставил какой-то отпечаток на роще, и я чувствовала, что, когда вступлю туда, отпечаток перейдет на меня и я никогда не смогу этого забыть. Не знаю. Но он заставил меня пойти и, когда мы там стояли, сказал: «Запомни. Здесь лежат твой дед и брат, убитые не одним белым человеком, но проклятием, которому Бог предал целый народ, когда твоего деда, и брата, и меня, и тебя не было и в помине. Народ, проклятый и приговоренный на веки вечные быть частью приговора и проклятья белой расе за ее грехи. Запомни это. Его приговор и Его проклятие. На веки вечные. На мне. На твоей матери. На тебе, хоть ты и ребенок. Проклятие на каждом белом ребенке, рожденном и еще не родившемся. Никто не уйдет от него». А я сказала: «И я тоже?» И он сказал: «И ты тоже. Прежде всего — ты». Я видела и знала негров, сколько себя помню. Для меня они были то же самое, что дождь, комната, еда, сон. Но после этого они впервые стали для меня не просто людьми, а чем-то другим — тенью, под которой я живу. Живем мы все, все белые, все остальные люди. Я думала о том, как появляются и появляются на свет дети,

белые — и черная тень падает на них раньше, чем они первый раз вдохнут воздух. А черная тень представлялась мне в виде креста. И виделось, как белые дети, еще не вдохнув воздух, силятся вылезти из-под тени, а она не только на них, но и под ними, раскинулась, точно руки, точно их распяли на крестах. Я видела всех младенцев, которые появятся на свет, тех, что еще не появились, — длинную цепь их, распятых на черных крестах. Тогда я не могла понять, вижу я это или мне мерещится. Но это было ужасно. Ночью я плакала. Наконец я сказала отцу, попыталась сказать. Я хотела сказать ему, что должна спастись, уйти из-под этой тени, иначе умру. «Не можешь, — сказал он. — Ты должна бороться, расти. А чтобы расти, ты должна поднимать эту тень с собой. Но ты никогда не подымешь ее до себя. Теперь я это понимаю, а когда приехал — не понимал. Избавиться от нее ты не можешь. Проклятие черной расы — Божье проклятие. Проклятие же белой расы — черный человек, который всегда будет избранником Божьим, потому что однажды Он его проклял». Ее голос смолк. В неясном прямоугольнике раскрытой двери плавали светляки. Наконец Кристмас сказал:

— Я хотел у тебя спросить. Но теперь, кажется,

сам знаю ответ.

Она не шелохнулась. Голос ее был спокоен.

— Что?

— Почему твой отец не убил этого… как его звать — Сарториса?

— А-а, — сказала она. Снова наступила тишина. За дверью плавали и плавали светляки. — Ты бы убил. Убил бы?

— Да, — сказал он сразу, не задумываясь. Потом почувствовал, что она смотрит в его сторону, как будто может видеть его. Теперь ее голос был почти ласков — так он был тих, спокоен.

— Ты совсем не знаешь, кто твои родители?

Если бы она могла разглядеть его лицо, то увидела бы, что оно угрюмо, задумчиво.

— Знаю только, что в одном из них негритянская кровь. Я тебе говорил.

Она еще смотрела на него: он понял это по голосу. Голос был спокойный, вежливый, заинтересованный, но без любопытства.

— Откуда ты знаешь?

Он ответил не сразу. Наконец сказал:

— Я не знаю. — И снова умолк; но она поняла по голосу, что он смотрит в сторону, на дверь. Его лицо было угрюмо и совершенно неподвижно. Он снова пошевелился, заговорил: в голосе за-

звучала новая нотка, невеселая, но насмешливая, строгая и сардоническая одновременно. — А если нет, то много же я времени даром потерял, будь я проклят.

Теперь она тоже как будто раздумывала вслух, тихо, затаив дыхание, но по-прежнему не жалобясь, не зарываясь в прошлое:

— Я думала об этом. Почему отец не застрелил полковника Сарториса. Думаю — из-за своей французской крови.

— Французской крови? — сказал Кристмас. — Неужели даже француз не взбесится, если кто-то убьет его отца и сына в один день? Видно, твой отец религией увлекся. Проповедником, может, стал.

Она долго не отвечала. Плавали светляки, где-то лаяла собака, мягко, грустно, далеко.

— Я думала об этом, — сказала она. — Ведь все было кончено. Убийства в мундирах, с флагами и убийства без мундиров и флагов. И ничего хорошего они не дали. Ничего. А мы были чужаки, пришельцы и думали не так, как люди, в чью страну мы явились незваные, непрошеные. А он был француз, наполовину. Достаточно француз, чтобы уважать любовь человека к родной земле — земле его родичей — и понимать, что че-

ловек будет действовать так, как его научила земля, где он родился. Я думаю, поэтому.

12

Так начался второй период. Он словно свалился в сточную канаву. Словно из другой жизни оглядывался он на ту первую, суровую мужскую сдачу — сдачу суровую и тяжкую, как крушение духовного скелета, чьи ткани лопались с треском, почти внятным живому уху, — так что сам акт капитуляции был уже спадом, угасанием, как для разбитого генерала — утро после решающей битвы, когда, побрившись, в сапогах, отчищенных от грязи боя, он сдает свою саблю победителю.

Текло в канаве только ночью. Дни проходили как всегда. Он отправлялся на работу в половине седьмого утра. Он выходил из хибарки, не оглянувшись на дом. В шесть вечера он возвращался, опять не взглянув на дом. Мылся, надевал белую рубашку и темные отглаженные брюки, шел на кухню, где его ждал на столе ужин, садился и ел, так и не видя ее. Но он знал, что она в доме и что темнота, вползая в этот старый дом, надламывает что-то и растлевает ожиданием. Он знал, как она провела день; что и у нее

дни проходили как обычно, словно и за нее дневную жизнь вел кто-то другой. Весь день он представлял себе, как она хозяйничает по дому, отсиживает положенный срок за обшарпанным бюро или расспрашивает, выслушивает негритянок, которые сходятся сюда со всего придорожья — тропинками, проторенными за много лет и разбегающимися от дома, как спицы от втулки. О чем они с ней говорили, он не знал, хотя не раз наблюдал, как они подходят к дому — не то чтобы тайком, но целеустремленно, чаще поодиночке, но иногда по двое, по трое, в фартуках, обмотавши головы платками, а то и в мужском пиджаке, наброшенном на плечи, а потом возвращаются восвояси по разбегающимся тропинкам, не спеша, но и не мешкая. Он вспоминал о них мельком, думая *Сейчас она делает то. Сейчас она делает это* но о ней самой думал немного. И был уверен, что днем она думает о нем не больше, чем он о ней. Но даже ночью в ее темной спальне, когда она настойчиво и подробно рассказывала ему о своих будничных дневных делах и настаивала, чтобы он рассказывал ей о своих, это было вполне в обычае любовников: властная и неутолимая потребность, чтобы будничные дела обоих были изложены в словах, слушать которые вовсе

не обязательно. Поужинав, он шел туда, где она его ждала. Часто он не спешил с этим. Время шло, новизна второго периода притуплялась, обращаясь в привычку, и он стоял в дверях кухни, глядя в темноту, и видел — наверно, предугадывая, предощущая недоброе — ждавшую его дикую и пустынную улицу, которую избрал по собственной воле — думая *Эта жизнь не для меня. Мне здесь не место*

Сначала он был потрясен — жалким неистовством новоанглийского ледника, вдруг преданного пламени новоанглийского библейского ада. Возможно, он понимал, сколько в этом самоотречения: под властным бешеным порывом скрывалось скопившееся отчаяние яловых непоправимых лет, которые она пыталась сквитать, наверстать за ночь, — так, словно это ее последняя ночь на земле, — обрекая себя на вечный ад ее предков, купаясь не только в грехе, но и в грязи. У нее была страсть к запретным словам, ненасытное желание слышать их от него и произносить самой. Она обнаруживала пугающее, простодушное, детское любопытство к запретным темам и предметам — глубокий, неутомимый, научный интерес хирурга к человеческому телу и его возможностям. А днем он видел уравновешен-

ную, хладнолицую, почти мужеподобную, почти немолодую женщину, которая прожила двадцать лет в одиночестве, без всяких женских страхов, в уединенном доме, в местности, населенной — и то редко — неграми, которая каждый день в определенное время спокойно сидела за столом и спокойно писала старым и молодым письма с советами духовника, банкира и медицинской сестры в одном лице.

В этот период (его нельзя было назвать медовым месяцем) Кристмас мог наблюдать на ней всю эволюцию женской любви. Вскоре ее поведение уже не просто коробило его — оно его изумляло, озадачивало. Ее припадки ревности застигали его врасплох. Опыта в этом у нее не могло быть никакого; ни причин для сцены, ни возможной соперницы не существовало — и он знал, что она это знает. Она будто изобретала это все нарочно — разыгрывала, как пьесу. Но делала это с таким исступлением, с такой убедительностью и такой убежденностью, что в первый раз он решил, будто у нее бред, а в третий — счел ее помешанной. Она обнаружила неожиданную склонность к любовным ритуалам — и богатую изобретательность. Она потребовала устроить тайник для записок, писем. Им служил полый столб

ограды за подгнившей конюшней. Он ни разу не видел, чтобы она клала в тайник записку, но она требовала, чтобы он наведывался туда ежедневно; когда он проверял тайник, он непременно находил письмо. А когда, не проверив, лгал ей, оказывалось, что она уже расставила ловушки, чтобы поймать его на лжи. Она плакала, рыдала.

Иногда в записке она не велела ему приходить раньше такого-то часа — и это в дом, куда за многие годы не заглядывал ни один белый, кроме него, и где вот уже двадцать лет она проводила все ночи одна; целую неделю она заставляла его лазить к ней через окно. При этом она иногда пряталась, и он искал ее по всему темному дому, покуда не находил в каком-нибудь чулане, в нежилой комнате, где она ждала его, тяжело дыша, с горящими, как угли, глазами. То и дело она назначала ему свидание где-нибудь под кустами в парке, и он находил ее голой, или в изодранной в клочья одежде, в буйном припадке нимфомании, когда ее мерцающее тело медленно корчилось в таких показательно-эротических позах и жестах, какие рисовал бы Бердслей, живи он во времена Петрония. Она буйствовала в душной, наполненной дыханием полутьме без стен,

буйствовали ее руки, каждая прядь волос оживала, как щупальце осьминога, и слышался буйный шепот: «Негр! Негр! Негр!»

За шесть месяцев она развратилась совершенно. Нельзя сказать, что развратил ее он. Его жизнь при всех беспорядочных, безымянных связях была достаточно пристойной, как почти всякая жизнь в здоровом и нормальном грехе. Происхождение порчи было для него еще менее понятно, чем для нее. Откуда что берется, удивлялся он; но мало этого: порча перешла на него самого. Он начал бояться. Чего — он сам не понимал. Но он уже видел себя со стороны — как человека, которого засасывает бездонная трясина. В мысль это еще не сложилось. Пока что он видел перед собой только улицу — безлюдную, дикую и прохладную. Именно прохладную; он думал, иногда говоря себе вслух: «Надо уходить. Надо убираться отсюда».

Но что-то удерживало его — то, что всегда может удержать фаталиста: любопытство, пессимизм, обыкновенная инертность. Между тем связь продолжалась, все глубже и глубже затягивая его в деспотическое, изнурительное неистовство ночей. Вероятно, он понимал, что уйти не может. Во всяком случае, он никуда

не уходил и наблюдал, как борются в одном теле два существа — словно две мерцающие под луной фигуры, которые по очереди топят друг друга и судорожно выныривают на поверхность черного, вязкого пруда. То — спокойная, сдержанная, холодная женщина первой фазы, падшая и обреченная, но даже в падении своем и обреченности почему-то остававшаяся неприступной и неуязвимой; то — другая, вторая, в яростном отречении от этой неуязвимости стремившаяся в черную бездну и в бездне вновь обретавшая физическую чистоту — ибо берегла ее так долго, что теперь уже не могла потерять. Иногда они обе всплывали на черную поверхность, обнявшись, как сестры; черная вода стекала с них. И тогда возвращался прежний мир: комната, стены, мирный несметный хор насекомых за летними окнами, где насекомые гудели уже сорок лет. Она смотрела на него дикими, отчаянными глазами, как чужая; глядя на нее, он мысленно перефразировал себя: «Она хочет молиться, но и этого не умеет».

Она начала толстеть.

Эта фаза не оборвалась, не закончилась кульминацией, как первая. Она вылилась в третью фазу так постепенно, что он не мог бы сказать,

где завершилась одна и началась другая. Так лето переходит в осень, и осень неумолимо простирает на лето свою знобкую власть, словно тени при закате солнца; так в осени умирающее лето вспыхивает там и сям, словно пламя в угасающих углях. Это растянулось на два года. Он по-прежнему работал на фабрике, а в свободное время начал потихоньку продавать виски — очень осмотрительно, ограничиваясь несколькими надежными покупателями, ни один из которых не знал другого. Она не подозревала об этом, хотя запасы свои он прятал на ее земле и встречался с покупателями в лесу, за выгоном. Скорее всего она не стала бы возражать. Но и миссис Макихерн не стала бы возражать против потайной веревки; вероятно, ей и миссис Макихерн он не признавался по одной и той же причине. Размышляя о миссис Макихерн и о веревке, об официантке, которой он так и не сказал, где раздобыл для нее деньги, и, наконец, о нынешней любовнице и о виски, он готов был поверить, что продает виски не ради денег, а потому что обречен что-то скрывать от женщин, которые его окружают. Между тем ему случалось иногда увидеть ее и днем — издали, за домом: под чистым и строгим платьем жило и явственно шевелилось

подпорченное, переспелое, готовое хлынуть гнилью при одном прикосновении, как порождение болота; она же ни разу не оглянулась ни на хижину, ни на него. И когда он думал о том, другом существе, которое жило только в темноте, ему казалось, что сейчас, при дневном свете, он видит всего лишь призрак кого-то, умерщвленного ночной сестрой, и призрак этот бродит бесцельно по местам былого покоя, лишенный даже способности стенать.

Разумеется, первоначальное неистовство второй фазы не могло длиться без конца. Сначала это был водопад; теперь — приливы и отливы. Во время прилива она могла почти обмануть и себя и его. Как будто сознание, что это всего лишь прилив, рождало в ней яростный протест и еще большее неистовство, которое втягивало и его и ее в физические эксперименты, совершенно уже невообразимые, сметало их обоих своим напором и несло неведомо куда, помимо воли. Она как будто понимала, что времени в обрез, что осень ее уже приближается — не зная еще, что именно эта осень означает. Тут действовал, казалось, один инстинкт: животный инстинкт и инстинктивное желание сквитать потерянные годы. Затем наступал отлив. И они, изнуренные

и пресыщенные, валялись на суше, словно после утихшего мистраля, глядя друг на друга как чужие, безнадежно и укоризненно (он — со скукой, она — с отчаянием в глазах).

Но тень осени уже лежала на ней. Она заговорила о ребенке, словно инстинкт предупреждал ее, что настало время либо оправдываться, либо искупать. Она говорила об этом во время отливов. Первое время ночь всегда начиналась потопом, словно часы дневной разлуки подпирали иссякающий ручей, чтобы он хоть несколько мгновений мог изображать водопад. Но потом ручей стал слишком слаб даже для этого: теперь Кристмас шел к ней неохотно, как чужой, уже думая о возвращении; как чужой, уходил от нее, посидев с ней в темной спальне, побеседовав о ком-то третьем, тоже чужом. Он заметил, что теперь, словно сговорившись, они встречаются только в спальне, словно уже женаты. Ему больше не приходилось разыскивать ее по всему дому; ночи, когда он искал ее, а она, шумно дыша, голая пряталась в темном доме или в кустах запущенного парка, канули в прошлое, как тайник в заборном столбе за сараем.

Все кануло в прошлое: даже сцены, безупречно разыгрываемые сцены тайного безобразного сла-

дострастия и ревности. Хотя теперь у нее были основания для ревности — если бы она об этом знала. Примерно раз в неделю он уезжал, якобы по делам. Она не знала, что дела у него — в Мемфисе, где он изменяет ей с женщинами — женщинами, которых покупают за деньги. Она этого не знала. Возможно, в нынешнем своем состоянии она бы и не поверила, не стала выслушивать доказательства, нисколько бы не огорчилась. Потому что теперь у нее вошло в обыкновение проводить большую часть ночи без сна и отсыпаться днем после обеда. Она не была больна; виновато было не тело. Она была здорова, как никогда; аппетит у нее был волчий, она прибавила килограммов двенадцать. Бессонницу рождало не это. А что-то в самой темноте, в земле, в умирающем лете: оттуда грозило ей что-то ужасное, но инстинкт убеждал ее, что ей это не повредит; это настигнет и вероломно предаст ее, но вреда не причинит: наоборот, она будет спасена, жизнь пойдет по-прежнему и даже лучше, станет менее ужасной. Ужасно было то, что она спасения не желала. «Я еще не готова молиться», — говорила она вслух спокойно, беззвучно, застыв с широко раскрытыми глазами, а лунный свет лился и лился в окно, затопляя комнату холо-

дом непоправимости — безумных сожалений полный. «Не принуждай меня сейчас молиться. Боже, милый, позволь мне еще немного побыть падшей». Вся ее прошлая жизнь, голодные годы представлялись ей серым туннелем, в дальнем и невозвратном конце которого вечным укором ныла, как три коротких года назад, ее голая, умерщвленная девственностью грудь. «Боже, милый, еще немного. Боже, милый, еще немного».

Так что теперь, когда он приходил к ней и они вяло, холодно, только по привычке совершали обряд страсти, она начинала говорить о ребенке. Сперва она рассуждала об этом отвлеченно, как о детях вообще. Возможно, это было всего лишь инстинктивной женской уловкой, околичностью, возможно — нет. Во всяком случае, он далеко не сразу сообразил — и был ошеломлен своим открытием, — что обсуждает она это всерьез, как нечто вполне осуществимое. Он тут же сказал «Нет».

— Почему? — спросила она. Она смотрела на него задумчиво. Он быстро соображал, думал *Хочет замуж. Вот что. Ребенка хочет не больше, чем я.* «Просто уловка, — соображал он. — Этого и надо было ожидать, как же я не подумал. Надо было год назад отсюда убраться». Но он боялся

ей это сказать, боялся, чтобы слово «женитьба» не возникло между ними, не было произнесено вслух — прикидывал: «Может, она еще ничего не подумала, а я ей сам зароню эту мысль». Она наблюдала за ним.

— Почему — нет? — сказала она. И где-то у него мелькнуло *В самом деле — почему? Покой и обеспеченность до конца дней. И никаких скитаний. А чем женитьба хуже теперешнего-то* и он подумал: «Нет. Если поддамся, значит, напрасно прожил тридцать лет, чтобы стать тем, кем я решил стать». Он сказал:

— Если бы мы собирались иметь ребенка, я думаю, мы заимели бы его два года назад.

— Тогда мы не хотели.

— Мы и сейчас не хотим, — сказал он.

Это было в сентябре. Сразу после Рождества она сказала ему, что беременна. Она еще не успела договорить, а он уже решил, что она лжет. Теперь он сообразил, что ждал от нее этих слов уже больше трех месяцев. Но, посмотрев на ее лицо, он понял, что она не лгала. Поверил, что она знает, что не лжет. Он подумал: «Вот оно. Сейчас она скажет: женись. Но я по крайней мере могу вперед выскочить из дома».

Однако она не сказала. Она сидела на кровати

неподвижно, сложив руки на коленях, потупив неподвижное лицо (лицо северянки и все еще старой девы: с четким костяком, длинное, худоватое, почти мужеподобное; в противоположность ему, ее полное тело выглядело как никогда сдобным и по-животному спелым). Она сказала — задумчиво, бесстрастно, словно о ком-то постороннем: «Полной мерой. Даже незаконным ребенком от негра. Хотела бы видеть папино лицо и Калвина. Теперь тебе самое время бежать, если ты надумал». Но она как будто не слушала собственного голоса, не вкладывала в слова никакого смысла: последний всплеск упрямого умирающего лета, когда осень предвестием полусмерти нагрянет на него. «Теперь все, — спокойно думала она. — Кончено». Все — кроме ожидания, пока пройдет еще месяц, чтобы убедиться окончательно; это она узнала от негритянок — что иногда только на третьем месяце можно сказать наверняка. Ей придется ждать еще месяц, следить по календарю. Она сделала на календаре отметку, чтобы не ошибиться; из окна спальни она наблюдала, как этот месяц истекает. Подморозило, кое-где пожелтели листья. Отмеченный в календаре день настал и прошел; для верности она дала себе еще неделю. Она не ликовала,

поскольку другого и не ждала. «У меня будет ребенок», — спокойно сказала она вслух.

«Завтра уйду», — сказал он себе в тот же день. И подумал: «Уйду в воскресенье. Дождусь недельной получки — и до свиданья». С нетерпением стал ждать субботы, прикидывая, куда поедет. Всю неделю он с ней не встречался. Думал, что она его позовет. Заметил, что, входя к себе в хибарку и выходя, избегает смотреть на дом, как в первые недели. Он не видел ее совсем. Время от времени он видел негритянок, когда, укрывшись кое-как от осеннего холода, они шли привычными тропинками к дому или от дома, входили или выходили. Но и только. Наступила суббота, и он не уехал. «Подсоберу-ка еще деньжат, — думал он. — Если она меня не гонит, мне тоже не к спеху. Уеду в следующую субботу».

Он остался. Погода стояла холодная, ясная и холодная. Улегшись под бумажным одеялом в насквозь продуваемой хибарке, он думал о спальне в доме, с ее камином, широкими, пышными стегаными одеялами. Он готов был себя пожалеть, чего с ним никогда не случалось. «Могла хотя бы предложить мне другое одеяло», — думал он. Мог бы и сам купить. Но не покупал. А она не предлагала. Он ждал. Ждал, как ему показа-

лось, долго. И вот однажды вечером, в феврале, он вернулся домой и нашел на койке ее записку. Короткую, почти приказ — явиться ночью в дом. Он не удивился. Он ни разу не встречал женщины, которая не образумилась бы рано или поздно, если не имела другого мужчины взамен. Теперь он знал, что завтра уйдет. «Вот чего я, наверно, дожидался, — подумал он. — Ждал, когда смогу отплатить». Он не только переоделся, но и побрился. Он собирался как жених, сам того не сознавая. В кухне стол для него был накрыт как обычно; за все время, что он с ней не виделся, об ужине она не забыла ни разу. Он поел и отправился наверх. Не спеша. «У нас вся ночь впереди, — думал он. — Ей будет о чем вспомнить завтра и послезавтра ночью, когда увидит, что в хибарке пусто». Она сидела у камина. И когда он вошел, даже не повернула головы.

— Подвинь себе стул, — сказала она.

Так началась третья фаза. Поначалу она озадачила его даже больше, чем первые две. Он ожидал пыла, молчаливого признания вины; на худой конец — сговорчивости, если он начнет ее обхаживать. Он готов был даже на это. Но встретила его чужая женщина, которая со спокойной мужской твердостью отвела его руку, когда он,

окончательно потерявшись, попробовал ее обнять.

— Давай, — сказал он. — Если у тебя ко мне разговор. После этого разговор у нас лучше вяжется. Ребенку ничего не сделается, не бойся.

Она остановила его одним словом; впервые он взглянул на ее лицо: увидел лицо холодное, отрешенное и фанатическое.

— Понимаешь ли ты, — спросила она, — что попусту тратишь жизнь? — И он смотрел на нее окаменев, словно не мог поверить своим ушам.

До него не сразу дошел смысл ее слов. Она ни разу на него не взглянула. Она сидела с холодным, неподвижным лицом, задумчиво глядя в камин, и разговаривала с ним как с чужим, а он слушал ее оскорбленно и с изумлением. Она хотела, чтобы он взял на себя все ее дела с негритянскими школами — и переписку, и регулярные осмотры. Весь план у нее был продуман. Она излагала его в подробностях, а он слушал с растущим гневом и изумлением. Руководство переходит к нему, а она будет его секретарем, помощником: они будут вместе ездить по школам, вместе посещать дома негров; при всем своем возмущении он понимал, что план этот безумен. Но ее спокойный профиль в мирном свете камина был безмяте-

жен и строг, как портрет в раме. Выйдя от нее, он вспомнил, что она ни разу не упомянула о ребенке.

Он еще не верил, что она сошла с ума. Он думал, что всему виной — беременность, что из-за этого она и дотронуться до себя не позволяет. Он попробовал спорить с ней. Но это было все равно что спорить с деревом, она даже возражать не стала — спокойно выслушала его и хладнокровно продолжала говорить свое, как будто он не сказал ни слова. Когда он встал наконец и вышел, он даже не был уверен, что она это заметила.

За следующие два месяца он видел ее только раз. День у него проходил как всегда, с той только разницей, что он вообще не приближался к дому и опять ел в городе, как в первые месяцы работы на фабрике. Но в ту пору — когда он только начинал работать — ему не приходилось думать о ней днем; он вообще едва ли о ней думал. А теперь он ничего не мог с собой поделать. В мыслях его она была все время, чуть ли не перед глазами стояла — терпеливо ждущая его в доме, неотвязная, безумная. В первой фазе он жил как бы на улице, на земле, покрытой снегом, и пытался попасть в дом; во второй — на дне ямы, в жаркой бешеной

темноте; теперь он очутился посреди равнины, где не было ни дома, ни снега, ни даже ветра.

Теперь он начал бояться — он, которым владело до сих пор недоумение и еще, пожалуй, предчувствие недоброго, обреченность. Теперь у него был компаньон в торговле виски: новый рабочий по фамилии Браун, поступивший на фабрику ранней весной. Кристмас понимал, что этот человек дурак, но сначала думал: «Делать то, что я скажу, — на это по крайней мере ума у него хватит. Самому ему думать вообще не придется»; и лишь спустя какое-то время сказал себе: «Теперь я знаю, что такое дурак, — это тот, кто даже своего доброго совета не послушается». Он взял Брауна, потому что Браун был пришлый и была в нем какая-то веселая и шустрая неразборчивость и не слишком много отваги, зная, что в руках рассудительного человека трус, при всех его несовершенствах, может оказаться довольно полезным — для всех, кроме себя самого.

Он боялся, что Браун узнает про женщину в доме и по непредсказуемой своей глупости поломает ему все дело. Он опасался, что женщине, поскольку он ее избегал, взбредет в голову прийти как-нибудь ночью в хибарку. С февраля он виделся с ней только раз — когда пришел сказать,

что в хибарке с ним будет жить Браун. Это было в воскресенье. Он окликнул ее, она вышла к нему на заднее крыльцо и спокойно его выслушала. «В этом не было нужды», — сказала она. Тогда он не понял, что она имела в виду. И только впоследствии в голове вдруг возникло — целиком, опять как отпечатанная фраза *Она думает, я притащил его сюда, чтобы ее отвадить. Решила, будто я думаю, что при нем она побоится прийти в хибарку; что ей придется оставить меня в покое*

Так эту мысль, этот страх перед возможным ее поступком он заронил в себе сам, думая, что заронил в ней. Ему казалось, что, раз она так думает, присутствие Брауна не только не отпугнет ее: оно побудит ее прийти в хибарку. Из-за того, что уже больше месяца она ничего не предпринимала, не делала никаких шагов к сближению, ему казалось, будто она способна на все. Теперь он сам лежал по ночам без сна. Но он думал: «Я должен что-то сделать. Что-то я, кажется, сделаю».

И он хитрил, старался улизнуть от Брауна и прийти домой первым. Всякий раз боялся, что застанет ее там. А подойдя к хибарке и обнаружив, что она пуста, испытывал бессильную ярость оттого, что должен бояться, врать, спе-

шить, а она себе посиживает дома и только тем занята, что раздумывает, предать его сейчас или помучить еще немного. В другое время ему было бы все равно, знает Браун об их отношениях или нет. Скрытность или рыцарское отношение к женщине были не в его характере. Вопрос был практический, деловой. Его бы нисколько не смутило, если бы даже весь Джефферсон знал, что он ее любовник. Подпольное виски и тридцать — сорок долларов чистого дохода в неделю — вот из-за чего он не хотел, чтобы посторонние вникали в его частную жизнь. Это — одна причина. Другой причиной было тщеславие. Он скорей бы убил или умер, чем позволил кому-нибудь, все равно кому, узнать, во что превратились их отношения. Что она не только свою жизнь перевернула, но и его пытается перевернуть, сделать из него не то отшельника, не то миссионера среди негров. Он был уверен, что, если Браун хоть что-нибудь о них узнает, он неизбежно узнает и все остальное. И вот, подойдя наконец к лачуге, после всего этого вранья и гонки, и взявшись за ручку двери, он думал о том, как через секунду выяснится, что спешка была напрасной, а все же отказаться от этой предосторожности он не смеет, и люто ненавидел ее, стервенея от страха

и собственного бессилия. Но однажды вечером он открыл дверь и увидел на койке записку.

Увидел, едва вошел — квадратную, белую, непроницаемую на темном одеяле. Суть письма, обещание, которое в нем содержится, были настолько для него очевидны, что он ни на миг об этом не задумался. Нетерпения он не испытывал; он испытывал облегчение. «Ну, все теперь, — подумал он, еще не взяв сложенной бумажки. — Теперь все пойдет по-старому. Кончено с разговорами о нигерах и детях. Образумилась. Это в ней перегорело, поняла, что ничего не добьется. Поняла теперь, что ей мужчину нужно, мужчину хочется. Мужчина ей нужен ночью; чем он занимается днем — не имеет значения». Тут он должен был бы понять, почему до сих пор не уехал. Должен был бы сообразить, что затаившийся квадратик бумаги держит его крепче кандалов и замка. Но об этом он не думал. Он видел только, что ему опять светит, что впереди — наслаждение. Только теперь будет спокойней. Они оба так захотят; кроме того, теперь на нее есть управа. «Дурацкие штучки, — думал он, держа в руках все еще не раскрытое письмо, — чертовы штучки дурацкие. Она так и есть она, а я так и есть я. И после всего, что было, — эти дурац-

кие штучки», — и представил себе, как они будут смеяться сегодня ночью — позже, после, когда настанет время спокойно поговорить и спокойно посмеяться — над всей историей, друг над другом, над собой.

Он так и не раскрыл записку. Он отложил ее, вымылся, побрился и переоделся, все время насвистывая. Не успел он закончить, как пришел Браун.

— Так, так, так, — сказал Браун. Кристмас ничего не ответил. Он смотрелся в зеркальце, прибитое к стене, и завязывал галстук. Браун стал посреди комнаты: высокий, сухощавый молодой человек, в грязном комбинезоне, со смуглым безвольно-миловидным лицом и любопытными глазами. Возле рта у него был тоненький шрам, белый, как нитка слюны. Немного погодя Браун сказал: — Кажись, ты куда-то налаживаешься?

— Да ну? — сказал Кристмас. Он не обернулся. Он насвистывал — монотонно, но не фальшивя — что-то минорное, жалобное, негритянское.

— Я думаю, мне уж не стоит мыться, — сказал Браун, — раз ты собрался.

Кристмас обернулся к нему:

— Куда собрался?

— Разве ты не в город?

— А кто тебе сказал? — спросил Кристмас. И отвернулся к зеркалу.

— Ага, — сказал Браун. Он смотрел Кристмасу в затылок. — Значит, надо понимать, у тебя — свои дела. — Он наблюдал за Кристмасом. — Ночь больно холодна, чтобы лежать на сырой земле, когда подстилки-то всего — худая девочка.

— Не может быть, — сказал Кристмас и продолжал насвистывать, сосредоточенно и неторопливо завязывая галстук. Потом повернулся, поднял и надел пиджак; Браун наблюдал за ним. Кристмас двинулся к двери. — До завтра, — сказал он. Дверь за ним не закрылась. Он знал, что Браун стоит на пороге и смотрит ему в спину. Но он не собирался заметать следы. Пошел прямо к дому. «Пускай смотрит, — подумал он. — Пускай проводит, если хочется».

Стол в кухне был для него накрыт. Прежде чем сесть, он вынул из кармана нераскрытую записку и положил рядом с тарелкой. Записка была без конверта, не запечатана и раскрылась сама собой, словно приглашая прочесть, настаивая. Но он в нее не заглянул. Он принялся за еду. Ел не спеша. Он уже почти кончил, как вдруг поднял голову и прислушался. Потом встал, беззвучно, как кошка, подкрался к входной двери

и рывком распахнул ее. За порогом, прислонясь лицом к двери — вернее, к тому месту, где она была, — стоял Браун. Когда свет упал на его лицо, на нем был написан напряженный детский интерес; на глазах у Кристмаса он сменился удивлением, затем лицо отдернулось и приобрело нормальный вид. Голос у Брауна был торжествующий, но при этом тихий, осторожный, заговорщицкий, словно он уже принял сторону Кристмаса, заключил союз, не дожидаясь, когда его попросят, не вникая в суть дела — просто из солидарности с товарищем — или мужчиной вообще противу женщины.

— Так, так, так, — сказал он. — Значит, вот куда ты шастаешь по ночам. Прямо, можно сказать, под носом…

Не говоря ни слова, Кристмас ударил его. Удар получился несильный, потому что Браун уже пятился с невинным и радостным ржанием. От удара смех его пресекся; отпрянув, выпрыгнув из снопа света, Браун исчез в темноте, и оттуда опять послышался его голос, по-прежнему тихий, словно он даже теперь не хотел помешать планам товарища, но не спокойный — удивленный, испуганный: «Только ударь еще!» Кристмас наступал неторопливо и молча, Браун пятился;

он был выше ростом, но долговязая его фигура, уже нелепо скомканная бегством, казалось, вот-вот рассыплется окончательно и, гремя, повалится на землю. Снова послышался его голос, высокий, полный испуга и недостоверной угрозы: «Только ударь еще!» На этот раз удар пришелся в плечо, когда он поворачивался. Браун пустился наутек. Он отбежал метров на сто, прежде чем замедлил шаги и посмотрел назад. Потом стал и обернулся. «Итальяшка желтобрюхий», — сказал он для пробы — и тут же дернул головой, словно не рассчитал громкости, произвел больше шума, чем хотел. Из дома не доносилось ни звука; кухонная дверь опять была темна, опять закрыта. Он повторил погромче: «Итальяшка желтобрюхий! Я тебе покажу, как валять дурака». Нигде ни звука. Холод. Он повернулся и, ворча, пошел к хибарке.

Вернувшись на кухню, Кристмас даже не взглянул на стол, где лежала непрочтенная записка. Прошел прямо к двери в дом, на лестницу. Начал подыматься не спеша. Он поднимался размеренно; увидел дверь в спальню, в щели под ней — свет, свет камина. Не спеша подошел к двери и взялся за ручку. Потом открыл ее и остановился как вкопанный. Она сидела за столом,

под лампой. Он увидел знакомую фигуру, в знакомой строгой одежде — одежде, выглядевшей так, как будто ее сшили и дали носить безразличному к своей внешности мужчине. Потом увидел голову, волосы с проседью, стянутые в узел, тугой и уродливый, как нарост на больном суку. Она подняла голову, и он увидел очки в стальной оправе, которых она прежде не носила. Он стоял в дверях, все еще держась за ручку, и не двигался. Ему казалось, что внутри у себя он действительно слышит слова: *Надо было прочесть записку. Надо было прочесть записку* и думал: «Я что-то сделаю. Что-то сделаю».

Он все еще слышал это, когда стоял у заваленного бумагами стола, из-за которого она даже не поднялась, и слушал ровный холодный голос, склонявший его к чему-то немыслимому, и язык его повторял за ней слова, глаза смотрели на разбросанные загадочные бумаги, документы, а в мыслях вертелось плавно и праздно: что означает та бумажка? что означает эта? «В школу», — повторил его язык.

— Да, — сказала она. — Тебя примут. Любая из них примет. За мой счет. Можешь выбрать из них любую. Нам даже не придется платить.

— В школу, — повторил его язык. — В школу

для нигеров. Мне.

— Да. А потом поедешь в Мемфис. Можешь изучать право в конторе Пиблса. Он тебя обучит. Тогда ты сможешь взять на себя все юридические дела. Все, что вот здесь, — все, чем занимается он, Пиблс.

— А потом изучать право в конторе нигера-адвоката, — сказал его язык.

— Да. Тогда я передам тебе все дела, все деньги. Целиком. Так что когда тебе самому понадобятся деньги, ты сможешь… ты сумеешь распорядиться; юристы знают, как это сделать, чтобы… ты поведешь их к свету, и никто не сможет обвинить или упрекнуть тебя, даже если узнают… даже если бы ты не вернул… но ты бы мог вернуть деньги, и никто бы даже не узнал…

— Нет — в негритянский колледж? к нигеру-адвокату? — произнес его голос спокойно и не как возражение даже — просто напоминая. Они не глядели друг на друга; она ни разу не взглянула на него с тех пор, как он вошел.

— Скажи им.

— Сказать нигерам, что я сам нигер?

Наконец она посмотрела на него. Лицо у нее было спокойное. Теперь это было лицо пожилой женщины.

— Да. Придется. Чтобы с тебя не брали денег. За мой счет.

Тут он будто приказал своему языку: «Хватит. Хватит молоть. Дай мне сказать». Он наклонился к ней. Она не шевелилась. Их лица почти соприкасались: одно — холодное, мертвенно-бледное, фанатичное, безумное; другое — пергаментное, издевательски и беззвучно ощерившееся. Он тихо сказал:

— Ты старая. Раньше я не замечал. Старуха. У тебя седина в волосах. — Она ударила его сразу, ладонью, не меняя позы. На шлепок пощечины его удар отозвался как эхо. Он ударил кулаком, потом под вновь налетевшим на него протяжным ветром сдернул ее со стула, притянул к себе, глядя в неподвижное, бестрепетное лицо — и понимание рушилось на него протяжным ветром. — Нет у тебя никакого ребенка, — сказал он. — И никогда не было. Ничего с тобой не случилось, кроме старости. Ты просто стала старая, и у тебя кончилось — и ни на что ты больше не годишься. Вот и вся твоя неисправность. — Он отпустил ее и ударил снова. Она повалилась на кровать, глядя на него, а он снова ударил ее по лицу и стоял над ней, выплевывая слова, которые она так любила когда-то слушать и говорила,

что ощущает их там — шепотную, непотребную ласку. — Вот и все. Ты просто сносилась. Ты больше ни на что не годна. Вот и все.

Она лежала на боку, повернув к нему лицо с окровавленным ртом, и глядела на него.

— Лучше бы нам обоим умереть, — сказала она.

Он видел записку на одеяле, как только открывал дверь. Потом он подходил, брал ее и разворачивал. Полый заборный столб теперь вспоминался как что-то из чужих рассказов, как что-то из другой жизни, которой он никогда не жил. Потому что бумага, чернила, форма и вид были те же. Записки никогда не были длинными; не были длинными и теперь. Но теперь ничто не напоминало в них о немом обещании, о радостях, не облачимых в слова. Теперь они были кратки, как эпитафии, и сжаты, как команды.

Первое его побуждение было — не идти. Он думал, что у него не хватает духу пойти. Потом понял, что у него не хватает духу не пойти. Теперь он не переодевался. В пропотевшем комбинезоне он нырял в поздние майские сумерки и появлялся на кухне. Стол для него больше не накрывали. Иногда он смотрел на него, проходя мимо, и думал: «Господи. Когда же я мог сесть

и спокойно поужинать?» И не мог вспомнить.

Он входил в дом и поднимался по лестнице. Еще по дороге слышал ее голос. Голос становился громче по мере того, как он поднимался и подходил к двери в спальню. Дверь — закрыта, заперта; монотонный голос слышался из-за нее. Он не мог разобрать слов; только монотонное гудение. У него не хватало духу разобрать слова. У него не хватало духу понять, чем она занята. И он стоял и ждал, и немного погодя голос обрывался, она отпирала дверь, и он входил. Проходя мимо кровати, он бросал взгляд на пол, ему казалось, что он различает отпечатки колен, и он сразу отводил глаза, как будто увидел смерть.

Обычно лампа еще не горела. Они не садились. Они опять разговаривали стоя, как два года назад — стоя в потемках, и голос ее заводил старую песню: «…ну тогда не в школу, если ты не хочешь… Можно обойтись без этого… О своей душе. Искупление…» И он, холодный, неподвижный, ждал, когда она закончит: «…ад… вечные, вечные муки…»

— Нет, — говорил он. И она выслушивала его так же спокойно, а он знал, что не переубедил ее, и она знала, что не переубедила его. Но ни он, ни она не сдавались; хуже того: не оставляли друг

друга в покое; он даже не уходил. И стояли в тихой полутьме, населенной, словно потомством их, несметными тенями былых грехов и наслаждений, обратив друг к другу неподвижные, съедаемые мраком лица, усталые, опустошенные и непокорные.

Потом он уходил. И пока не хлопнула дверь, не лязгнул засов за спиной, до него доносился голос, монотонный, спокойный, отчаянный, говоривший о том и с тем, о чем и о ком у него не хватало духу узнать и догадаться. И три месяца спустя, в ту августовскую ночь, когда он сидел под деревьями заглохшего парка и слышал, как часы на суде в двух милях отсюда пробили десять, а потом одиннадцать, ум его уже был опрокинут спокойным убеждением, что он — безропотный слуга рока, в который, как ему казалось, он не верил. Он говорил себе *Я должен был это сделать* — уже в прошедшем времени — *Я должен был это сделать. Она сама так сказала*

Она сказала это две ночи назад. Он нашел записку и отправился к ней. По мере того как он поднимался по лестнице, монотонный голос делался громче, звучал громче и яснее, чем обычно. Когда он взошел наверх, он увидел почему.

Дверь на этот раз была раскрыта, а она продолжала стоять на коленях у кровати и не поднялась при его появлении. Она не шелохнулась; голос ее не смолк. Головы она не склонила. Ее лицо было поднято почти гордо, словно сама эта каноническая поза унижения родилась из гордости, и голос ее в сумерках звучал спокойно — спокойно, невозмутимо, самоотреченно. Она как будто не замечала, что он вошел, покуда не закончила фразы. Тогда она обернулась.

— Стань со мной на колени, — сказала она.

— Нет, — сказал он.

— Стань на колени, — сказала она. — Тебе даже не надо будет говорить с Ним самому. Только стань на колени. Сделай только первый шаг.

— Нет, — сказал он. — Я ухожу.

Она не пошевелилась, смотрела на него снизу, через плечо.

— Джо, — сказала она, — ты останешься? Хоть это ты сделаешь?

— Да, — сказал он. — Я останусь. Только давай быстрее.

Она снова стала молиться. Она говорила тихо, все с той же гордостью унижения. Когда нужно было употребить особые слова, которым научил ее он, она их употребляла — произносила ре-

шительно и без запинки, разговаривая с Богом, как будто Он мужчина и находится в компании двух других мужчин. Она говорила о себе и о нем, как о двух посторонних людях, — голосом спокойным, монотонным, бесполым. Потом умолкла. Тихо поднялась. Они стояли в сумерках лицом к лицу. На этот раз она даже не задала вопроса; ему даже не пришлось отвечать. Немного погодя она тихо сказала:

— Тогда остается только одно.

— Остается только одно, — отозвался он.

«Теперь все сделано, все кончено», — спокойно думал он, сидя в черном кустарнике и слушая, как замирает вдали последний удар часов. Это было место, где он поймал ее, нашел два года назад, в одну из тех безумных ночей. Но то было в другие времена, в другой жизни. Теперь здесь была тишь, покой, и тучная земля дышала прохладой. В тишине роились несметные голоса из всех времен, которые он пережил — словно все прошлое было однообразным узором. С продолжением: в завтрашнюю ночь, во все завтра, которые улягутся в однообразный узор, станут его продолжением. Он думал об этом, тихо изумляясь: продолжению, несметным повторам — ибо все, что когда-либо было, было таким же, как все,

что будет, ибо **будет** и **было** завтра будут — одно и то же. Пора настала.

Он поднялся с земли. Вышел из тени, обогнул дом и вошел на кухню. Дом был темен. Он не заходил в хибарку с раннего утра и не знал, оставила ли она ему записку, ждет его или нет. Однако о тишине он не заботился. Он как будто не думал о сне, спит она или нет. Он не спеша поднялся по лестнице и вошел в спальню. Почти сразу послышался ее голос с кровати:

— Зажги лампу.

— Для этого света не понадобится, — сказал он.

— Зажги лампу.

— Нет, — сказал он. Он стоял над кроватью. Бритву держал в руке. Но еще не открытую. А она больше ничего не сказала, и тогда его тело словно ушло от него. Оно подошло к столу, руки положили бритву на стол, отыскали лампу, зажгли спичку. Она сидела на кровати, спиной к изголовью. Поверх ночной рубашки на ней была шаль, стянутая на груди. Руки сложены поверх шали, прячутся в складках. Он стоял у стола. Они смотрели друг на друга.

— Ты станешь со мной на колени? — сказала она. — Я не прошу.

— Нет, — сказал он.

— Я не прошу. Это не я тебя прошу. Стань со мной на колени.

— Нет.

Они смотрели друг на друга.

— Джо, — сказала она, — в последний раз. Я не прошу. Запомни это. Стань на колени.

— Нет, — сказал он. И тут увидел, как руки ее разошлись и правая рука вынырнула из-под шали. Она держала старинный, простого действия капсюльный револьвер, длиной почти с небольшое ружье, только более тяжелый. Но его тень и тень ее руки на стене нисколько не колебались — обе чудовищные, и над ними чудовищная тень взведенного курка, загнутого назад и злобно настороженного, как головка змеи; курок тоже не колебался. И в глазах ее не было колебания. Они застыли, как черное кольцо револьверного дула. Но жару, ярости в них не было. Они были недвижны и спокойны, как сама жалость, как само отчаяние, как сама убежденность. Но он за ними не следил. Он следил за тенью револьвера на стене; следил, когда настороженная тень курка спорхнула.

Стоя посреди дороги с поднятой рукой в лучах приближающихся фар, он тем не менее не ожидал, что машина остановится. Но она

остановилась — с почти комичной внезапностью, взвизгнув и клюнув носом. Машина была маленькая, старая и помятая. Когда он подошел к ней, ему показалось, что два молодых лица в отраженном свете фар плавают, как два блеклых и оторопелых воздушных шара — ближнее, девичье, бессильно откачнулось в ужасе. Но тогда Кристмас этого не заметил.

— Ну что, подвезете, куда сами едете? — сказал он. Они не произнесли ни звука, глядели на него с немым и непонятным ужасом, которого он не замечал. Тогда он открыл заднюю дверь и влез.

Когда он сел, девушка начала сдавленно подвывать, и вой с минуты на минуту обещал стать громче — когда страх, так сказать, наберется храбрости. Машина уже ехала; она словно прыгнула вперед, а юноша, не снимая рук с руля, не поворачивая головы, шипел девушке: «Тише! Замолчи! Это единственное спасение. Ты замолчишь или нет?» Кристмас и этого не слышал. Он сидел сзади и даже не подозревал, что впереди него царит ужас. Только мелькнула мысль, что больно лихо гонит парень по такому узкому проселку.

— Куда эта дорога? — сказал он.

Юноша ответил ему, назвав тот же город, который назвал ему негритянский парнишка три года назад, когда он впервые увидел Джефферсон. Голос у юноши был какой-то пустой, шелестящий.

— Вам туда, начальник?

— Ладно, — сказал Кристмас. — Да. Да. Годится. Мне это подходит. Вы туда?

— Конечно, — сказал юноша пустым, глухим голосом. — Куда скажете. — Снова девушка рядом с ним начала придушенно, вполголоса подвывать, как маленькое животное; снова юноша зашипел на нее, деревянно глядя вперед на дорогу, по которой мчалась, подскакивая, машина: — Тс-с! Тише. Тс-с! Тс-с! — Но Кристмас и тут ничего не заметил. Он видел только два молодых одеревенелых затылка на фоне яркого света, в который влетала, мелькая и болтаясь, лента дороги. Но и на них и на мелькающую дорогу он смотрел без всякого интереса; даже когда до него дошло, что юноша уже довольно давно разговаривает с ним, он остался безучастен; много ли они проехали и где находятся, он не знал. Теперь юноша говорил медленно, повторяя одно и то же, подыскивая слова попроще и стараясь произносить их раздельно и ясно, как будто объяснялся с иностранцем.

— Послушайте, начальник. Когда я тут сверну. Это просто короткая дорога. Срежем — и на хорошую дорогу. Я поеду напрямик. Тут можно срезать. Там дорога лучше. Чтобы нам быстрее доехать. Понимаете?

— Ладно, — сказал Кристмас. Машина неслась и подскакивала, кренясь на поворотах, взлетала на пригорки и низвергалась с них так, как будто из-под нее уходила земля. Столбы с почтовыми ящиками влетали в свет фар и мелькали мимо. Изредка попадался темный дом. Юноша говорил:

— Вот сейчас этот поворот, про который я вам говорил. Вот прямо здесь. Я туда сверну. Но это не значит, что мы съезжаем с дороги. Я просто возьму наискосок, там дорога лучше. Понимаете?

— Ладно, — отозвался Кристмас. Потом, неизвестно почему, сказал: — Вы, наверно, где-нибудь здесь живете.

Теперь заговорила девушка. Она резко обернулась — ее маленькое личико было серым от тревоги и ужаса, слепого крысиного отчаяния.

— Да! — крикнула она. — Мы оба! Вон там! И когда мой папа и братья… — Ее голос смолк, оборвался; Кристмас увидел, что ладонь юноши зажала ей рот, а она пытается отодрать ее; под ла-

донью придушенно булькал ее голос. Кристмас подался вперед.

— Здесь, — сказал он. — Здесь выйду. Здесь меня можете высадить.

— Это все ты! — тоже взвизгнул юноша, так же исступленно и отчаянно. — Если бы ты молчала…

— Останови машину, — сказал Кристмас. — Я вам ничего не сделаю. Я просто хочу выйти. — Снова машина резко затормозила, присев на передние колеса. Но мотор продолжал реветь, и машина прыгнула вперед раньше, чем он сошел с подножки; ему самому пришлось прыгнуть и пробежать несколько шагов, чтобы не упасть. При этом что-то тяжелое и твердое ударило его в бок. Машина уходила на предельной скорости, исчезала. До него долетал пронзительный вой девушки. Наконец машина пропала; снова опустилась темнота, и уже неосязаемая пыль, и тишина под летними звездами. Удар в бок, нанесенный неизвестным предметом, оказался довольно чувствительным; теперь Кристмас обнаружил, что предмет этот соединен с правой рукой. Он поднял руку и увидел, что в ней зажат старинный, тяжелый револьвер. Он не знал, что держит его; не помнил, как взял его и зачем.

Но он был тут. «А я махал машине правой рукой, — подумал он. — Неудивительно, что они...» Он замахнулся, чтобы бросить револьвер, лежавший на ладони. Потом передумал, зажег спичку и осмотрел его под слабым, замирающим светом. Спичка догорела и погасла, но он как будто еще видел эту старинную штуку с двумя заряженными камерами: той, по которой курок ударил, но не взорвал заряда, и той, до которой очередь не дошла. «Для нее и для меня», — сказал он. Рука развернулась и бросила. Он услышал, как хрустнуло в кустах. Опять стало тихо. «Для нее и для меня».

13

Не прошло и пяти минут с тех пор, как деревенский заметил пожар, а люди уже начали собираться. Те, кто тоже ехал на субботу в город, тоже останавливались. Те, кто жил по соседству, приходили пешком. Это был район негритянских халуп, истощенных, замаянных полей, где целый наряд сыщиков не выискал бы и десятка людей любого пола и возраста — и тем не менее вот уже полчаса люди возникали как из-под земли, партиями и группами, от одного человека до целых семей. И все новые приезжали из города на блеющих разгоряченных машинах. Среди них прибыл и окружной шериф — толстый уютный человек добродушного вида и хитрого трезвого ума — и растолкал зевак, которые столпились вокруг трупа на простыне и глядели на него оторопело, с тем детским изумлением, с каким взрослые созерцают свой будущий портрет. Среди них попадались и янки, и белая голь, и даже южане, которые пожили на Севере и рассуждали вслух, что это — натуральное негритянское преступление, совершенное не негром, но неграми,

и знали, верили и надеялись, что она вдобавок изнасилована: по меньшей мере раз до того, как ей перерезали горло, и по меньшей мере раз — после. Шериф подошел, взглянул на тело, а затем велел его убрать, спрятать несчастную от чужих глаз.

И теперь им смотреть было не на что — кроме как на место, где лежало тело, и на пожар. А вскоре никто уже не мог вспомнить точно, где лежала простыня, какой клочок земли закрывала, и смотреть оставалось только на пожар. Вот они и смотрели на пожар — с первобытным изумлением, которое пронесли с собой от зловонных пещер, где родилось знание, — словно вид огня был так же нов для них, как вид смерти. Затем браво прикатила пожарная машина, с шумом, звоном и свистками. Она была новенькая, красная, раззолоченная, с ручной сиреной и колоколом золотого цвета и невозмутимого, надменного, гордого тона. Мужчины и молодые люди без шляп висели на ней гроздьями — с тем поразительным пренебрежением к законам физики, которое отличает мух. Она была снабжена механическими лестницами, которые выскакивают на недосягаемую высоту при одном прикосновении руки, как шапокляки; только

здесь им было некуда выскакивать. Ее пожарные рукава, свернутые чистенькими аккуратными кольцами, напоминали рекламы телефонного треста в ходовых журналах; но не на что было насадить их и нечего по ним качать. И мужчины без шляп, покинувшие свои прилавки и конторки, ссыпались с нее, включая даже того, который вертел сирену. Они подошли, им показали несколько разных мест, где якобы лежала простыня, и некоторые из них, уже с пистолетами в карманах, начали агитировать в том смысле, чтобы кого-нибудь казнить.

Но никого подходящего не было. Она жила так тихо, настолько не вмешивалась в чужие дела, что город, где она родилась и жила и умерла иноплеменницей, чужеземкой, был этим навсегда изумлен и оскорблен, и хотя она подарила им душевную масленицу, зрелище почище хлеба, они никак не могли простить ее, отпустить ее с миром, мертвую оставить в покое. Нет. Покой не так доступен. И вот они толклись, собирались кучками, веря, что пламя, кровь, тело, которое умерло три года назад и только что начало жить снова, вопиют об отмщении — не веря, что яростный восторг пламени и недвижность тела свидетельствуют, что достигнут берег, недо-

ступный для человеческого вреда и боли. Нет. Потому что другое для веры слаще. Занятнее, чем полки и прилавки с давно знакомыми предметами, купленными не потому, что владелец мечтал о них, восхищался ими или радовался обладанию, а чтобы хитростью продать их ради барыша — а на предметы, которых еще не продал, и на людей, которые могли бы их купить, но еще не купили, поглядывает со злостью, а то и с негодованием, а то и с отчаянием. Занятнее, чем затхлые кабинеты, где ждут адвокаты, притаившись среди призраков давней лжи и вожделений, или где ждут доктора с хитрыми ножами и хитрыми снадобьями и внушают человеку — веря, что он им поверит, не обратившись к печатным наставлениям, — будто хлопочут только о том, чтобы в конце концов оставить себя без работы. Собирались и женщины, праздные, в яркой, а иногда и поспешно накинутой одежде, с потайным и горячим блеском в глазах и томящимися без пользы грудями (им смерть всегда была милей покоя), чтоб в неумолчный ропот *Кто убил? Кто убил?* впечатывать бесчисленными твердыми каблучками что-нибудь вроде *Его еще не поймали? А-а. Не поймали? Не поймали?*

Шериф тоже смотрел на пожар с удивлением и досадой: место преступления не доступно осмотру. Он еще не осознал, что обязан этой неудачей человеческому вмешательству. Виноват был огонь. Ему казалось, будто огонь самозародился специально для этой цели. Ему казалось, будто стихия, благодаря которой его предки смогли продержаться на земле так долго, что породили наконец его, вступила в сговор с преступлением. И вот он озадаченно и раздраженно расхаживал вокруг этого непростительного монумента, чьим цветом был цвет надежды и одновременно катастрофы, покуда не появился его помощник и не сказал ему, что обнаружил в хибарке недалеко от дома следы недавнего обитания. И тотчас же деревенский, который первым заметил пожар (он еще не доехал до города; его повозка не продвинулась ни на вершок с того места, где он слез с нее два часа назад, и теперь он толкался среди зрителей, встрепанный, с отупевшим, изнуренным и горячечным лицом, размахивая руками и не владея голосом, севшим почти до шепота), вспомнил, что, когда он ворвался в дом, там был человек.

— Белый? — спросил шериф.

— Да. Мотался по передней, как будто только

что слетел с лестницы. Все не пускал меня наверх. Говорит, что уже ходил туда и никого там нет. А когда я спустился, его уже не было.

Шериф оглядел стоявших рядом.

— Кто жил в хибарке?

— Я и не знал, что там жили, — сказал помощник. — Нигеры небось. Послушать про нее — так она их, нигеров, и в дом могла пустить. Удивляюсь только, почему они раньше этого не сделали.

— Приведите мне нигера, — сказал шериф. Помощник и еще двое-трое привели ему нигера. — Кто жил в этой хибарке? — спросил шериф.

— Я не знаю, мистер Уатт, — сказал негр. — Я внимания не обращал. Я и не знал, что там люди жили.

— Давайте-ка его туда, — сказал шериф.

Вокруг шерифа, помощника и негра постепенно собирались неотличимые друг от друга лица с алчными глазами, в которых самые настоящие отпрыски пустого пламени уже подернулись дымком. Казалось, все пять их чувств соединились в одном органе глядения, как в апофеозе, а слова, носившиеся между ними, рождаются из ветра, воздуха *Это он? Вот этот убил? Шериф поймал его. Шериф уже схватил его* Шериф по-

смотрел на них.

— Уходите, — сказал он. — Все. Подите посмотрите на пожар. Если мне понадобится помощь, я вас позову. Давайте отсюда.

Он повернулся и повел помощников с негром к хибарке. Отвергнутые стояли кучкой позади и наблюдали, как трое белых с негром входят в хибарку и закрывают за собою дверь. А позади них, в свою очередь, пламя доедало дом, наполняя воздух гудением — не более громким, чем голоса, но совсем не таким ниоткудошным *Если это он, то какого черта мы стоим и ждем. Убил белую женщину, черная сволочь…* Ни один из них никогда не бывал в этом доме. При ее жизни они не позволяли женам к ней ходить. А когда были помоложе — мальчишками (кое у кого и отцы в свое время занимались тем же, кричали на улице ей вдогонку: «Негритянская хахальница! Негритянская хахальница!»

В хибарке шериф тяжело опустился на одну из коек. Вздохнул: человек-бочка, как бочка, грузный и неподвижный.

— Ну, я хочу знать, кто живет в этой хибарке, — сказал он.

— Я вам сказал, не знаю, — ответил негр. Он отвечал немного угрюмо, настороженно,

с затаенной настороженностью. Он не спускал глаз с шерифа. Еще двое белых стояли у него за спиной, их он не видел. Он не оглядывался на них, даже украдкой. Он смотрел в лицо шерифа, как смотрят в зеркало. И, может быть, как в зеркале, увидел, что они начинают. А может, и не увидел, ибо если что и переменилось, мелькнуло в лице шерифа, то всего лишь мелькнуло. Но негр не оглянулся; только лицо его вдруг сморщилось, быстро и на один лишь миг, и вздернулись углы рта, оскалились, как в улыбке, зубы — когда ремень хлестнул его по спине. И тут же разгладилось, непроницаемое.

— Я вижу, ты не очень стараешься вспомнить, — сказал шериф.

— Я не могу вспомнить, потому что я не могу знать, — сказал негр. — Я живу-то совсем не тут. Вы же небось знаете, где у меня дом, белые люди.

— Мистер Бьюфорд говорит, что ты живешь вон там, прямо у дороги, — сказал шериф.

— У дороги мало ли кто живет. Мистер Бьюфорд, он же небось знает, где мой дом.

— Он врет, — сказал помощник. Это его звали Бьюфордом. Он и держал ремень — пряжкой наружу. Держал, изготовясь. Следя за лицом шерифа. Так легавая ждет приказа кинуться в воду.

— Может, врет; может, нет, — сказал шериф. Он созерцал негра. Под тяжестью его громадного, неповоротливого тела пружины кровати просели. — Он просто еще не понял, что я не шучу. Не говоря уже об этой публике, — у них ведь нет своей тюрьмы, чтобы спрятать его, если дело примет неприятный оборот. А если бы и была, они все равно не стали бы утруждаться.

Может быть, глаза его опять подали знак, сигнал; может быть — нет. Может быть, негр уловил это; может быть — нет. Ремень опять хлестнул, пряжка полоснула по спине.

— Еще не вспомнил? — сказал шериф.

— Там двое белых, — сказал негр. Голос у него был безучастный — ни угрюмости, ничего. — Не знаю, кто они такие и чего делали. Не наша это забота. Никогда их не видел. Просто слышал, люди говорили, что там живут двое белых. А кто они — нас не касается. Больше ничего не знаю. Хоть до смерти запорите. Больше ничего не знаю.

Шериф опять вздохнул.

— Хватит. Похоже, что так.

— Да это же, как его, Кристмас, который на фабрике работал, а другой — Браун, — сказал третий мужчина. — Да это бы вам в Джефферсоне кто

угодно сказал — любого останови, от кого спиртным пахнет.

— И это похоже, что так, — сказал шериф.

Он вернулся в город. Когда толпа увидела, что шериф уезжает, начался общий исход. Как будто смотреть было больше не на что. Труп увезли, а теперь уезжал и шериф. Он будто увозил в себе, где-то внутри этой неповоротливой и вздыхающей туши, саму тайну: ту, что манила и воодушевляла их как бы намеком на что-то, кроме однообразной череды дней и разврата набитой утробы. И вот смотреть было больше не на что, кроме как на пожар; а его они уже наблюдали три часа. Они уже свыклись с ним, сроднились; он уже стал неотъемлемой частью их жизни, не только переживаний, — увенчанный в безветрии столбом дыма, неколебимым, как памятник, к которому можно вернуться в любую минуту. Поэтому, когда их караван достиг города, в нем было что-то от надменной чопорности похоронного кортежа: автомобиль шерифа — в голове, остальные — гудят и блеют позади, в тучах совместно поднятой пыли. На перекрестке возле площади их задержала на минуту повозка, остановившаяся, чтобы выпустить пассажира. Выглянув из окна, шериф

увидел молодую женщину, вылезавшую из повозки медленно и осторожно — с неуклюжей осторожностью женщины на сносях. Затем повозка отъехала; караван двинулся дальше и пересек площадь, где кассир в банке уже вынул из сейфа конверт, который был оставлен ему на хранение покойной — с надписью: *Открыть после моей смерти. Джоанна Берден.* Когда шериф вошел к себе в кабинет, кассир уже ждал там с конвертом и его содержимым. Оно состояло из одного листка бумаги, на котором той же рукой, что и на конверте, было написано: *Оповестить адвоката И. И. Пиблса — Бийл-стрит, Мемфис, Теннесси, и Натаниэля Беррингтона — Сент-Экстер, Нью-Гемпшир.* И больше ничего.

— Этот Пиблс — нигер-адвокат, — сказал кассир.

— Вон что? — сказал шериф.

— Ага. Что прикажете делать?

— Да, наверно, то, что в бумаге сказано, — ответил шериф. — Или, пожалуй, я сам это сделаю.

Он отправил две телеграммы. Ответ из Мемфиса был получен через полчаса. Другой пришел двумя часами позже; затем в течение десяти минут по городу разнесся слух, что нью-гемпширский племянник мисс Берден предлагает

тысячу долларов за поимку убийцы. В девять вечера явился человек, которого увидел деревенский, когда вломился в горевший дом. Но они еще не знали, что он — тот самый. Он им этого не сказал. Они знали только, что человек, который недавно поселился в городе и был известен среди них как бутлегер Браун, да и бутлегер-то не первой руки, появился на площади очень взволнованный и спрашивал шерифа. И тогда все начало мало-помалу складываться. Шериф знал, что Браун как-то связан с другим человеком, другим приезжим — Кристмасом, о котором, хотя он прожил в Джефферсоне три года, было известно еще меньше, чем о Брауне; только теперь шериф выяснил, что Кристмас три года прожил в хибарке за домом мисс Берден. Браун желал высказаться, требовал, чтобы ему дали высказаться, громко и настойчиво; сразу стало ясно, что требует он, оказывается, тысячу долларов премии.

— Хочешь стать свидетелем обвинения? — спросил его шериф.

— Никем я не хочу стать, — возразил Браун грубо и хрипло, с несколько ошалелым видом. — Я знаю, кто убил, и скажу, когда получу деньги.

— Ты поймай того, кто убил, тогда получишь деньги, — сказал шериф. И Брауна отвели

в тюрьму, для сохранности. — Только, думается, это лишнее, — сказал шериф. — Думается, пока тут пахнет этой тысячей, его отсюда не выкуришь. — Когда Брауна забрали — он все сипел, негодовал, размахивал руками, — шериф позвонил в соседний город, где держали пару ищеек. Собак обещали привезти ранним утренним поездом.

Когда печально забрезжило воскресное утро, над унылой платформой, где ждали тридцать или сорок человек, замелькали и, дрожа, остановились на несколько мгновений освещенные окна поезда. Поезд был скорый и не всегда останавливался в Джефферсоне. Он задержался ровно настолько, сколько надо было, чтобы выпустить двух собак: тысяча тонн дорогих и замысловатых изделий из металла со свирепым сверканием и грохотом ворвалась и уткнулась в почти оглушительную тишину, наполненную пустячными людскими звуками, чтобы изрыгнуть двух поджарых раболепных призраков, чьи вислоухие кроткие лица печально и приниженно смотрели на усталые, бледные лица людей, которые почти не спали с позапрошлой ночи и окружили собак в каком-то жутком и бессильном нетерпении. Казалось, скверна убийства распространилась

и на все последующие действия, превратила их во что-то чудовищное, парадоксальное, противное и разуму и природе.

Когда шерифово ополчение миновало холодные головешки и золу пожарища и подошло к хибарке, солнце только что показалось. Собаки, то ли осмелев от солнечного света и тепла, то ли заразившись от людей лихорадкой погони, возле хибарки начали брехать и рваться. Нюхая шумно и в унисон, они взяли след и потащили на поводках человека. Пробежав бок о бок сотню метров, они остановились, начали яростно разрывать землю и отрыли ямку, где кто-то недавно закопал пустые консервные банки. Собак оттащили оттуда. Отвели подальше от хибарки и пустили снова. Собаки немного пометались, поскулили, а потом снова напали на след и припустили во весь дух, вывесив языки, капая слюной, таща, волоча за собой людей, которые бежали и чертили их, — опять к хибарке, и там, расставя ноги, откинув головы, закатив глаза, залились перед пустой дверью страстно и самозабвенно, как два баритона в итальянской опере. Люди отвезли собак обратно в город — на машинах — и накормили. Когда они шли через площадь, в церквах уже медленно и мирно звонили колокола, а по улицам

чинно двигались люди под светлыми зонтиками, с Библиями и молитвенниками в руках.

В эту ночь к шерифу приехал деревенский парень с отцом. Парень рассказал, как в пятницу ночью ехал на машине домой и как в нескольких милях от места преступления его остановил мужчина с пистолетом. Парень полагал, что его хотели ограбить и даже убить, и решил перехитрить этого человека — привезти его прямо к себе на двор, а там остановить машину, выскочить и позвать на помощь, но человек что-то заподозрил, велел остановить машину и вылез. Отец поинтересовался, сколько из этой тысячи долларов придется на их долю.

— Поймаете его — тогда поговорим, — ответил шериф.

Они разбудили собак, посадили в другую машину, парень показал, где человек вылез, и они пустили собак, которые сразу ринулись в лес и, со свойственным им безотказным чутьем на металл в любом виде, почти сразу нашли револьвер с двумя заряженными камерами.

— Старинный, капсюльный, такими в Гражданскую воевали, — сказал помощник. — Один капсюль надколот, но дал осечку. Как по-вашему, что он с ним делал?

— Спустите собак, — сказал шериф. — Может, их поводки беспокоят.

Так и сделали. Собаки очутились на свободе; через полчаса они потерялись. Не люди потеряли собак — собаки потеряли людей. Они были всего-навсего за речкой, за прибрежной грядой, и люди ясно их слышали. Они уже не лаяли, как прежде, уверенно, с гордостью и, пожалуй, удовольствием. Теперь они выли протяжно и безнадежно, а люди настойчиво их звали. Но животные, наверно, не слышали их. Оба голоса были различимы, и все-таки казалось, что этот колокольный униженный вой исходит из одной глотки, словно собаки сидят бок о бок. Так их и нашли немного погодя — в канаве, рядышком. К тому времени голоса их звучали почти по-детски. Там же отряд и остался, дожидаясь, когда рассветет и можно будет отыскать дорогу к машинам. Наступило утро понедельника.

Жара начала усиливаться в понедельник. Во вторник ночью темнота после знойного дня душна, неподвижна, томительна; едва переступив порог, Байрон чувствует, как ноздри его напрягаются и белеют от густого, затхлого запаха дома, где хозяйничает мужчина. А когда подходит Хайтауэр, запах рыхлого немытого тела

и несвежего белья — выделений малоподвижной тучности, неопрятной сидячей жизни, пренебрегающей мытьем, — становится почти нестерпимым. Входя, Байрон думает, как думал уже не раз: «Это его право. Мне это, может, не подходит, а ему подходит, и это его право». И вспоминает, как однажды он, кажется, нашел ответ, словно его осенило, озарило: «Это — дух благости. Конечно, он кажется нам дурным, раз мы сами дурные и грешные».

И опять они сидят друг против друга в кабинете, разделенные столом, горящей лампой. Байрон опять сидит на жестком стуле, опустив лицо, неподвижно. Голос его сдержан, упрям — голос человека, который рассказывает что-то не только неприятное, но и не вызывающее доверия.

— Я хочу подыскать ей другое жилье. Где не так людно. Где она сможет…

Хайтауэр наблюдает за его склоненным лицом.

— Зачем ей переезжать? Если ей там удобно и в случае чего женщина рядом?

Байрон не отвечает. Он сидит неподвижно, потупясь; лицо его спокойно, упрямо; глядя на него, Хайтауэр думает: «Это потому, что так много событий. Слишком много событий. Вот в чем дело. Человек делает, порождает несравненно больше

того, что может или должен вынести. Вот так он и узнаёт, что может вынести все. Вот в чем дело. Это и ужасно. Что он может вынести все, все». Он наблюдает за Байроном.

— И что же, весь этот переезд — только из-за миссис Бирд?

По-прежнему Байрон не поднимает головы, говорит все так же спокойно, упрямо:

— Ей нужно такое жилье, чтобы она чувствовала себя как дома. Ей не так уж много времени осталось, а в пансионе, где, можно сказать, мужчины… Комната, где ей будет спокойно, когда подойдет срок, а не такая, где всякий барышник или присяжный, которого черт занесет в коридор…

— Понимаю, — говорит Хайтауэр. Следит за лицом Байрона. — И вы хотите, чтобы я взял ее к себе. — Байрон собирается ответить, но тот продолжает; голос его тоже холоден, ровен: — Нет, это не годится, Байрон. Если бы тут была другая женщина, жила в доме. Стыдно, конечно — столько свободного места, и тишина. Понимаете, я о ней думаю. Не о себе. Мне-то все равно, что они скажут.

— Я не об этом прошу. — Байрон не поднимает глаз. Чувствует на себе взгляд священника. Ду-

мает *Сам знает, что я не об этом. Знает. Это он так сказал. Я знаю, что он думает. Другого, пожалуй, я и не ожидал. Да и не с чего ему думать иначе, чем другие люди — даже обо мне* — Ведь вы, наверно, сами понимаете.

Возможно, священник и понимает. Но Байрон не поднимает глаз, чтобы убедиться в этом. Он продолжает говорить скучным, монотонным голосом, потупя глаза, а Хайтауэр, выпрямившись чуть больше обычного, смотрит через стол на худое, дубленное непогодами, трудами высветленное лицо человека напротив.

— Я не собираюсь вас впутывать, потому что это не ваша печаль. Вы ее даже не видели и едва ли увидите. И его, наверно, не видели — чтобы это понять. Я просто подумал, что…

Его голос замирает. Священник, выпрямившись, смотрит на него через стол и ждет, но помощи не предлагает.

— Когда человек решает, чего **не делать**, тут, я думаю, он сам себе советчик. Но когда до **делать** доходит — тут, по-моему, стоит посоветоваться со всеми, с кем можно. А впутывать я вас не собираюсь. Насчет этого вы не беспокойтесь.

— Кажется, понимаю, — говорит Хайтауэр. Наблюдает за потупленным лицом. «Я уже

вне жизни, — думает он. — Вот почему бесполезно соваться, вмешиваться. Даже если бы я и попробовал вернуться к жизни, он меня все равно не услышит — как не услышала бы та женщина и тот мужчина (да что уж там — как их ребенок)». — Но вы сказали, она знает, что он здесь.

— Да, — отвечает Байрон в раздумье. — Я думал, там-то уж у меня не будет случая причинить вред мужчине, или женщине, или ребенку. И не успела она прийти — все как есть ей выболтал.

— Я не об этом. Тогда ведь вы сами не знали. Я имею в виду остальное. Его и… этого… Как-никак три дня прошло. Она должна была узнать, независимо от вас. Должна была услышать за эти дни.

— Кристмаса. — Байрон не поднимает головы. — А как спросила она про белый шрамик возле рта, после этого я больше ничего не говорил. Вечером, когда в город шли, я всю дорогу боялся, что она спросит. И все придумывал, о чем бы еще с ней поговорить, чтобы она спросить меня не успела. Я-то думал, скрываю от нее — что он не просто сбежал и бросил ее в беде, а еще и имя переменил, чтобы она его не нашла, и хоть нашла она его, нашла она бутлегера, — а она,

оказывается, сама это знала. Знала уже, что он негодяй. — И он говорит, как бы удивляясь вслух: — Мне и скрывать было незачем, врать гладко. Она как будто наперед знала, что я ей скажу и когда совру. Как будто сама уже об этом думала и не верила в это еще до того, как я сказал, и ничего тут особенного не было. Но какая-то часть в ней знала правду, ее бы я все равно не обманул… — Он запинается, мнется; священник, выпрямившись, смотрит на него через стол, помощи не предлагает. — Как будто она — из двух половин, и одна половина знает, что он прохвост. А другая половина верит, что если у мужчины и женщины должен родиться ребенок, то Господь позаботится, чтобы они были вместе, когда подойдет срок. Вроде если Бог печется о женщинах, то он и от мужчин их защитит. А если Господь не считает нужным, чтобы две половины эти встретились и вроде как… сличили… тогда и мне нечего хлопотать.

— Чепуха, — говорит Хайтауэр. Он смотрит через стол на застывшее, упрямое, аскетическое лицо — лицо отшельника, который долго жил в пустыне, где ветер носит песок. — Ей остается одно, только одно — вернуться в Алабаму. К родным.

— А по-моему, нет, — отвечает Байрон. Отвечает сразу, решительно, как будто только и ждал этих слов. — Обойдется без этого. По-моему, она обойдется без этого. — Но глаз не поднимает. Он чувствует на себе взгляд священника.

— А Бе… Браун знает, что она в Джефферсоне?

Можно подумать, что Байрон вот-вот улыбнется. Губа приподнялась, но веселья в гримасе нет, она слаба, как игра тени.

— Да нет, замотался совсем. С этой премией. Потеха прямо. Вроде того, как играть человек не умеет, а дует в трубу что есть мочи — думает, сейчас у него музыка получится. Каждые двенадцать — пятнадцать часов тащат его через площадь в наручниках — когда его никакими силами не прогонишь, хоть ищейками этими трави. Субботнюю ночь просидел в тюрьме, все толковал, что они его обжулить хотят с этой тысячей — представить, будто он помогал Кристмасу; потом уж Бак Коннер пришел к нему в камеру и пообещал вставить кляп, чтобы он замолчал и не мешал спать другим арестантам. Замолчал; а в воскресенье ночью, когда пошли с собаками, такой крик поднял, что пришлось им взять его с собой. Но у собак дело не пошло. А он кричит, собак ругает, отлупить их рвется

за то, что следа не могут взять, и опять всем рассказывает, что он первый донес на Кристмаса и хочет только, чтоб все было честно, по справедливости, больше ничего — пока уж сам шериф не отвел его в сторонку поговорить. Что он ему там сказал, неизвестно. Может, пригрозил, что сейчас воротит его в тюрьму и в другой раз с собой не возьмет. Одним словом, он поутих немного, и пошли дальше. А в город вернулись только в понедельник, поздно ночью. Он еще был тихий. Может, притомился. Не спал сколько времени — и притом, говорят, все норовил вперед собак забежать, покуда шериф не пригрозил, что прикует его наручниками к помощнику, чтобы не выскакивал и собаки что-нибудь, кроме него, могли нюхать. Он еще в субботу, когда его посадили, был небритый, а теперь совсем оброс. На убийцу, наверно, больше похож, чем сам Кристмас. А уж Кристмаса клял — как будто тот из вредности спрятался, назло ему, чтобы он не получил своей тысячи долларов. На ночь его опять отвели в тюрьму и заперли. А сегодня с утра опять отправились и его с собой взяли — с собаками, по новому следу. Люди говорят, пока они из города не ушли, все время слышно было, как он скандалил.

— И вы говорите, она об этом не знает. Говорите, что скрыли это от нее. По-вашему, пусть лучше считает его мерзавцем, чем дураком — так?

Лицо Байрона опять застыло, уже не улыбается; он серьезен.

— Не знаю. Это было в воскресенье, позавчера ночью, когда я вернулся от вас домой. Я думал, она в постели, спит, а она сидела в гостиной и говорит мне: «Что такое? Что тут случилось?» Сам я на нее не смотрю, но чувствую, на меня смотрит. Я ей сказал, что нигер убил белую женщину. На этот раз я не соврал. И, видно, очень уж обрадовался, что врать не надо. Потому что и подумать ничего не успел, как брякнул: «И дом поджег». И только тут спохватился. Ведь сам ей дым показывал, сам говорил, что живут там двое, Браун и Кристмас. И чувствую, смотрит она на меня — ну вот как вы сейчас, чувствую, смотрите, — и говорит: «А как нигера зовут?» Можно подумать, сам Господь заботится, чтобы они узнали то, что им надо знать, — из мужского вранья, и без всяких расспросов. И не узнали того, чего им знать не надо — и притом даже не догадывались бы, что не узнали. Так что уверенно не могу сказать, что ей известно, а что неизвестно. Одно только знаю: я ей не объяснял, что тот, кого она

ищет, донес на убийцу и сидит в тюрьме — когда не гонится с собаками за человеком, который подобрал его и пригрел. Этого я ей не рассказывал.

— И что же вы теперь собираетесь делать? Куда она хочет переехать?

— Туда хочет — там его ждать. Я ей сказал, что он отлучился — помочь шерифу. Так что я не совсем соврал. Она уже спрашивала, где он живет, и я ей сказал. А она говорит, раз это его дом, она должна жить там, пока он не вернется. Говорит, что он сам бы так захотел. Не буду же я ей объяснять, что этого-то как раз ему меньше всего на свете хочется. Она собиралась переехать сегодня же вечером, как только я с фабрики приду. Уже и узелок связала, и шляпу надела, только меня ждала. «Я было сама, — говорит, — пошла. Да побоялась, что дорогу не найду». Я говорю: «Ну да; только сегодня уже поздно, лучше завтра», а она говорит: «Раньше чем через час не стемнеет. А дотуда всего две мили, так ведь?» Я говорю: «Давайте подождем, я сперва должен спросить разрешения», — а она: «У кого спросить? Разве это не Лукаса дом?» И, чувствую, смотрит на меня; потом говорит: «Вы, по-моему, сказали, что там Лукас живет», — а сама смотрит; потом спрашивает: «А что это за священник, к которому вы все

ходите советоваться обо мне?»

— И вы ей позволите там поселиться?

— Может, так лучше. Она там будет жить отдельно, подальше от всяких разговоров, пока не кончится эта история.

— Значит, она решила, и вы не будете ее удерживать. Не хотите удерживать.

Байрон не поднимает глаз.

— Это, можно сказать, и в самом деле его дом. Другого такого, я думаю, у него в жизни не будет. Браун ей…

— Одна, в лачуге, и вот-вот родит. А ближайшее жилье — за полмили, негритянские домишки. — Он наблюдает за лицом Байрона.

— Я об этом думал. Есть способ, можно так сделать, чтобы…

— Что сделать? Как вы ей обеспечите там уход?

Байрон отвечает не сразу; глаз не поднимает. Но когда начинает говорить, в голосе — упорство.

— Кое-что можно и тайком делать — а не во зло, ваше преподобие. Все равно, как это людям покажется.

— Я не думаю, Байрон, чтобы вы были способны на что-нибудь очень уж злое, как бы это

ни показалось людям. Но возьметесь ли вы сказать, где именно кончается зло и начинается его видимость? На какой грани между делом и видимостью останавливается зло?

— …Не во зло, — говорит Байрон. Он слегка пошевелился; он говорит так, как будто тоже просыпается: — Я надеюсь, что нет. По моему разумению, я хочу поступить правильно.

«Это, — думает Хайтауэр, — первый раз, что он мне солгал. Солгал кому бы то ни было, мужчине или женщине, возможно даже — самому себе». Он смотрит через стол на упрямое, серьезное лицо, которое так ни разу и не повернулось к нему. «А может быть, это еще не ложь, раз он сам не понимает, что это ложь?» Он говорит:

— Прекрасно. — Говорит с напускной резкостью, которая так не вяжется с его лицом, с дряблым подбородком и черными пещерами глаз. — Значит, все решено. Вы отведете ее туда, в его дом, позаботитесь, чтобы ей было удобно и чтобы ее не тревожили, пока все не кончится. А потом вы скажете этому человеку… Берчу, Брауну… что она здесь.

— И он сбежит, — говорит Байрон. Он не поднимает глаз, но кажется, что его захлестывает торжество, ликование — раньше чем он успевает

сдержать и скрыть его, когда уже и пытаться поздно. В первое мгновение он даже не пытается его сдержать; тоже откинувшись на стуле, он впервые смотрит на священника — уверенно, смело, бодро. Тот отвечает ему пристальным взглядом.

— Так вот чего вы добиваетесь? — говорит Хайтауэр. На них обоих падает прямой свет лампы. В открытое окно льется жаркая роящаяся тишина бездыханной ночи. — Подумайте, что вы делаете. Вы пытаетесь встать между мужем и женой.

Байрон овладел собой. На лице его уже нет торжества. Но он твердо смотрит на старшего. Возможно, пытается овладеть и голосом. Но еще не может.

— Они еще не муж и жена, — говорит он.

— Она тоже так думает? Вы полагаете, и она так скажет? — Они смотрят друг на друга. — Ах, Байрон, Байрон. Чего стоит десяток невнятных слов у алтаря перед прочностью женской натуры? Перед ребенком?

— Ну, может, он и не сбежит. Если получит эти деньги, премию. На тысячу долларов напьется, пожалуй, так, что будет способен на все — даже жениться.

— Ах, Байрон, Байрон.

— А что, по-вашему, мы… я должен делать? Что вы посоветуете?

— Уезжайте из Джефферсона. Совсем. — Они смотрят друг на друга. — Нет, — говорит Хайтауэр. — Вам не нужна моя помощь. Вам уже помогает кто-то посильнее меня.

Байрон молчит. Они смотрят друг на друга, упорно.

— Кто помогает?

— Дьявол, — говорит Хайтауэр.

«Да, дьявол и о **нем** печется», — думает Хайтауэр. Он на полпути к дому, под локтем у него висит нагруженная корзинка. «И о нем. И о нем», — думает он, шагая. Жарко. Он в рубашке и темных брюках — высокий, тонконогий, с тощими костлявыми руками и плечами; дряблый обвислый живот выглядит противоестественно, как беременность. Рубашка белая, но несвежая; воротник замусолен, как и белый, небрежно завязанный галстук из батиста; лицо два или три дня не брито. Панама замусолена, а из-под нее высовываются край и уголки грязного платка, поддетого по случаю жары. Он возвращается с покупками, за которыми дважды в неделю ходит в город; там, худой, оплывший, в седой щетине, в очках, туманящих темные глаза, с траурными

ногтями, пропахший запахом сидячей жизни и немытого мужского тела, он вошел в душистый, заваленный снедью магазин, где покупает всегда, расплачиваясь наличными.

— Ну, напали наконец на след этого нигера, — сказал хозяин.

— Негра? — сказал Хайтауэр. Он замер — как раз в ту секунду, когда засовывал в карман сдачу.

— Да этого… ну — убийцы. Я всегда говорил, что-то тут не то. Не белый он. Что какой-то он не такой. Но разве людям чего докажешь, покуда…

— Напали на след? — сказал Хайтауэр.

— А как же, черт подери. Ведь этот дурак даже не скумекал убраться из округа. Тут шериф весь округ обзвонил, чтоб его искали, а эта черная сво… хм, сидит у него под самым носом.

— И они его… — Он оперся на прилавок поверх своей нагруженной корзинки. Он чувствовал, как ребро прилавка врезается ему в живот. Прилавок казался прочным, устойчивым; было похоже скорей, что сама земля слегка покачивается, хочет тронуться. Потом она тронулась, медленно и без спешки, словно ее отпустили, и пошла вниз, все быстрей и круче, но каким-то

хитрым способом, ибо обманутому глазу мерещилось, будто невзрачные полки с рядами консервных банок, засиженных мухами, и сам продавец за прилавком не движутся — коварное, оскорбительное, обманчивое чувство. А он думал: «Не буду! Не буду! Я купил непричастность. Я заплатил за нее. Я заплатил».

— Его еще не поймали, — сказал хозяин. — Но поймают. Сегодня утром, затемно еще, шериф привез собак к церкви. Меньше чем на шесть часов от него отстают. Представляете, этот болван не придумал ничего лучше… как есть нигер, по одному по этому видно… — Затем Хайтауэр услышал: — На сегодня — все?

— Что? — сказал он. — Что?

— Больше ничего не возьмете?

— Да. Да. Больше… — Он начал рыться в кармане, хозяин наблюдал за ним. Рука появилась на свет, все еще продолжая копошиться. Она наткнулась на прилавок и разроняла монеты. Хозяин задержал несколько штук, катившихся к краю.

— А это за что? — удивился хозяин.

— За… — Рука Хайтауэра копошилась в нагруженной корзинке. — За…

— Вы уже заплатили. — Хозяин наблюдал

за ним с любопытством. — Это же сдача, которую я вам только что дал. С доллара.

— Ах, — сказал Хайтауэр. — Да. Я… я просто… — Торговец собрал монеты. Протянул ему. Рука покупателя, прикоснувшаяся к его руке, была холодна как лед.

— Все эта жара, — сказал хозяин. — Прямо изматывает человека. Может, посидите перед дорогой? — Но Хайтауэр, по-видимому, его не слышал. Он уже направился к двери, торговец смотрел ему вслед. Он вышел с корзинкой за дверь, на улицу, двигаясь скованно и осторожно, как по льду. Было жарко; жар струился от асфальта, размывая знакомые здания на площади как бы в ореоле, в живой и зыбкой светотени. Какой-то встречный заговорил с ним; он этого даже не заметил. Он шел, думая *И о нем. И о нем.* Шагал уже быстро, так что когда свернул наконец за угол, на пустую вымершую улочку, где его ждал пустой и вымерший дом, он уже сильно запыхался. «Все из-за жары», — твердила, объясняла ему поверхность сознания. Но все время, даже на тихой улочке, где едва ли кто останавливается теперь, чтобы взглянуть на вывеску и вспомнить, — там, откуда уже виден его дом, его убежище, под поверхностью сознания

крутится, морочит, утешает: «Не буду. Не буду. Я купил непричастность». Уже — почти звучащими словами: настойчиво повторяет, оправдывает: «Я заплатил за это. Не торговался. Никто не посмеет это сказать. Я хотел лишь покоя; я уплатил их цену, не торговался». Улица зыбится и плывет; он в поту, но сейчас даже полуденный зной кажется ему прохладой. Затем пот, зной, марево — все мгновенно сплавляется в решимость, которая упраздняет всякую логику и оправдания, сжирает их, как огонь: *Не желаю! Не желаю!*

Он сумерничал у окна в кабинете и, увидев, как Байрон вошел в свет фонаря и вышел, вдруг подался вперед из кресла. Не от удивления, что видит Байрона здесь, в этот час. В первый миг, когда он только узнал фигуру, он подумал *А-а. Я ожидал, что он сегодня придет. Это не в его натуре — потворствовать даже видимости зла.* И встрепенулся он, подался вперед, еще не успев додумать: в ярком свете фонаря он узнал приближающуюся фигуру, а через мгновение решил, что ошибся, хотя был уверен, что ошибиться не мог, что это не кто иной, как Байрон, ибо тот уже заворачивал к калитке.

Сегодня Байрон — другой человек. Это видно по его походке, осанке; подавшись вперед,

Хайтауэр говорит себе *Как будто он научился гордости или дерзости* Голова Байрона откинута, он идет быстро, расправив плечи; вдруг Хайтауэр говорит почти вслух: «Он что-то сделал. Предпринял». Подавшись к темному окну и прищелкивая языком, он наблюдает, как фигура стремительно уходит из поля зрения, направляясь к крыльцу, к двери, а еще через секунду слышатся шаги и стук. «А со мной не захотел поделиться, — думает он. — Я бы выслушал, не мешал бы ему думать вслух». Он уже идет по комнате, задерживается у стола, чтобы включить свет. Направляется к входной двери.

— Это я, ваше преподобие, — говорит Байрон.

— Я вас узнал, — говорит Хайтауэр. — Хотя на этот раз вы не споткнулись о нижнюю ступеньку. Вам не раз случалось бывать в этом доме, Байрон, но до нынешнего вечера еще ни разу не было так, чтобы вы не споткнулись о нижнюю ступеньку. — С такой ноты обыкновенно и начинались визиты Байрона: несколько деспотической шутливости и тепла, чтобы гость почувствовал себя непринужденно, а со стороны гостя — неуклюжей деревенской застенчивости, суть которой — учтивость. Порой Хайтауэру казалось, что он втягивает Байрона в дом одним

рассчитанным вдохом, как будто на Байроне парус.

На этот раз Байрон входит, не дожидаясь, когда Хайтауэр закончит фразу. Входит без заминки, с этим своим новым выражением — средним между уверенностью и дерзостью.

— Думаю, вам еще хуже не понравится, когда я не спотыкаюсь, чем когда я спотыкаюсь, — говорит Байрон.

— Вы обнадеживаете меня или угрожаете, Байрон?

— Нет, это я не как угрозу, — говорит Байрон.

— Ага, — говорит Хайтауэр. — Другими словами, вы не оставляете мне надежды. Что ж, по крайней мере я предупрежден. Я был предупрежден, как только увидел вас под фонарем. Но рассказать о чем-то вы все-таки хотите. О том, что вы уже сделали, хотя и не сочли нужным говорить заранее.

Они идут в кабинет. Байрон останавливается перед дверью; обернувшись, смотрит снизу на лицо священника.

— Так вы знаете, — говорит он. — Уже слышали. — Он не отвернулся, но уже не смотрит на хозяина. — Что ж… — говорит он. — Язык, конечно, человеку не свяжешь. Даже женщине.

Но все-таки хотелось бы знать, кто вам сказал. Не то что мне стыдно. И скрывать я от вас не хотел. Я вам сам собирался сказать, когда смог бы.

Они стоят перед дверью освещенной комнаты. Теперь Хайтауэр видит, что Байрон нагружен свертками и пакетами, судя по всему — с провизией.

— Что? — говорит Хайтауэр. — Что вы собирались мне сказать?.. Впрочем, входите. Может быть, я и сам уже знаю. Но я хочу посмотреть на ваше лицо, когда вы будете говорить. Я вас тоже предупреждаю, Байрон. — Они входят в освещенную комнату. В свертках еда: он слишком много сам перетаскал таких, чтобы не догадаться. — Располагайтесь, — говорит он.

— Нет, — отвечает Байрон. — Я к вам ненадолго. — И стоит, серьезный, сдержанный, с видом все еще сочувственным, но решительным, хотя и без самоуверенности, убежденным, без настойчивости — с видом человека, собирающегося совершить поступок, которого кто-то близкий не поймет и не одобрит и который сам он считает правильным, зная, что другой никогда с этим не согласится. Он говорит: — Вам это не понравится. Но по-другому нельзя. Мне хочется, чтобы и вы так думали. Но вы, наверно, не можете.

Ну что ж, ничего не попишешь.

Хайтауэр сел и хмуро смотрит на него через стол.

— Что вы сделали, Байрон?

Байрон и говорит по-новому: коротко, сжато, не запинаясь, точными словами.

— Отвел ее туда сегодня вечером. Домик уже прибрал, навел чистоту. Она там устроилась. Она сама хотела. Другого такого дома у него никогда не было и не будет, и я думаю, она имеет право там жить, тем более что хозяин там пока не живет. Задержался, можно сказать, в другом месте. Я знаю, вам это не понравится. Вы можете назвать много причин, и все веские. Вы скажете — это не его хибарка, с какой стати ее туда пускать. Ну что ж. Может, и так. Но ни в штате, ни в целой стране не найдется человека, который бы сказал, что она не имеет на это права. Вы скажете, что в ее положении ей нужна рядом женщина. Что ж. Там есть негритянка, немолодая уже, так что рассудительная, — и живет меньше чем в двухстах метрах. Она может ее позвать, не вставая со стула или с кровати. Вы скажете — но она же не белая. А я вас спрошу, чего ей ждать от белых женщин в Джефферсоне, когда она будет рожать, если она недели еще в Джефферсоне

не живет, а стоит ей поговорить с женщиной минут десять, как той уже известно, что она незамужняя и что, пока этот прохвост ходит по земле и она о нем хотя бы изредка слышит, она вообще не выйдет замуж. Много ли помощи она дождется от белых дам? Конечно, они позаботятся, чтобы ей было на чем лежать и чтобы рожала не у всех на виду, а в помещении. Я не об этом. И думаю, трудно спорить с человеком, который скажет, что лучшего она не заслуживает, коли, живот нагуливая, обходилась без помещения. Но ребенок-то не выбирал. А хоть бы и выбирал — будь я неладен, если любой несчастный малыш, которого ждет здесь то, что может ждать на земле… не заслуживает ничего лучше… ничего больше… Думаю, вы меня понимаете. Думаю, вы сами могли бы это сказать. — Хайтауэр наблюдает за ним из-за стола, а он говорит ровным, сдержанным тоном, и слова приходят сами, пока речь не коснулась чего-то слишком нового еще и неясного, где ведет уже только чутье. — И третья причина. Белая женщина, и живет совсем одна. Это вам не понравится. Не понравится больше всего.

— Ах, Байрон, Байрон.

Голос Байрона становится угрюмым. Но головы он не опускает.

— Я с ней в доме не живу. У меня палатка. И притом не очень близко. Как раз где я смогу ее услышать в случае чего. А на дверь я поставил засов. Пусть кто угодно приходит и когда угодно — увидит меня в палатке.

— Ах, Байрон, Байрон.

— Я знаю, у вас нет этого в мыслях, как у большинства из них. И сейчас тоже. Я знал, что вы поймете, даже если бы она и не была… если бы и без… Я понимаю, вы так говорите потому, что знаете, как другие на это посмотрят.

Хайтауэр опять сидит в позе восточного идола, держа руки параллельно на подлокотниках кресла.

— Уезжайте, Байрон. Уезжайте. Сейчас. Немедленно. Навсегда покиньте это место, это ужасное место, ужасное, ужасное место. Я вижу вас насквозь. Вы мне скажете, что впервые узнали любовь; а я вам скажу, что вы узнали надежду. И только; надежду. Предмет безразличен — для надежды, и даже для вас. У него только один конец — у пути, который вы выбираете: грех или женитьба. А на грех вы не пойдете. Вот в чем беда, да простит меня Бог. Для вас это будет, должно быть, либо женитьба, либо ничего. И вы будете добиваться женитьбы. Вы убедите ее; может

быть, уже убедили — если бы только она это понимала, могла это допустить, — иначе почему же она согласилась остаться здесь и не пытается увидеть человека, которого разыскивала? Я не могу вам сказать: «Выбирайте грех», потому что вы не только возненавидите меня — вы передадите эту ненависть и ей. И я говорю: уезжайте. Сейчас. Немедленно. Ступайте и не оглядывайтесь назад. Только не это, Байрон.

Они смотрят друг на друга.

— Я знал, что вам это не понравится, — говорит Байрон. — Пожалуй, я правильно сделал, что не стал располагаться у вас в гостях. Но этого я не ожидал. Что вы тоже ополчитесь против женщины, которую опозорили и предали…

— Нельзя предать женщину, у которой есть ребенок; муж матери — отец он или нет — уже рогоносец. Оставьте себе хотя бы маленький шанс на удачу, Байрон. Если вы должны жениться, есть одинокие женщины, девицы, девушки. Это несправедливо, чтобы вы принесли себя в жертву женщине, которая уже выбрала раз, а теперь хочет отречься от своего выбора. Это неправильно. Нечестно. Бог не для этого создал брак. Создал? Женщины изобрели брак.

— В жертву? Я — жертва? Мне кажется, жерт-

ва…

— Только не на ней. Для таких, как Лина Гроув, всегда найдутся на свете двое мужчин, и имя им легион: Лукасы Берчи и Байроны Банчи. Но ни одна Лина, ни одна женщина не заслуживает больше одного. Ни одна женщина. Хорошие женщины мучаются с хамами, пропойцами и прочими. Но от какого хама какая женщина, хороша она или плоха, пострадала так, как страдают мужчины от хороших женщин? Скажите мне, Байрон.

Они беседуют тихо, без горячности, умолкая то и дело, чтобы взвесить слова собеседника, — как два человека, уже непоколебимые в своих убеждениях.

— Пожалуй, вы правы, — говорит Байрон. — Во всяком случае, не мне говорить, что вы ошибаетесь. Но и не думаю, чтобы вы могли так сказать, даже если я не прав.

— Да, — отвечает Хайтауэр.

— Если я не прав, — повторяет Байрон. — Так что пожелаю-ка я вам спокойной ночи. — И добавляет тихо: — Дорога туда неблизкая.

— Да, — соглашается Хайтауэр. — Я и сам, случалось, туда ходил. Мили, наверное, три.

— Две мили, — говорит Байрон. — Что ж. —

Он поворачивается. Хайтауэр не двигается. Байрон поправляет пакеты, которые так и не выпустил из рук. — Пожелаю вам спокойной ночи, — говорит он, направляясь к двери. — Я думаю, в скором времени увидимся.

— Да, — говорит Хайтауэр. — Я чем-нибудь могу быть полезен? Вам что-нибудь нужно? Простыни и прочее?

— Большое спасибо. Думаю, ей хватит. Там уже было кое-что. Большое спасибо.

— Вы дадите мне знать? Если будут новости. Когда ребенок… С доктором договорились?

— Я об этом позабочусь.

— Но вы с ним уже говорили? Вы с ним условились?

— Я все устрою. И дам вам знать.

Его уже нет. Снова Хайтауэр наблюдает из окна, как он выходит на улицу и отправляется в свой двухмильный путь к окраине, со свертками еды в руках. Он скрылся из виду — ушел, выпрямившись, скорым шагом; такого шага обрюзглый и склонный к одышке старик, старик, слишком долго проживший сиднем, не выдержал бы. И жарким августовским вечером Хайтауэр наклоняется к окну, не чувствуя запаха, в котором живет, — запаха людей, живущих уже вне жизни,

запаха усыхающей рыхлости и лежалого белья — как бы первого веяния могилы, и, прислушиваясь к шагам, которые, чудится ему, еще слышны, хотя он знает, что они давно смолкли, думает: «Благослови его Бог. Помоги ему Бог»; думает *Молодость. Молодость. Что может сравниться с этим, ничто на свете с этим не сравнится.* Он тихо думает: «Не надо мне было отвыкать молиться». И он уже не слышит шагов. Он слышит только несметный и неумолчный хор насекомых и, наклонившись над подоконником, вдыхая горячую крепкую всячину земных запахов, думает о том, как в молодости, молодым, он любил темноту, любил бродить и сидеть под деревьями ночью. Тогда почва, кора деревьев становились живыми, первобытными и воскрешали, навораживали неведомые и зловещие полувосторги-полуужасы. Он боялся этого. Он страшился; он любил, боясь. Но вот однажды, в семинарии, он понял, что больше не боится. Словно дверь куда-то захлопнулась. Он больше не боялся темноты. Он просто ненавидел ее; он бежал от нее — в стены, к искусственному свету. «Да, — думает он. — Нельзя мне было отвыкать молиться». Он отворачивается от окна. Одна стена кабинета заставлена книгами. Он останавливается перед

ними, ищет и наконец находит нужную. Это — Теннисон. Затрепанный, с загнутыми уголками. Книга у него — с семинарских времен. Он садится к лампе и раскрывает ее. Переход недолог. И скоро в изящном галопе слога среди худосочных дерев и вяленых вожделений стремительно, плавно, покойно накатывает на него обморочная истома. Это лучше, чем молиться, не затрудняя себя думами вслух. Это — как слушать в соборе евнуха, поющего на языке, которого даже не нужно понимать.

14

— Там в хибарке кто-то есть, — сказал шерифу помощник. — Не прячется — живет там.

— Поди посмотри, — сказал шериф.

Помощник сходил и вернулся.

— Женщина. Молодая женщина. И расположилась, похоже, надолго. А Байрон Банч в палатке обосновался: от нее — как отсюда примерно до почты.

— Байрон Банч? — говорит шериф. — Что за женщина?

— Не знаю. Нездешняя. Молодая. Все мне рассказала. Я еще порога не переступил, как она начала рассказывать — словно речь заготовила. Словно уже привыкла рассказывать, втянулась. И думаю, правда привыкла, пока шла сюда откуда-то из Алабамы, мужа разыскивала. Он якобы вперед уехал устраиваться на работу, а она за ним собралась, и по дороге ей говорили, что он здесь. А в это время вошел Байрон, говорит — я вам все расскажу. Говорит, что вам собирался рассказать.

— Байрон Банч, — повторяет шериф.

— Да, — подтверждает помощник. — Говорит, она ждет ребенка. И ждать ей недолго.

— Ребенка? — говорит шериф. Он смотрит на помощника. — Из Алабамы. Да откуда угодно. Ты мне про Байрона Банча такого не рассказывай.

— А я и не собираюсь, — говорит помощник. — Я не говорю, что он от Байрона. По крайней мере Байрон не говорит, что от него. Я вам рассказываю то, что он мне сказал.

— А-а, — говорит шериф. — Понятно. Почему она тут. Так значит — от кого-то из этих двоих. От Кристмаса. Так?

— Нет. Байрон и про это рассказал. Увел меня из дому, чтобы она не слыхала, и все выложил. Говорит, что собирался пойти и рассказать вам. Это — от Брауна. Только фамилия его не Браун. Лукас Берч. Байрон мне все рассказал. Как этот Браун или Берч бросил ее в Алабаме. Сказал ей, что едет искать работу и жилье, а потом ее вызовет. Но срок уже подходит, а от него ничего нет — ни где он, ни что он, — и она решила больше не ждать. Отправилась пешком, по дороге спрашивала, не знает ли его кто. А потом кто-то сказал, что есть такой парень, не то Берч, не то Банч, не то еще как-то, работает на строгальной

фабрике в Джефферсоне, и она явилась сюда. Приехала на телеге в субботу, когда мы были на месте убийства, пришла на фабрику, и оказывается, он — не Берч, а Банч. А Байрон говорит, он не подумавши сказал ей, что муж ее — в Джефферсоне. А потом, говорит, она приперла его к стенке и заставила сказать, где Браун живет. Но что Браун или Берч замешан с Кристмасом в этом убийстве, он ей не сказал. Сказал только, что Браун отлучился по делам. И правда — чем не дело? А уж работа-то — точно. В жизни не видел, чтобы человек так сильно хотел тысячу долларов и столько ради нее терпел. Словом, она сказала, что дом Брауна, наверно, и есть тот самый, который Лукас Берч обещал ей приготовить, и переехала сюда ждать, когда Браун освободится от этих самых дел, для которых он отлучился. Байрон говорит, он не мог ей помешать — не хотел ей правду говорить о Брауне после того, как, можно сказать, наврал. Он будто бы еще раньше хотел к вам прийти и сказать, только вы его опередили, он ее и устроить как следует не успел.

— Лукас Берч? — говорит шериф.

— Я и сам удивился, — отвечает помощник. — Что вы думаете с ними делать?

— Ничего, — говорит шериф. — Я думаю,

они там никому не помешают. Дом не мой — не мне их и выгонять. И, как ей Байрон правильно сказал, Берч, или Браун, или как там его, пока что будет довольно сильно занят.

— А Брауну вы скажете про нее?

— Пожалуй, нет, — отвечает шериф. — Это не мое дело. Я не занимаюсь женами, которых он бросил в Алабаме или где-нибудь еще. Я мужем занимаюсь, которым он, кажется, обзавелся у нас в Джефферсоне.

Помощник гогочет.

— Вот ведь, действительно, — говорит он. Потом остывает, задумывается. — Если он свою тысячу не получит, ведь он, поди, просто умрет.

— Умрет — вряд ли, — отвечает шериф.

В три часа ночи, в среду, в город на неоседланном муле приехал негр. Он вошел к шерифу в дом и разбудил его. Явился он из негритянской церкви в двадцати милях отсюда, прямо с еженощного радения. Накануне вечером посреди гимна сзади раздался страшный грохот, и прихожане, обернувшись, увидели человека, стоявшего в дверях. Дверь была не заперта и даже не затворена, но человек, по-видимому, рванул за ручку и так хватил дверью о стену, что звук этот прорезал слаженное пение, как пистолетный выстрел. Затем он

быстро двинулся по проходу между скамьями, где оборвалось пение, к кафедре, где священник замер, так и не разогнувшись, не опустив рук, не закрыв рта. Тогда они увидели, что он белый. В густом пещерном сумраке, еще более непроглядном от света двух керосиновых ламп, люди не могли рассмотреть пришельца, пока он не достиг середины прохода. Тут они увидели, что лицо у него не черное, и где-то завизжала женщина, а сзади люди повскакали и бросились к двери; другая женщина, на покаянной скамье, и так уже близкая к истерике, вскочила и, уставясь на него белыми выпученными глазами, завопила: «Это дьявол! Это сам сатана!» И побежала, не разбирая дороги. Побежала прямо к нему, а он на ходу сшиб ее кулаком, перешагнул и пошел дальше, среди ртов, разинутых для крика, среди пятящихся людей, прямо к кафедре и вцепился в священника.

«А его никто не задевал, даже тут, — рассказывал гонец. — Все очень быстро получилось, никто не знал, кто он такой, и откуда, и чего ему надо. Женщины кричат, визжат, а он как схватит брата Биденбери за глотку и — с кафедры его тащить. Мы видим, брат Биденбери говорит с ним, успокоить его хочет, а он брата Биденбери

трясет и бьет по щекам. Женщины визжат, кричат, и даже не слыхать, чего ему брат Биденбери говорит — только сам он его не трогал, не ударил, ничего, — тут к нему старики, дьяконы подошли, хотели поговорить, и он брата Биденбери выпустил, развернулся и старого Папу Томпсона, восьмой десяток ему, сшиб прямо под покаянную скамью, а потом нагнулся, как схватит стул, как замахнется — они и отступили. В церкви кричат, визжат, к дверям бегут. А он повернулся, влез на кафедру — а брат Биденбери пока что с другого края слез — и встал, сам грязный с головы до ног, лицо черным волосом заросло, и руки поднял, как проповедник. И как начал оттуда Бога ругать, прямо криком ругается, громче, чем женщины визжат — а люди Роза Томпсона держат. Папы Томпсона дочки сына, в нем росту шесть футов, и бритва в руке открытая, а он кричит: «Убью. Пустите, братцы. Он дедушку ударил. Убью. Пустите. Прошу, пустите», — а люди на улицу лезут, по проходу бегут, топочут, в дверь прут, а он на кафедре ругает Бога, а люди Роза Томпсона оттаскивают, а Роз все просит: пустите! Но Роза мы все-таки из церкви вытащили и спрятались в кустах, а он все кричит и ругается на кафедре. Потом он замолчал, и мы видим — подошел

к двери, стоит. Тут Роза опять пришлось держать. Он, видно, услышал галдеж, когда Роза не пускали, потому что засмеялся. Стоит там в дверях, свет загораживает и смеется во всю глотку, а потом обратно начал ругаться, и видим, схватил ножку от скамейки и замахнулся. И слышим, хрясь одна лампа, в церкви потемнело, а потом слышим, другая хрясь, и совсем темно, и самого его не видать. А там, где Роза держали, опять загалдели, кричат шепотом: «Вырвался», — и слышим, Роз обратно к церкви побежал — тут дьякон Вайнс мне и говорит: «Убьет его Роз. Сигай на мула и ехай за шерифом. Расскажи все, как видал». А его никто не задевал, начальник, — сказал негр. — Как его и звать-то — не знаем. Не видели его отродясь. А Роза держать старались. Да ведь Роз — большой, а он его дедушку — кулаком, а у Роза бритва в руке открытая, и он не очень смотрел, кто еще ему под руку попадется, когда обратно в церковь рвался, к белому. А держать Роза мы старались, ей-богу».

Вот что он рассказал шерифу — ибо рассказал то, что знал. Он ускакал сразу: он не знал, что, пока он рассказывает об этом, негр Роз лежит в хижине по соседству с церковью без сознания, ибо когда он кинулся в темную уже церковь,

Кристмас из-за двери проломил ему ножкой скамьи череп. Он ударил только раз, сильно, с яростью, целясь по звуку бегущих ног и по широкой тени, ринувшейся в дверь, и сразу услышал, как она рухнула на опрокинутые скамейки и затихла. И сразу же выпрыгнул из церкви на землю и замер в свободной стойке, все еще держа ножку скамьи, спокойный, даже не запыхавшийся. Ему было прохладно, он не потел; темнота веяла на него прохладой. Церковный двор — белесый серп утоптанной земли — был окружен кустарниками и деревьями. Он знал, что кустарник кишит неграми: он ощущал их взгляды. «Смотрят и смотрят, — думал он. — И не знают даже, что не видят меня». Он дышал глубоко; он обнаружил, что прикидывает ножку на вес, как бы примеряясь, по руке ли, словно никогда ее не держал. «Завтра сделаем на ней зарубку», — подумал он. Потом аккуратно прислонил ножку к стене и вынул из кармана рубашки сигарету и спички. Чиркнув спичкой, он замер и стоял, чуть повернув голову, пока разгорался крохотный желтый огонек. Услышал стук копыт. Услышал, как он начался, затем участился и постепенно утих. «На муле, — сказал он негромко. — В город, с хорошими новостями». Он закурил, бросил

спичку и стоял, вдыхая дым, чувствуя прикованные к крохотному живому угольку взгляды негров. Хотя он простоял там, пока не докурил сигарету, он был начеку. Прислонившись спиной к стене, он держал в правой руке ножку скамьи. Он докурил сигарету до самого конца и щелчком отбросил ее подальше к кустам, где чуял притаившихся негров. «Держите бычка, ребята», — вдруг раздался в тишине его громкий голос. Притаившись в кустах, они видели, как сигарета, мигая, упала на землю и продолжала там тлеть. Но как он ушел и куда направился, они не видели.

На другое утро, в восемь часов, приехал шериф со своим отрядом и ищейками. Один трофей они захватили сразу, хотя собаки не имели к этому отношения. Церковь была пуста; все негры куда-то пропали. Люди вошли в церковь и молча оглядели картину разгрома. Потом вышли. Собаки сразу напали на чей-то след, но прежде чем отправиться дальше, помощник заметил на стене засунутый в трещину доски клочок бумаги. Попал он сюда, по-видимому, не случайно и, когда его развернули, оказался разорванной оберткой от сигарет, на внутренней, белой стороне которой было что-то написано. Написано коряво — то ли

неумелой рукой, то ли в темноте — и немного. Одна непечатная фраза, адресованная шерифу, без подписи. «Что я вам говорил?» — сказал один из спутников шерифа. Он был небрит и грязен, как и беглец, которого они до сих пор не видели, лицо — напряженное и ошалелое от возмущения и неудач, голос — хриплый, словно в последнее время он долго кричал или говорил без умолку.

— Я вам все время говорил! Говорил ведь!

— Что говорил? — произнес шериф холодным, спокойным тоном, обратив на него холодный, спокойный взгляд и не выпуская из руки записку. — Когда говорил? — Тот смотрел на шерифа возмущенно, с отчаянием, в таком расстройстве, когда уже нет человеческих сил терпеть; глядя на него, помощник подумал: «Ведь просто умрет, если не получит свою премию». Рот у того беззвучно открылся, и на озлобленном лице выразились озадаченность, изумление, будто он не мог поверить своим ушам. — И я тебе говорил, — продолжал шериф скучным, тихим голосом, — если тебе не нравится, как я веду дело, можешь подождать в городе. Тебе там есть где подождать. И охолонуть, а то ты больно разгорячился на солнце. Говорил я тебе или нет, а? Отвечай.

Тот закрыл рот. Отвел глаза, как будто с невероятным усилием; и с невероятным усилием выдавил из пересохшего горла:

— Да.

Шериф грузно повернулся и скомкал бумажку.

— Постарайся, чтобы это больше не вылетело у тебя из головы — сказал он. — Если только есть откуда вылететь. — Их окружали спокойные, внимательные лица, освещенные утренним солнцем. — А мне в этом, если хотите знать, сам Господь Бог велит сомневаться. — Кто-то гоготнул. — Ладно шуметь, — сказал шериф. — Пошли. Пускай собачек, Бьюф.

Пошли с собаками — по-прежнему на поводках. Они сразу взяли след. След был хороший, легко различимый из-за росы. Беглец, по-видимому, и не пытался его скрыть. Они разглядели даже отпечатки его колен и ладоней там, где он опустился, чтобы попить из родника.

— Сколько видел убийц, — сказал помощник, — хоть бы у одного было понятие о людях, которые за ним погонятся. А что собак можем взять, ему, болвану, и в голову не приходит.

— Мы каждый день напускаем на него собак, начиная с субботы, — сказал шериф. — И до сих пор не поймали.

— То были остывшие следы. До нынешнего дня у нас не было хорошего свежего следа. Но сегодня он дал маху. Сегодня будет наш. Может, еще до обеда.

— Поживем — увидим, — сказал шериф.

— Увидите, — сказал помощник. — След прямой, как железная дорога. Становись да иди по нему. Вон, глядите, даже подошвы видны. Этот болван не догадался даже сойти на дорогу, в пыль, где много других следов, и собаки бы его не учуяли. Часам к десяти собачки доберутся до конца этого следа.

Что они и сделали. Вскоре след резко повернул под прямым углом. Он вывел их на дорогу, собаки, пригнув головы, провели их немного по дороге и свернули на обочину, откуда шла тропинка к хлопковому сараю в поле неподалеку. Они забрехали громкими мягкими раскатистыми голосами, начали тянуть, кружить, рваться, скуля от нетерпения.

— Ну, болван! — сказал помощник. — Сел отдохнуть: вон его следы — каблуки эти рубчатые. Он не больше чем в миле от нас! Вперед, ребята!

Двинулись дальше: собаки — натянув ремни и гавкая, люди — за ними рысцой. Шериф обернулся к небритому.

— Ну, имеешь возможность отличиться: беги вперед, хватай его, и тысяча — твоя, — сказал он. — Чего же ты?

Тот не ответил; всем сейчас было не до разговоров, запыхались — особенно после того, как, пройдя с милю за собаками, которые по-прежнему тянули и гавкали, они свернули с дороги и по тропе, змейкой взбегавшей на холм, вышли на кукурузное поле. Здесь собаки умолкли, но прыти у них не убавилось, а даже наоборот; люди уже бежали. За высокой, в человеческий рост, кукурузой стояла негритянская хибарка.

— Он здесь, — сказал шериф, вытаскивая пистолет. — Осторожней, ребята. Он тоже будет с пистолетом.

Маневр был проделан хитро и искусно: вытащив пистолеты, скрытно окружили дом, шериф, за которым следовал помощник, метнулся к хибарке и, несмотря на тучность, ловко прилип к стене в мертвом пространстве между окнами. Распластавшись по стене, он обежал угол, пинком распахнул дверь и впрыгнул с пистолетом наготове в хибарку. Там находился негритенок. Он был в чем мать родила и что-то жевал, сидя в холодной золе очага. По-видимому, он был один, хотя через секунду из внутренней двери

появилась женщина и, разинув рот, выронила чугунную сковородку. На ней были мужские туфли, в которых один из отряда опознал туфли беглеца. Она рассказала им про белого человека — о том, как на рассвете у дороги он выменял у нее свои туфли на мужнины чеботы, которые были на ней. Шериф слушал.

— Это было прямо возле хлопкового сарая, так? — спросил он. Она сказала «Да». Он вернулся к своему отряду, к рвущимся с ремней собакам. Он глядел на собак, люди сперва задавали ему вопросы, а потом замолчали и только наблюдали за ним. Наблюдали, как он засунул пистолет в карман, а затем повернулся и пнул собак, каждую по разу, крепко. — Отправьте этих чертовых подхалимов в город, — сказал он.

Однако шериф был исправным служакой. Он знал не хуже своих людей, что вернется к хлопковому сараю, где, по его представлениям, все это время прятался Кристмас, — хотя знал уже, что когда они туда придут, Кристмаса не будет. Чтобы оттащить собак от хибарки, пришлось повозиться, и стояло уже яркое десятичасовое пекло, когда они осторожно, искусно, бесшумно окружили хлопковый сарай и внезапно, по всем правилам, но без особой надежды, нагрянули

туда с пистолетами — и захватили врасплох удивленную и перепуганную полевую крысу. Тем не менее шериф еще располагал собаками — они вообще не желали приближаться к сараю; не желали уйти с дороги, упирались и вылезали из ошейников, магнетически оборотив головы к хибарке, откуда их только что уволокли. Двум мужчинам пришлось потрудиться на совесть, чтобы доставить их к сараю, но стоило чуть-чуть отпустить ремни, как они вскочили, будто по команде, и дернули вокруг сарая прямо по отпечаткам подошв беглеца в высоком и еще не просохшем от росы бурьяне с теневой стороны — дернули обратно к дороге, вскидываясь, налегая на ошейники, и проволокли двух мужчин метров пятьдесят, прежде чем им удалось, накинув ремни на деревца, застопорить собак. На этот раз шериф их даже не пнул.

Наконец гвалт и крики, шум и ярость погони замирают, остаются за слухом. Шериф не угадал; когда люди с собаками проходили мимо сарая, Кристмаса там не было. Он задержался там только для того, чтобы зашнуровать чеботы: черные башмаки, черные башмаки, пропахшие негром. Кажется, они вырублены из железной руды тупым топором. Глядя на свою грубую, жесткую,

корявую обувь, он произнес сквозь зубы: «Ха». Он словно увидел, как белые наконец загоняют его в черную бездну, которая ждала и пыталась проглотить его уже тридцать лет — и теперь наконец он действительно вступил в нее, неся на щиколотках четкую и неистребимую мерку своего погружения.

Светает, занимается утро: сера и пустынна, обмирает окрестность, проникнутая мирным и робким пробуждением птиц. Воздух при вдохе — как ключевая вода. Он дышит глубоко и медленно, чувствуя, как с каждым вздохом сам тает в серой мгле, растворяется в тихом безлюдье, которому неведомы ни ярость, ни отчаяние. «Это все, чего я хотел, — думает он со спокойным и глубоким удивлением. — Только этого — тридцать лет. Кажется, не так уж много прошено — на тридцать лет».

Со среды он спал мало, и вот наступила и прошла еще одна среда, но он этого не знает. Теперь, когда он думает о времени, ему кажется, что тридцать лет он жил за ровным частоколом именованных и нумерованных дней и что, заснув однажды ночью, проснулся на воле. После побега, в пятницу ночью, он сначала пытался, по старой памяти, вести счет дням. Однажды, заночевав

в стогу и лежа без сна, он видел, как просыпается хутор. Перед рассветом он увидел, как в кухне зажглась желтым лампа, а потом в серой еще тьме услышал редкий, гулкий стук топора и шаги — мужские шаги среди звуков пробуждающегося скота в хлеву по соседству. Затем почуял дым и запах пищи, жгучий, жестокий запах, и начал повторять про себя *С тех пор не ел. С тех пор не ел* — тихо лежа в сене, дожидаясь, чтобы мужчины поели и ушли в поле, пытаясь вспомнить, сколько дней прошло с того ужина в пятницу, в джефферсонском ресторане, покуда название дня недели не стало казаться важнее, чем пища. Так что, когда мужчины наконец ушли и он спустился, вылез на свет бледно-желтого лежачего солнца и подошел к кухонной двери, он даже не спросил поесть. Он собирался. Чувствовал, как выстраиваются в уме грубые слова, протискиваются к языку. А потом к двери подошла тощая, продубленная женщина, поглядела на него, и он по ее испуганному, ошалелому взгляду понял, что она его узнала, и, думая *Она меня знает. И досюда дошло* услышал свой тихий голос: «Скажите, какой сегодня день? Я просто хотел узнать, какой сегодня день».

— Какой день? — Лицо у нее было такое же

тощее, как у него, тело такое же тощее, такое же неутомимое и такое же измочаленное. Она сказала: — Пошел отсюда! Вторник! Пошел отсюда! Мужа позову!

Он тихо сказал: «Спасибо», — как раз когда хлопнула дверь. Потом он бежал. Он не помнил, как побежал. Одно время он думал, будто бежит к какой-то цели, которая вдруг вспомнилась в самом беге, так что уму нет нужды трудиться и вспоминать, зачем он бежит — ибо бежать было нетрудно. Даже совсем легко. Он сделался совсем легким, невесомым. Даже на полном ходу ему казалось, что ноги шарят по нетвердой земле медленно, легко и нарочно наобум — пока он не упал. Он не споткнулся. Просто повалился — все еще думая, что он на ногах, что еще бежит. Но он лежал — ничком в мелкой канавке на краю пашни. Потом вдруг сказал: «Надо бы встать». Когда он сел, оказалось, что солнце, на полпути к полудню, светит на него с противоположной стороны. Сперва он подумал, что просто повернулся кругом. Потом понял, что уже вечер. Что когда он упал на бегу, было утро, а сейчас, хотя ему показалось, что он сел сразу, — уже вечер. «Заснул, — подумал он. — Больше шести часов проспал. Наверно, уснул на бегу и сам этого

не заметил. Вот что со мной было».

Он не удивился. Время, промежутки света и мрака давно перепутались. Любой миг мог прийтись на любую пору; каждая отсекалась двумя движениями век, без переходов. Он понятия не имел, когда перейдет от одного к другому, когда обнаружит, что спал, не помня, как ложился, когда обнаружится, что он идет, не помня, как проснулся. Иногда ему казалось, что ночь сна — в сене, в канаве, под покинутой кровлей — сменяется другой ночью без дневного промежутка, без просвета, во время которого видишь, куда бежишь; что на смену дню приходит другой день, заполненный тревогой и бегством, без ночи между ними, без всякого промежутка для отдыха — словно солнце не садилось, а повернуло над горизонтом и по той же дуге покатилось вспять. Уснув на ходу или даже за питьем — на четвереньках, у родника, он никогда не знал, что откроется его глазам в следующее мгновение — солнечный свет или звезды.

Первое время он был постоянно голоден. Он подобрал и съел гнилой, червями издырявленный плод; иногда он заползал в поле, пригибал и обгладывал спелые початки кукурузы, твердые, как терка. Он постоянно думал о еде, вообра-

жал разные блюда, пищу. Думал о том ужине, ждавшем его на кухне три года назад, и, заново переживая неторопливый уверенный замах своей руки перед тем, как пустить тарелку в стену, корчился в муках сожаления и раскаяния. Но в один прекрасный день голод пропал. Это произошло неожиданно и мирно. Он остыл, успокоился. Однако он знал, что есть должен. Он заставлял себя съесть гнилой плод, твердый початок; жевал медленно, не чувствуя вкуса. Он поедал их в громадных количествах, расплачиваясь за это приступами кровавого поноса. И сразу же его вновь обуревал голод, позыв к еде. Но теперь он был одержим не едой, а необходимостью есть. Он пытался вспомнить, когда он ел в последний раз по-человечески, горячую пищу. По ощущениям припоминал какой-то дом, хибарку. Дом или хибарку, белых или черных — он не мог вспомнить. Затем, сидя тихо, с выражением блаженной озадаченности на изможденном, больном, заросшем лице, он почуял негра. Застыв (он сидел спиной к дереву у родника, откинув голову, сложив руки на коленях, с измученным и покойным лицом), он чуял и видел негритянскую еду, негритянскую пищу. Это было в комнате. Он не помнил, как попал туда. Но все в комнате дышало бегством

и внезапным ужасом, словно люди бежали отсюда недавно, вдруг, в страхе. Он сидел за столом, ждал, ни о чем не думал — в пустоте, в молчании, дышавшем бегством. Потом перед ним оказалась еда, появилась вдруг между длинными проворными черными ладонями, которые тоже удирали, не успев опустить тарелку. Ему чудилось, будто среди звуков жевания, глотков он слышит, не слыша, вой ужаса и горя — тише вздохов, раздававшихся вокруг. «Тогда это было в хибарке, — подумал он. — И они боялись. Брата своего боялись».

Той ночью им овладело странное желание. Он лежал — на пороге сна, но не спал, и, казалось, не испытывал в сне нужды — точно так же, как склонял свой желудок к приему пищи, которой тот как будто не желал и в которой не нуждался. Желание было странное — в том смысле, что он не мог установить ни истоков его, ни мотивов, ни подоплеки. Он обнаружил, что пытается вычислить день недели. Как будто только сейчас наконец у него появилась настоятельная и срочная потребность вычеркнуть истекшие дни из тех, что отделяли его от цели, от определенного дня или поступка — так, чтобы не получилось нехватки или перебора. И с этой

потребностью на уме он провалился в беспамятство, которое заменяло ему теперь сон. Когда он проснулся на росно-сером рассвете, потребность эта была настолько отчетливой, что уже не казалась странной.

Светает, занимается утро. Он встает, сходит к роднику и вынимает из кармана бритву, помазок, мыло. Но свет еще слишком слаб, чтобы отчетливо разглядеть свое лицо в воде, поэтому он садится у родника и ждет, пока не развиднеется окончательно. Затем он взбивает на лице холодную обжигающую пену, терпеливо. Рука дрожит; несмотря на срочность дела, он охвачен истомой и должен подгонять себя. Бритва тупа; он пробует править ее на башмаке, но кожа залубенела и мокра от росы. Он бреется — с грехом пополам. Рука дрожит; получается не очень чисто, несколько раз он режется и останавливает кровь холодной водой. Он прячет бритвенные принадлежности и уходит. Шагает напрямик, пренебрегая более легким путем — по грядам. Вскоре он выходит на дорогу и возле нее садится. Это — тихая дорога, она и появляется тихо, и тихо исчезает, бледная пыль ее размечена лишь узкими и редкими следами колес да копытами лошадей и мулов, и лишь кое-где — отпечат-

ком человеческой ступни. Он сидит у дороги, без пиджака, в рубашке, некогда белой, и брюках, некогда глаженых, а теперь замусоленных и заляпанных грязью, с изможденным лицом в кустиках щетины и пятнах запекшейся крови, медленно дрожа от усталости и холода, но поднимается солнце и согревает его. Немного погодя из-за поворота выходят два негритенка, приближаются. Не видят его, пока он их не окликает; они останавливаются как вкопанные, глядят на него бело-выпученными глазами. «Какой нынче день?» — повторяет он. Они не говорят ни слова, глядят на него. Он слегка двигает головой. «Идите», — говорит он. Они идут. Он не провожает их взглядом. Сидит, как будто созерцая место, где они стояли, — словно, уйдя, они всего лишь вышли из двух раковин. Он не видит, что они бегут.

Затем, сидя там, потихоньку согреваясь на солнце, он незаметно для себя засыпает, ибо следующее, что доходит до него, — это оглушительное громыхание, дребезжание разболтанного дерева и железа и топот копыт. Открыв глаза, он видит вылетающую за поворот, из виду вон, телегу, озирающихся на него седоков и руку возницы с кнутом, который взлетает и падает. «Тоже узна-

ли, — думает он. — И они, и та белая. И негры, у которых я ел тогда. Любой из них мог бы меня схватить, если им этого хочется. Ведь им же всем этого хочется: чтобы меня схватили. Только они сперва убегают. Все хотят, чтобы меня схватили, а когда я выхожу к ним и хочу сказать: Вот я. *Да я бы сказал. Вот я. Я устал. Я устал бежать. Устал нести свою жизнь как корзинку с яйцами* они убегают. Будто есть правила, как меня ловить, а поймать меня так — будет не по правилам».

И он опять уходит в кусты. Теперь он настороже и слышит повозку раньше, чем она появляется перед глазами. Он не показывается, пока повозка не поравнялась с ним. Тогда он выступает вперед и говорит: «Эй». Повозка останавливается — рывком вожжей. Голова негра поворачивается — тоже рывком; его лицо тоже делается изумленным, затем, с узнаванием, приходит ужас.

— Какой нынче день? — говорит Кристмас.

Негр пялится на него, разинув рот.

— Ч-что вы сказали?

— Какой нынче день? Четверг? Пятница? Какой? День какой? Я ничего тебе не сделаю.

— Пятница, — говорит негр. — Господи Боже мой, пятница.

— Пятница, — говорит Кристмас. Снова дергает головой. — Езжай.

Кнут хлещет, мулы рвут с места. Эта повозка тоже опрометью уносится из виду, под взмахи кнута. Но Кристмас уже повернулся и снова вошел в лес.

Снова путь его прям, как линия геодезиста, которой все равно — что холм, что топь, что лощина. Но он не спешит. Он движется, как человек, знающий, где он есть, и куда ему надо, и сколько у него времени, точно, до минуты — чтобы туда попасть. Как будто он желает увидеть родную землю во всех ее видах — в первый и в последний раз. Он вырос и возмужал на природе, чьи силы определили и внешность его и склад ума, но, как не умеющий плавать матрос, не узнал, каков ее настоящий облик и какова она на ощупь. Вот уже неделю он крался и скрывался по укромным ее местам, но по-прежнему чужд был самим непреложным законам, которым должна повиноваться земля. Он идет ровным шагом, и поначалу ему кажется, будто от этого — от того, что он смотрит и видит, — на душе у него так тихо, мирно, покойно; но вдруг его осеняет. Он ощущает в себе сухость, легкость. «Мне больше не надо беспокоиться о еде, — думает он. — Вот в чем дело».

К полудню он прошел восемь миль. Он выходит на широкую гравийную дорогу, на шоссе. Теперь, когда он поднимает руку, повозка останавливается спокойно. На лице парнишки-негра, который правит ею, — ни изумления, ни испуга, как у тех, узнавших.

— Это куда дорога? — спрашивает Кристмас.

— В Мотстаун. Я туда еду.

— Мотстаун. И в Джефферсон едешь?

Парнишка чешет в затылке.

— Не знаю, где это. В Мотстаун еду.

— Ага, — говорит Кристмас. — Ясно. Ты, значит, нездешний.

— Да, сэр. Мы отсюда через два округа живем. Третий день в дороге. А в Мотстаун еду за теленком годовалым, папа его купил. Вы хотите в Мотстаун?

— Да, — отвечает Кристмас. Он влезает на сиденье рядом с парнем. Повозка трогается. «Мотстаун», — думает он. Джефферсон всего в двадцати милях. «Теперь можно дать себе передышку, — думает он. — Семь дней я не давал себе передышки, так что теперь, пожалуй, можно». Он думает, что, раз он сидит, его, может быть, укачает, и он уснет. Но он не спит. Ни сна нет, ни голода, ни даже усталости. Он — где-то между и среди них, па-

рит, качаясь в такт повозке, без дум, без чувств. Он потерял счет времени и расстоянию; проходит, может быть, час, может быть, три. Парнишка говорит:

— Мотстаун. Вон он.

Он глядит и видит дым на небосклоне за незаметным поворотом; он снова выходит на нее — на улицу, которая тянулась тридцать лет. Улица была мощеная, где ходить надо быстро. Она описала круг, а он так и не выбрался из него. Хотя в последние семь дней мощеной улицы не было, он ушел дальше, чем за все тридцать лет. И все же так и не выбрался из круга. «И все же за эти семь дней я побывал дальше, чем за все тридцать лет, — думает он. — Но так и не вырвался из этого круга. Так и не прорвал кольцо того, что уже сделал, и никогда не смогу переделать», — тихо думает он, сидя в повозке, а в передок под ним упираются чеботы, черные чеботы, пропахшие негром: метка на щиколотках, ясная и неистребимая мерка черного прилива, всползающего по его ногам, от ступней и все выше, как всползает смерть.

15

В городе Мотстауне, где в ту пятницу схватили Кристмаса, жила старая чета по фамилии Хайнс. Они были совсем старые. Они жили в домике с верандой, в негритянском районе; как и на что — город не знал, поскольку жили они в очевидной и грязной нищете и полном безделье: Хайнс, насколько было известно, за последние двадцать пять лет ни разу регулярно не работал.

Они появились в Мотстауне тридцать лет назад. В один прекрасный день соседи обнаружили его жену, поселившуюся в маленьком домике, где Хайнсы с тех пор и жили, хотя первые пять лет хозяин приезжал домой только раз в месяц, на субботу и воскресенье. Скоро стало известно, что он занимает какую-то должность в Мемфисе. Какую именно — никто не знал, поскольку он уже тогда был человеком непонятным — ему можно было дать и тридцать пять и пятьдесят, а взгляд его, холодно горевший фанатизмом и слегка обезумелый, не располагал к расспросам, любопытству. Оба они городу представлялись слегка

помешанными — нелюдимые, землистого цвета, мелкие рядом с большинством остальных людей, словно экземпляры другой породы, разновидности, — однако после того, как Хайнс окончательно осел в Мотстауне и стал жить в своем домике вместе с женой, его лет пять или шесть приглашали для разных случайных работ, которые были ему по силам. Но потом он покончил и с этим. Город сперва удивлялся, на что же они теперь будут жить, но потом забыл об этом и думать — и точно так же, узнав впоследствии, что Хайнс ходит пешком по округу и служит в негритянских церквах и что время от времени можно наблюдать, как негритянки входят в дом пожилой четы с черного хода, неся, по-видимому, какую-то провизию, а выходят с пустыми руками, город опять немного поудивлялся, а потом забыл. Либо забыл, либо простил безобидному старику Хайнсу то, за что затравил бы молодого. Решил просто: «Они свихнулись; свихнулись на почве негров. Может, они янки», — и на этом успокоился. А может быть, не Хайнсу простил его преданность делу спасения негритянских душ, но самому себе — безразличие к тому, что старики принимают милостыню от негров, ибо таково уж счастливое свойство ума — забывать то, чего

не может переварить совесть.

И вот двадцать пять лет старая чета не имела видимых средств к существованию, а город закрывал глаза на негритянок и на завернутые миски и кастрюли — при том, что некоторые из этих мисок и кастрюль, по всей вероятности, брались прямо из кухонь белых, где негритянки стряпали. Возможно, и это объяснялось забывчивостью ума. Так или иначе, город ничего не замечал, и вот уже двадцать пять лет старики жили в глуши замшелого своего уединения, словно пара мускусных быков, забредших сюда с Северного полюса, или бесприютных реликтовых зверей из доледниковой эпохи.

Жену почти никогда не видели, зато муж, известный под прозвищем дядя Док, был привычной фигурой на площади: грязный старичок, лицо которого еще хранило следы то ли храбрости, то ли буйности — то ли духовидец, то ли законченный эгоист, — без воротничка, в грязной синей парусиновой одежде, с тяжелой самодельной палкой, чья рукоять была отполирована ладонью до ореховой темноты и стеклянной гладкости. Сначала, когда он занимал должность в Мемфисе, он во время ежемесячных побывок рассказывал немного о себе — не просто с самоуверенностью

независимого человека, а с важностью, как будто в свое время, и не так уж давно, он был человеком более чем независимым. Никакой приниженности потерпевшего в нем не было. В нем была скорее уверенность человека, который некогда имел власть над меньшими, а затем добровольно и по причинам, на его взгляд, не подлежащим обсуждению и для чужого разумения недоступным, изменил свою жизнь. Но рассказы его, при всей их внешней связности, звучали вздором. Поэтому уже тогда считалось, что он слегка помешан. И не то чтобы создавалось впечатление, будто, рассказывая одно, он старается скрыть другое. Просто его рассказы не умещались в рамки, которые, по мнению его слушателей, были (должны быть) границами человеческих возможностей. Временами они начинали думать, что прежде он был священником. Потом он рассказывал им о Мемфисе в туманных и величественных выражениях, как будто всю жизнь занимал там важный — но так и не обозначенный им — административный пост. «Ну да, — говорили в Мотстауне за его спиной, — он там командовал на железной дороге. Стоял на переезде с красным флагом, когда проходил поезд». Или: «Он — большой газетчик. Собирает газеты из-под лавок

в парке». В лицо ему этого не говорили — даже самые дерзкие, даже те, кто шел на любой риск, дабы поддержать свою репутацию остряка.

Потом он потерял работу в Мемфисе — или бросил ее. Однажды в субботу он приехал домой, а в понедельник не уехал. После этого он целыми днями околачивался в центре, на площади — неразговорчивый, грязный, с яростным, отпугивающим выражением в глазах, которое люди объясняли безумием; застарелой свирепостью веяло от него, как душком, как запахом; тлевшей, словно уголь в золе, напористой протестантской фанатичностью, которая состояла когда-то на четверть из страстной убежденности и на три четверти — из кулачной отваги. Поэтому, когда стало известно, что он ходит по округу, обычно пешком, и проповедует в негритянских церквах, люди не удивились; не удивились даже тогда, когда узнали, что он проповедует. Что этот белый, чуть ли не целиком зависевший от щедрот и милостыни негров, ходит в одиночку по отдаленным негритянским церквам и прерывает службу, чтобы взойти на кафедру и резким, неживым своим голосом, а порою и с яростной непристойной бранью проповедовать им смирение перед всякой более светлой кожей, про-

поведовать превосходство белой расы, выставляя себя — непроизвольный, изуверский парадокс — образцовым ее представителем. Негры думали, что он — ненормальный, Богом ушибленный или Богом отмеченный. Они, вероятно, не слушали, что он говорит, и мало что понимали. Возможно, они принимали его за самого Бога, поскольку Бог для них — тоже белый и поступки у него — тоже не совсем понятные.

В тот день, когда имя Кристмаса впервые разнеслось по улице и мальчишки вместе со взрослыми — лавочниками, конторщиками и прочей досужей и любопытной публикой, среди которой преобладали деревенские в комбинезонах, — бросились бежать, Хайнс был в центре города. Он тоже побежал. Но быстро бежать он не мог, а потом ничего не мог увидеть из-за сомкнувшихся плеч. Тем не менее он пытался, не уступая в грубости и напоре любому из присутствовавших, пробиться к шумной, колышущейся кучке людей и, словно вспомнив былую буйность, следы которой читались на его лице, когтил чужие спины, а потом просто колотил по ним палкой, и когда люди наконец обернулись, узнали его и схватили — вырывался и опять норовил стукнуть тяжелой палкой.

«Кристмас? — кричал он. — Они говорят, Кристмас?»

«Кристмас! — крикнул в ответ один из тех, которые держали его, тоже с искаженным лицом. — Кристмас! Белый нигер из Джефферсона, что женщину убил на прошлой неделе!»

Хайнс свирепо глядел на него, и в беззубом его рту чуть пенилась слюна. Потом он снова стал вырываться, яростно, с руганью: хилый, мелкий старичок с легкими, по-детски хилыми косточками пытался отогнать их палкой, пытался пробить себе дорогу в середину толпы, где стоял пленник с окровавленным лицом. «Постой, дядя Док! — говорили они, удерживая его. — Постой, дядя Док. Его поймали. Он не уйдет. Ну, постой».

Но он бил их и вырывался, жидким, надтреснутым голосом выкрикивая брань, пуская слюни, а те, кто держал его, тоже напрягались, словно удерживали маленький шланг, который мечется от чрезмерного напора. Из всей группы один пойманный был спокоен. Хайнса держали, он бранился, в его старые хилые кости и веревочки мышц вселилась ртутная ярость ласки. В конце концов он вырвался, прыгнул вперед, ввинтился в гущу людей и вылез — лицом к лицу с пленником. Тут он замер на миг, злобно глядя

пленнику в лицо. Этот миг был долгим, однако раньше, чем старика успели схватить, он поднял палку и ударил пленника и хотел ударить еще, но тут его наконец поймали и стали держать, а он исходил бессильной яростью, и на губах его легкой и тонкой пеной вскипала слюна. Рта ему не заткнули. «Убейте выблядка! — кричал он. — Убейте. Убейте его».

Через полчаса двое мужчин привезли его домой на машине. Один правил, другой поддерживал Хайнса на заднем сиденье. Лицо его, заросшее щетиной и грязью, теперь было бледно, а глаза закрыты. Его вынули из машины и понесли на руках через калитку по дорожке из трухлявого кирпича и цементной шелухи к крыльцу. Теперь его глаза были открыты, но совершенно пусты, они закатились под лоб, так что виднелись только нечистые синеватые белки. Он совсем обмяк и не шевелился. Когда они подходили к крыльцу, дверь отворилась, вышла его жена, закрыла дверь за собой и стала смотреть на них. Они догадались, что это его жена, поскольку вышла она из дома, где жил он. Один из мужчин, хотя и местный, никогда ее прежде не видел.

— Что случилось? — сказала она.

— Ничего страшного, — ответил первый

мужчина. — У нас там в городе переполох был изрядный, да еще эта жара — вот он и сдал. — Она стояла перед дверью, словно не пуская их в дом, — приземистая, толстая женщина с круглым, непропеченным, мучнисто-серым лицом и тугим узелком жидких волос. — Только что поймали этого нигера Кристмаса, который женщину в Джефферсоне убил на прошлой неделе, — пояснил мужчина. — Ну и дядя Док немного переволновался.

Миссис Хайнс уже отворачивалась, словно собираясь открыть дверь. И, как сказал потом мужчина своему спутнику, вдруг замерла, будто в нее попали камушком.

— Кого поймали? — сказала она.

— Кристмаса, — сказал мужчина. — Нигера этого, убийцу. Кристмаса.

Она стояла на краю крыльца, обернув к ним серое, застывшее лицо. «Как будто заранее знала, что я ей скажу, — говорил мужчина своему товарищу, когда они возвращались к машине. — Как будто хотела, чтобы это оказался он и в то же время — не он».

— Какой он из себя? — спросила она.

— Да я и не разглядел толком, — сказал мужчина. — Его малость раскровянили, пока ловили.

Молодой парень. А на нигера не больше моего похож. — Женщина смотрела на них, смотрела сверху. Хайнс, поддерживаемый с двух сторон, уже сам стоял на ногах и тихо бормотал, словно пробуждаясь ото сна. — Что прикажете делать с дядей Доком? — спросил мужчина.

На это она просто не ответила. Как будто мужа своего не признала, — сказал потом мужчина своему товарищу.

— Что они с ним сделают? — спросила она.

— С ним? — повторил мужчина. — А-а. С нигером. Это в Джефферсоне решат. Он — тамошний, ихний.

Серая, застывшая, она смотрела на них откуда-то издалека.

— Они подождут до Джефферсона?

— Они? — переспросил мужчина. — А-а, — сказал он. — Ну, если Джефферсон не будет особенно тянуть. — Он перехватил руку старика поудобнее. — Куда нам его положить? — Тут женщина зашевелилась. Она спустилась с крыльца и подошла к ним. — Мы вам втащим его в дом, — сказал мужчина.

— Я сама втащу, — ответила она. Они с Хайнсом были одного роста, но она — плотнее. Она подхватила его под мышки. — Юфьюс, — сказала

она негромко. — Юфьюс. — И мужчинам, спокойно: — Пустите. Я держу.

Они отпустили его. Старик уже мог кое-как идти. Они смотрели ему вслед, пока старуха не ввела его на крыльцо и в дом. Она не оглянулась.

— Даже спасибо не сказала, — заметил второй мужчина. — Назад бы его увезти да в тюрьму посадить вместе с нигером — а то больно хорошо он его знает.

— Юфьюс, — сказал первый. — Юфьюс. Пятнадцать лет мне невдомек, как его звать-то по-настоящему. Юфьюс.

— Пойдем. Поехали обратно. Не пропустить бы чего.

Первый продолжал смотреть на дом, на закрытую дверь, за которой исчезла пара.

— Она его тоже знает.

— Кого знает?

— Да нигера. Кристмаса.

— Пошли. — Они вернулись к машине. — И с чего этот черт приперся к нам в город, за двадцать миль от места, где убил, и по главной улице стал шататься, чтоб его узнали. Жалко, не я его узнал. Мне бы эта тысяча во как пригодилась. Всегда мне не везет.

Машина тронулась. Первый все еще оглядывался на слепую дверь, за которой скрылись супруги.

А они стояли в прихожей маленького домика, темной, тесной и зловонной, как пещера. Обессилевший старик все еще пребывал в полуобморочном состоянии, и то, что жена подвела его к креслу и усадила, легко было объяснить заботой и целесообразностью. Но возвращаться к двери и запирать ее, как она сделала, — в этом никакой нужды не было. Она подошла и встала над ним. На первый взгляд могло показаться, что она просто смотрит на него, заботливо и участливо. Но потом посторонний наблюдатель заметил бы, что ее трясет и что она усадила его в кресло либо для того, чтобы не уронить его на пол, либо для того, чтобы держать его пленником, покуда к ней не вернется дар речи. Она нагнулась к нему: грузная, приземистая, землистого цвета, с лицом утопленницы. Когда она заговорила, ее голос дрожал, дрожала и она, силясь овладеть им; вцепившись в ручки кресла, где полулежал ее муж, она говорила сдержанным дрожащим голосом: «Юфьюс. Слушай меня. Ты меня послушай. Я к тебе раньше не приставала. Тридцать лет к тебе не приставала. Но теперь ты скажешь.

Я должна это знать, и ты мне скажешь. Что ты сделал с ребенком Милли?»

Весь этот долгий день они гудели на площади и перед тюрьмой — продавцы, бездельники, деревенские в комбинезонах; толки. Они ползли по городу, замирая и рождаясь снова, как ветер или пожар, покуда среди удлинившихся теней деревенские не начали разъезжаться на повозках и пыльных машинах, а городские не разбрелись ужинать. Потом толки оживились, разгорелись с новой силой — в семейном кругу за столом, при участии жен, в комнатах, освещенных электричеством, и в отдаленных домиках среди холмов, под керосиновой лампой. А назавтра, славным, тягучим воскресным днем, сидя на корточках в чистых рубашках и нарядных подтяжках, мирно попыхивая трубками перед деревенскими церквами или в тенистых палисадниках, возле которых стояли и ждали упряжки и машины гостей, покуда женщины собирали на кухне обед, они рассказывали все сначала: «Он похож на нигера не больше моего. Но, видно, сказалась-таки негритянская кровь. Можно подумать, прямо наладился, чтобы его поймали, как жениться налаживаются. Ведь он еще неделю назад от них утек. Не подожги он

дом, они бы, пожалуй, и через месяц не узнали про убийство. Да и теперь бы на него не подумали, если бы не этот Браун, через которого нигер виски продавал, а сам белым прикидывался — и виски, и убийство, все на Брауна хотел свалить, а Браун сказал, как было.

А утром вчера явился в Мотстаун, средь бела дня, в субботу, когда кругом полно народу. Зашел в белую парикмахерскую, все равно как белый, и они ничего не подумали, потому что похож на белого. И даже когда чистильщик заметил, что на нем башмаки чужие, велики ему, все равно ничего не подумали. Постригся, побрился, уплатил и пошел — и прямо в магазин, купил там рубашку новую, галстук, шляпу соломенную — и все на краденые деньги, той женщины, которую убил. А потом стал по улицам разгуливать средь бела дня, прямо как хозяин — разгуливает взад-вперед, а люди идут себе и ничего не знают; тут-то Холидей его и увидел, подбежал, цоп его и говорит: «Не Кристмасом ли тебя звать?», а нигер говорит — да. И даже не думал отпираться. Вообще ничего не делал. Вообще себя вел ни как нигер, ни как белый. Вот что главное-то. Почему они так взбесились. Нате вам — убийца, а сам вырядился и разгуливает

по городу — попробуйте, мол, троньте, — когда ему бы прятаться, в лесу хорониться, драпать, грязному да чумазому. А он будто и знать не знает, что он убийца, тем паче — нигер.

И вот, значит, Холидей (а разволновался — как-никак тысячей пахнет, и пару раз уже по морде съездил нигеру, и тут нигер первый раз себя нигером показал — стерпел и не сказал ни слова: по нем кровь, а он стоит, смурной, тихий), Холидей держит его и орет, как вдруг вылезает этот старикан, Хайнс, дядей Доком его кличут, и давай нигера палкой лупцевать, покуда двое его не утихомирили и домой на машине не увезли. И никто так и не понял, правда знает он нигера или нет. Приковылял туда и визжит: «Его зовут Кристмас? Вы сказали, Кристмас?» — протолкался, глянул на нигера и давай его палкой охаживать, и вид у него такой, будто он не в себе. Пришлось его оттаскивать, а он глаза закатил, слюнявится и садит палкой по чем попало, а потом вдруг раз — и сомлел. Ну, двое там отвезли его домой на машине, жена вышла, отвела его в дом, а эти двое вернулись в город. Они не поняли, чего это на него нашло, чего он так разволновался, когда нигера поймали, но, думали, дома он отойдет. И надо же, полчаса не прошло, а он опять тут как тут.

И уже совсем сумасшедший: стоит на углу и орет на каждого прохожего, трусами обзывает, потому что не вытащат черного из тюрьмы и не повесят на месте, без всяких Джефферсонов. А лицо нехорошее, как будто из сумасшедшего дома сбежал и знает, что долго погулять ему не дадут — опять схватят. Говорят, еще проповедником был.

Он кричал, что имеет право убить нигера. Почему — не сказал, до того распалился и ополоумел, что говорить не мог толком, а остановить его да спросить не так-то просто. Вокруг него уж целая толпа собралась, а он кричит, что это его право решать, жить нигеру или нет. И люди уже начали подумывать, что, может, место ему — в тюрьме, с нигером, но тут жена пришла.

Есть такие, кто тридцать лет в Мотстауне живет и ни разу ее не видел. Никто и не признал ее, покуда она с ним не заговорила, потому что, если кто ее и видел раньше, то всегда возле домика, в Негритянской слободе, где они живут, в хламиде какой-нибудь да шляпе, что за ним донашивала. А тут она приоделась. Платье малиновое шелковое, шляпа с пером, в руках зонтик — подошла к толпе, где он вопил и разорялся, и говорит: «Юфьюс». Тут он кончил орать, взглянул на нее — а палка еще поднята, дрожит

в руке — и рот разинул, слюни пускает. Она его под руку. Многие боялись подойти к нему из-за палки; он кого хочешь в любую минуту может огреть — и не нарочно даже, сам не заметит. А она зашла прямо под палку, взяла его под руку и отвела, где стул стоял перед магазином, посадила на стул и говорит: «Сиди тут, пока я не вернусь. Чтоб ни с места. И перестань орать».

И перестал. Как миленький. Сидит, где посадили, а она даже не оглянулась. Это все заметили. Наверно — потому что ее никогда нигде не видели, кроме как дома или возле дома. А он — такой бешеный старикашка, что связываться с ним — вперед лишний раз подумаешь. Одним словом, все удивились. Никто не думал, что им командовать можно. Похоже было, она что-то такое про него знает и ему надо ее опасаться. Сел он, это, на стул, как она велела, куда только крик и важность подевались, голову повесил, руки на палке большой трясутся, и слюни потихоньку изо рта пускает, на рубашку.

Она прямо в тюрьму пошла. А там уже большая толпа, потому что из Джефферсона дали знать, что за нигером выехали. Прошла, прямо сквозь них, в тюрьму и говорит Меткафу:

— Я хочу видеть человека, которого поймали.

— Зачем вам его видеть? — Меткаф спрашивает.

— Я его не побеспокою, — говорит. — Я только хочу посмотреть на него.

Меткаф ей говорит, что тут полно народу, которые хотят того же самого, и он, мол, понимает, что она не собирается устраивать ему побег, но он всего-навсего надзиратель и не может никого пускать без разрешения шерифа. А она стоит перед ним в малиновом своем платье — и до того тихо, что даже перо не кивнет, не шелохнется.

— Где, — говорит, — шериф?

— Наверно, у себя, на месте, — Меткаф говорит. — Найдите его и получите у него разрешение. Тогда сможете увидеть нигера.

Думает, сказал — и дело с концом. Видит, повернулась она, вышла вон, прошла сквозь толпу перед тюрьмой и — обратно по улице, к площади. Теперь перо кивало. Он, наверно, видел, как оно кивало по-над оградой. А потом он увидел, как она через площадь перешла к суду. Люди не знали, по какому она делу — Меткаф-то не успел им сказать, что было в тюрьме, — ну, и просто смотрели, как она идет в суд, а потом Рассел рассказывал, что он сидел у себя, поднял случайно голову, а в окошке, за барьером — эта шляпа

с пером. Он не знал, долго ли она стояла и ждала, пока он голову поднимет. Он говорил, росту в ней как раз чтобы заглянуть через барьер, так что вроде у нее и тела не было никакого. Как будто подкрался кто-то и подвесил воздушный шарик с нарисованным лицом, а сверху шляпу смешную надел — вроде как эти мальчишки в комиксах. Она говорит:

— Мне нужно видеть шерифа.

— Его тут нет, — Рассел говорит. — Я его помощник. Чем могу служить?

А она стоит и не отвечает. Потом спрашивает:

— Где его найти?

— Он дома, наверно, — Рассел говорит. — Много работал эту неделю. И ночами приходилось — помогал джефферсонской полиции. Наверно, домой пошел, вздремнуть. А я, случайно, не могу вам… — А ее, говорит, уже и след простыл. Он говорит, что выглянул в окно и видел, как она перешла площадь и свернула за угол, туда, где шериф живет. И никак, говорит, не мог сообразить, откуда она, кто такая.

Шерифа она так и не нашла. Да и все равно уже поздно было. Шериф-то ведь был в тюрьме, только Меткаф ей этого не сказал, а едва она от тюрьмы отошла, как приехали полицейские

из Джефферсона на двух машинах и вошли в тюрьму. Подъехали быстро и вошли быстро. Но уже слух разнесся, что они там, и перед тюрьмой сотни две человек собралось — мужчин, ребят и женщин, и вышли оба шерифа, и наш стал речь держать — просил людей уважать закон, а он, дескать, и джефферсонский шериф оба обещают, что над нигером учинят суд скорый и справедливый; а из толпы кто-то и говорит: «На хрен вашу справедливость. Он с белой женщиной справедливо обошелся?» И тут они закричали и сгрудились, как будто не перед шерифами стараются друг друга перекричать, а перед покойницей. А шериф все так же тихо им говорит, что он, мол, под присягой дал им обещание, когда они его выбрали, и его как раз хочет сдержать. «Я убийцам-нигерам, — говорит, — сочувствую не больше любого другого белого у нас в городе. Но я принес присягу, и, клянусь Богом, я ее выполню. Мне неприятности не нужны, но я от нее не отступлю. Так что вы это учтите». И Холидей там же, с шерифами. Он больше всех распинался за порядок и чтобы не поднимать бузы. «Ага-а, — кто-то кричит, — конечно, тебе не хочется, чтобы его линчевали. Но для нас-то он тысячи долларов не стоит. Для нас он тысячи вы-

еденных яиц не стоит». А шериф тут быстренько говорит: «Ну и что ж, что Холидей не хочет убийства? А мы разве хотим? Наш ведь гражданин получит премию: деньги ведь здесь разойдутся, в Мотстауне. А если бы кто из джефферсонских ее получил? Разве не так, друзья? Посудите сами». А у самого голос тонкий, прямо кукольный: такой даже у большого мужчины бывает, когда он не просто перед народом говорит, а поперек того, что народ уже решил наполовину…

Однако это их как будто убедило, хотя знают, что ни Мотстаун, ни другой город этих денег не увидят как своих ушей, если они Холидею достанутся. А все-таки поостыли. Народ — он чудной. Не может держаться чего-нибудь одного, ни в мыслях, ни в деле, если ему все время новых резонов не выставлять. А потом, хоть и выстави ему новый резон, он все равно передумает. Словом, они не то чтобы отступились; можно сказать, до этого толпа вроде как изнутри наружу перла, а теперь поперла снаружи внутрь. И шерифы это поняли, но опять-таки поняли, что и это ненадолго, потому что быстренько шмыгнули в тюрьму и тут же обратно — непонятно даже, когда они там повернуться успели, — и нигер уже между них, а позади пять или шесть помощ-

ников. Они, наверное, все время держали его за дверью, наготове, потому что вышли сразу — нигер между них, насупившись, наручниками к джефферсонскому шерифу примкнут; и толпа в один голос: «Хаааааааааааааах».

Сделали такой как бы проход вдоль улицы, к первой машине джефферсонской — мотор уже работает, за рулем человек сидит — шерифы, даром времени не тратя, повели его, а тут — опять она, старуха эта, миссис Хайнс. Сквозь толпу протолкалась. А сама такая маленькая, что людям только перо видать — медленно так подпрыгивает, — кажется, если бы и не мешал никто на дороге, все равно не могла бы скоро идти, но и остановить — ничем не остановишь, как трактор. Протолкалась и — в проход, где люди расступились перед шерифами с нигером; пришлось им остановиться, чтобы ее не затоптать. Лицо — как шмат замазки, шляпа набок сбилась, перо на глаза свесилось — его откинуть надо, чтобы смотреть не мешало. А ей не до того. Стоит перед ними и смотрит на нигера, не дает пройти. Ни слова не сказала, как будто ей только одно было нужно, ради этого только людей беспокоила, для этого нарядилась и в город пришла: чтобы разок взглянуть на нигера. Потом поверну-

лась, обратно зарылась в толпу, а когда машины с нигером и с полицией джефферсонской уехали и люди оглянулись, ее уже не было. Потом все опять на площадь пошли, а дяди Дока на стуле, где она его усадила и велела ждать, тоже нету. Но на площадь не все ушли. Многие на месте остались, на тюрьму смотрят, как будто нигера только тень оттуда вышла.

Думали, что она дядю Дока домой забрала. А было это перед магазином Доллара, и Доллар говорит, что видел, как она вернулась сюда еще до толпы. Говорит, дядя Док с места не двинулся, так и сидел на стуле, как она его посадила, покуда она не пришла: тронула его за плечо, он встал, и они вместе ушли, Доллар сам это видел. Он говорит, вид у дяди Дока был такой, что ему только дома и сидеть.

А она его вовсе не домой увела. Немного позже люди видели, что его, оказывается, и вести не нужно было. Как будто они с ней хотели одного и того же. Одного и того же — но по разным причинам, и каждый знал, что у другого причина другая и что, если один повернет дело по-своему, для другого это опасно. Как будто оба понимали это без слов и следили друг за другом, и еще — как будто оба понимали, что ей виднее,

как к делу приступить.

Пошли они прямо в гараж, где Салмон держит свою прокатную машину. Договаривалась она. Сказала, что хотят съездить в Джефферсон. Ей, наверно, и в голову не приходило, что Салмон может запросить больше, чем по четверти доллара с носа, потому что, когда он сказал три доллара, она его переспросила, словно ушам своим не поверила. «Три доллара, — Салмон говорит. — Дешевле не могу». Стоят рядом, но дядя Док не вмешивается, как будто ему и дела нет, как будто знает, что ему беспокоиться нечего: она его все равно туда доставит.

«Нет, — она говорит, — у меня таких денег».

«А дешевле у вас никак не получится, — Салмон говорит. — Разве что поездом. Там билет — пятьдесят два цента».

А она уже прочь пошла, и дядя Док за ней, как собака.

Это было часа в четыре. До шести их видели на скамейке во дворе суда. Они не разговаривали: как будто и забыли, что вдвоем. Сидят себе рядышком, а она, значит, — приодевшись, в парадном платье. И, может, ей просто приятно, что приоделась и что в городе субботний вечер провела. Может, ей это все равно, что другому —

на денек в Мемфис съездить.

Сидели, пока шесть не пробило. Тогда встали. Люди, которые видели, говорят, что она ему ни слова не сказала; просто поднялись разом, словно две птички с ветки — и не поймешь, какая какой сигнал подала. Дядя Док чуть позади шел. Перешли площадь и свернули на улицу, которая к станции ведет. Люди знали, что никаких поездов еще три часа не будет, и думали: неужели они и вправду на поезде куда-то собрались — но старики еще похлеще отчудили. Зашли в маленькое кафе возле станции и поужинали — а ведь за все время, что они в Джефферсоне живут, их не то что в кафе — на улице ни разу не видели вместе. А она его вон куда повела; может, боялись, что пропустят поезд, если в город пойдут есть. Пришли туда — еще половины седьмого не было, — сели на табуреточки у стойки и едят, что она заказала, с дядей Доком даже не посоветовавшись. Она у хозяина спросила, когда поезд на Джефферсон, он ей сказал, что в два часа ночи. «Будет, — говорит, — сегодня в Джефферсоне суматохи. Вы можете взять машину в городе и будете в Джефферсоне через сорок пять минут. Зачем вам поезда ждать до двух часов ночи». Подумал, что они, наверно, приезжие;

объяснил ей, как в город пройти.

А она ничего не сказала; доели, заплатила ему — пять центов и десять центов, по одной вынула из тряпицы, а тряпицу — из зонтика, а дядя Док тут же сидит и ждет — лицо дурное, как у лунатика. Потом ушли, и хозяин думал, что послушали его и решили взять в городе машину, а потом выглянул и видит, идут они через запасные пути к станции. Хотел было окликнуть, да не окликнул. «Думаю, — говорит, — может, я ее не понял. Может, им девятичасовой нужен, который на юг».

Когда пассажиры начали собираться и билеты на девятичасовой покупать — коммивояжеры, бездельники всякие и прочая публика, — они сидели на скамейке в зале ожидания. Кассир говорит, когда он возвращался с ужина в полвосьмого, то заметил, что в зале ожидания кто-то сидит, но особенно не приглядывался, а потом она подошла к окошку и спрашивает, когда пойдет поезд на Джефферсон. А он занят был в это время — глаза только поднял и сказал: «Завтра», от работы не отрываясь. Но потом, говорит, что-то заставило его опять посмотреть, а из окошка лицо это круглое на него смотрит, перо, конечно, сверху, и говорит ему:

— Дайте мне на него два билета.

— Этот поезд пойдет только в два часа ночи, — кассир говорит. Тоже ее не признал. — Если вам поскорее нужно в Джефферсон, то пойдите лучше в город и наймите машину. Дорогу в город найдете?

А она, значит, стоит, пяти– и десятицентовые отсчитывает из тряпицы; выдал он ей два билета, а потом в окошко глянул мимо нее, дядю Дока увидел и понял, кто она такая. И, говорит, публика на девятичасовой собралась, поезд пришел и отправился, а они все сидят. А дядя Док, говорит, все такой же — не то сонный, не то одурманенный, не поймешь. Поезд, значит, уехал, а люди не все разошлись. Остались некоторые, в окно заглядывали, а то и в зал входили посмотреть, как дядя Док с женой сидят на лавке, покуда кассир свет не выключил в зале ожидания.

Но некоторые все равно не ушли. Все в окошко заглядывали, смотрели, как они в темноте сидят. Может, перо видели и голову седую дяди Дока. И тут дядя Док начал просыпаться. Не то чтобы удивляться, куда он попал или что вроде попал не туда, куда нужно. А просто встрепенулся, как будто долго ехал накатом, а теперь пришла пора мотор включить. Слышно было, как она

ему говорит: «Шшш. Шшш», — а потом его голос прорывается. Так и сидели, покуда кассир свет не включил и не сказал им, что двухчасовой подходит, — она ему: «Шшш. Шшш», — как ребенку, а дядя Док выкрикивает: «Скотство и омерзение! Омерзение и скотство!»

16

На стук свой не получив никакого ответа, Байрон спускается с крыльца, огибает дом и входит в огороженный задний дворик. Он сразу видит кресло под шелковицей. Это парусиновый шезлонг, латаный, линялый, до того провисший от долгого употребления, что кажется, даже пустой, он бесплотно обнимает обрюзглое, рыхлое тело хозяина; приближаясь, Байрон думает, что в неодушевленном этом кресле, запечатлевшем в себе бездействие, праздность, убогую оторванность от мира, отображается и даже както содержится суть самого человека. «Которого я опять побеспокою», — думает он, по обыкновению своему чуть вздернув губу, — думает *Опять? Прошлое-то беспокойство, оно даже ему теперь покажется ерундой. И опять в воскресенье. Хотя почему бы и воскресенье не захотело ему отомстить — раз воскресенье тоже людьми придумано*

Он подходит к креслу сзади и заглядывает. Хайтауэр спит. На выпуклом его брюшке, там, где белая рубашка (сегодня она чистая и свежая)

надулась над поношенными черными брюками, лежит обложкой кверху раскрытая книга. Руки Хайтауэра сложены на книге мирно, благостно. Рубашка старомодная, с плиссированной, но небрежно заглаженной грудью и без воротничка. Рот его открыт, дряблая мякоть лица оттекла от круглого отверстия, где виднеются темные нижние зубы, и от точеного носа, который один лишь не тронут возрастом, разрухой лет.

Байрон смотрит сверху на спящее лицо, и кажется ему, будто бежал, отрекся человек от собственного носа, который хранит непреклонную гордость и мужество над раздрызгом поражения, как забытый флаг над уничтоженной крепостью. И опять свет, отражение неба за листвой шелковиц, заливает, белит линзы очков, так что Байрон не замечает, когда у Хайтауэра открываются глаза. Он видит только, что сомкнулись губы, и — движение сложенных рук перед тем, как Хайтауэр сел. «Да, — говорит священник, — да? Кто это?.. А, Байрон».

Байрон смотрит на него сверху, лицо у него очень серьезное. Но на этот раз сочувствия в нем нет. В нем нет ничего, кроме спокойствия и решимости. Он произносит без всякого выражения:

— Его вчера поймали. Вы, наверно, еще не слышали об этом, как об убийстве тогда не слышали.

— Поймали?

— Кристмаса. В Мотстауне. Он пришел в город и, как я понимаю, стоял там на улице, пока его не узнали.

— Поймали. — Хайтауэр уже сидит в кресле. — И вы пришли сказать мне, что его… Что они его…

— Нет. Ему пока ничего не сделали. Он пока жив. Он в тюрьме. Ничего не случилось.

— Не случилось. Вы говорите, ничего не случилось. Байрон говорит — ничего не случилось… Байрон Банч помог любовнику этой женщины продать товарища за тысячу долларов, и Байрон говорит, что ничего не случилось. Прятал женщину от отца ее ребенка, пока… Сказать ли мне — другой любовник, Байрон? Сказать? Или воздержаться от правды, если Байрон Банч ее скрывает?

— Если молва и правда — одно и то же, тогда, наверно, это правда. Особенно когда люди узнают, что я их обоих упрятал в тюрьму.

— Обоих?

— С Брауном. Хотя, наверно, большинство народу думает, что Браун способен убить или по-

мочь в убийстве не больше, чем поймать того, кто убил, или помочь в поимке. Зато теперь они спокойно могут сказать, что Байрон Банч упрятал его в тюрьму для своего удобства.

— А-а, да. — Голос Хайтауэра, слабый и тонкий, слегка дрожит. — Байрон Банч, страж общественного блага и нравственности. Наследник, получатель премии, поскольку теперь она достанется морганатической жене… Сказать чьей? Внести ли Байрона и сюда? — Тут он начинает плакать — громадный и расслабленный, в провисшем кресле. — Я так не думаю. Вы же понимаете. Но это несправедливо — беспокоить, тревожить меня, когда я… когда я приучил себя держаться… они меня приучили держаться… Чтобы это пришло ко мне, настигло меня, когда я уже старик и примирился с тем, что они сочли… — Один раз он сидел перед Байроном, и пот катился по его лицу, как слезы; теперь же слезы катятся по дряблым щекам, как пот.

— Я знаю. Это нехорошо. Нехорошо вас беспокоить. Я не знал. Я не знал, когда ввязывался в эту историю. А то бы я… Но вы духовное лицо. Вы не можете уклониться.

— Я не духовное лицо. И не по своей воле. Не забывайте этого. Не по своему выбору я пе-

рестал быть духовным лицом. Это произошло по воле — больше, чем по повелению — таких, как вы и как она, как тот, в тюрьме, и как те, кто посадил его туда, чтобы совершить над ним свою волю, как совершили надо мной, с глумлением и насилием, — хотя он создан тем же самым Богом, который создал их, и ими же самими доведен до того, за что они сегодня готовы растерзать. Выбор был не мой. Не забывайте этого.

— Знаю. Потому что человеку не так часто приходится выбирать. Вы выбрали еще раньше. — Хайтауэр смотрит на него. — Вам дано было выбирать до того, как я родился, и вы выбрали, когда ни меня, ни ее, ни его не было на свете. Вот когда вы выбрали. И, по-моему, хорошие так же должны расплачиваться за свой выбор, как дурные. Так же, как она, как он, как я. Так же, как все они, остальные, как та, другая женщина.

— Другая женщина? Еще одна женщина? Неужели на шестом десятке мою жизнь должны поломать и мой мир нарушить — две пропащие женщины?

— Эта другая — уже не пропащая. Она пропадала тридцать лет. Но теперь нашлась. Она — его бабушка.

— Чья бабушка?

— Кристмаса, — говорит Байрон.

Дожидаясь, наблюдая за улицей и калиткой из темного окна кабинета, Хайтауэр слышит далекую музыку, как только она начинается. Он не сознает, что ожидал ее, что каждую среду и воскресенье, вечером, сидя у темного окна, он ждет, когда она начнется. Когда она начнется, он знает почти с секундной точностью, не прибегая к помощи часов. Часами он не пользуется и не нуждается в них вот уже двадцать пять лет. Он живет, отмежевавшись от механического времени. Но именно поэтому ни разу его не упустил. Как будто из подсознания возникая, без участия воли, кристаллизуются несколько неизменных состояний, которыми управлялась и упорядочивалась его прошлая жизнь в действительном мире. Не обращаясь к часам, он может сразу сообразить, где именно он был бы и что делал бы между двумя мгновениями, отмечавшими начало и конец воскресной утрени, и воскресной вечерни, и ночной службы в среду; когда именно он входил бы в церковь, когда именно с расчетом подводил бы к концу молитву или проповедь. И вот, прежде чем сумерки погаснут окончательно, он говорит себе *Сейчас они собираются, медленно подходят по улицам и сворачивают,*

здороваясь друг с другом: группами, парами, поодиночке. И в самой церкви непринужденно переговариваются тихими голосами; дамы помахивают и чуть шелестят веерами, кивая друзьям, которые идут по проходу. Мисс Карудерс (она была его органисткой и умерла почти двадцать пять лет назад) *тоже среди них; скоро она встанет и поднимется на хоры* Воскресная вечерняя служба. Ему всегда казалось, что в этот час человек ближе всего к Богу — ближе, чем в любой другой час за все семь дней. Только тут — из всех церковных собраний — есть что-то от покоя, в котором — обетование и цель Церкви. Тут очищаются сердце и ум, если им дано очиститься; неделя и всяческие ее беды кончены, подытожены, искуплены строгим и чинным неистовством утренней службы; грядущая неделя и всяческие ее беды еще не родились, сердцу покойно пока, ласковой прохладой веет на него вера и надежда.

Сидя у темного окна, он будто видит их. *Вот они собираются, входят в дверь. Почти все уже здесь.* И он начинает говорить: «Сейчас. Сейчас», чуть подавшись вперед; и вот, словно по его сигналу, начинается музыка. Глубокая, раскатистая, разносится в летней ночи мелодия органа, слитная

и широкая, воспаряет смиренно, словно сами освобожденные голоса принимают позы и формы распятий; восторженно, величественно и проникновенно набирает звучность. Но даже теперь в музыке слышится что-то суровое, неумолимое, обдуманное, и не столько страсти в ней, сколько жертвенности, она просит, молит — но не любви, не жизни, их она запрещает людям, — как всякая протестантская музыка, в возвышенных тонах она требует смерти, словно смерть — благо. Словно одобрившие ее и возвысившие свои голоса, чтобы восхвалить ее в своей хвале — воспитанные и взращенные на том, что восхваляет и символизирует их музыка, они самой хвалой своей мстят тому, на чем взращены и воспитаны. Он слушает, и слышится ему в этом апофеоз его собственной истории, его земли, племенного в его крови: народа, который его породил и окружает, который не способен ни пережить наслаждение или беду, ни уклониться от них — без свары. Наслаждение, восторг, кажется, для него невыносимы: он спасается от них в буйстве, в пьянстве, в драке, в молитве; от бед — тоже, в таком же буйстве, по-видимому неискоренимом. *Так стоит ли удивляться, что их религия заставляет людей казнить себя и друг друга?* думает он.

Ему слышится в музыке объявление и освящение того, что им уготовано сделать завтра и о чем они уже знают. Ему кажется, что прошлая неделя пронеслась как бурный поток, а грядущая неделя, которая наступит завтра, — пропасть, и сейчас, на кромке обрыва, поток исторгнул единый, слитный, зычный, суровый крик — не оправдание, но последний салют перед тем, как низринуться в бездну — и не Богу вовсе, а обреченному человеку за решеткой, который слышит их и две другие церкви, и казня которого они тоже воздвигнут крест. «И сделают это с радостью», — говорит он в темное окно. Он ощущает, как сжимаются его губы и вздуваются желваки на челюстях от какого-то предчувствия, от чего-то еще более ужасного, чем смех. «Ибо пожалеть его — значило бы допустить, что они сомневаются в себе, сами надеются на жалость и нуждаются в ней. Они сделают это с радостью, с радостью. Вот почему это так ужасно, ужасно, ужасно». Затем, подавшись вперед, он видит, как к дому подходят трое людей и сворачивают в калитку — силуэтами, против уличного фонаря, между теней. Он уже узнал Байрона и теперь смотрит на тех двоих, которые следуют за ним. Он понимает, что это мужчина и женщина, но если бы

не юбка, они были бы почти неразличимы: одного роста и одинаковой ширины, вдвое плотнее обыкновенного мужчины или женщины, они похожи на двух медведей. Он начинает смеяться, еще не приготовясь к тому, чтобы оборвать смех. «Байрону — только пестрый платок на голову и серьги», — думает он и смеется, смеется беззвучно, стараясь совладать с собой, потому что сейчас постучит Байрон и надо будет открыть ему дверь.

Байрон вводит их в кабинет — приземистую женщину с совершенно неподвижным лицом, в багровом платье и шляпе с пером, с зонтом в руке, и мужчину, невероятно грязного и, должно быть, невероятно старого, с козлиной бородкой, пожелтелой от табака, и безумными глазами. Входят они не робко, но как-то по-кукольному, словно их приводит в движение примитивный пружинный механизм. Из них двоих женщина выглядит более уверенной или по крайней мере более здравой. И хотя ее действия отмечены скованностью, тупым автоматизмом, кажется, что она пришла сюда с определенной целью или по крайней мере неясной надеждой. Старик же — и Хайтауэру это ясно с первого взгляда — находится в прострации, словно не сознает

и ничуть не интересуется, где он; но при этом в нем таится подспудная взрывчатость — он в забытьи и вместе с тем настороже.

— Это она, — тихо говорит Байрон. — Это миссис Хайнс.

Они стоят без движения: женщина — точно достигнув цели долгого путешествия, в незнакомом месте, среди незнакомых лиц — ждет, тихо, окоченело, как раскрашенное каменное изваяние; и мужчина — спокойный, отсутствующий, но подспудно яростный и очень грязный. Оба они как будто и не взглянули на хозяина — ни с любопытством, ни равнодушно. Он жестом предлагает сесть. Байрон подводит женщину к стулу, и она садится осторожно, не выпуская зонтика. Мужчина садится сразу. Хайтауэр занимает свое место за столом.

— О чем она хочет со мной говорить? — спрашивает он.

Женщина не шевелится. Видимо, она не слышала. Она выглядит как человек, который совершил трудное путешествие за чем-то обещанным, а теперь опустил руки и ждет.

— Это он, — говорит Байрон. — Преподобный Хайтауэр. Скажите ему. Скажите то, что желали ему сообщить. — Она смотрит на Байрона,

но лицо ее ничего не выражает. Если за этим кроется бессловесность, то дар речи сведен на нет неподвижностью самого лица; если надежда или стремление, то их не видно и тени. — Скажите ему, — говорит Байрон. — Скажите, почему вы пришли. Зачем приехали в Джефферсон.

— Потому что… — говорит она. Голос ее неожиданно низок, почти груб, хотя и негромок. Она как будто сама не ожидала, что речь ее окажется такой шумной; она умолкает, словно в изумлении перед собственным голосом, и переводит взгляд с одного лица на другое.

— Расскажите, — говорит Хайтауэр. — Постарайтесь рассказать.

— Потому что я… — Снова голос смолкает, обрывается, словно изумившись самому себе — хотя он по-прежнему негромок. Кажется, что эти три слова — препятствие, которого ее голос не может преодолеть; почти заметно, как она заставляет себя их обойти. — Я так и не видела, как он ходит своими ножками, — говорит она. — Тридцать лет его не видела. Чтобы он ходил своими ножками или мог выговорить свое имя…

— Скотство и омерзение! — вдруг произносит старик. Голос у него высокий, пронзительный, сильный. — Скотство и омерзение! — Затем он

умолкает. Из сомнамбулического и настороженного своего забытья он выкрикивает, внезапно и исступленно, как шаман, три слова — и все.

Хайтауэр смотрит на него, затем на Байрона. Байрон тихо объясняет:

— Он — ребенок их дочери. Он, — легким движением головы указав на старика, который впился в Хайтауэра горящим бешеным взглядом, — он взял его сразу после рождения и унес. Она не знала, что он с ним сделал. Не знала даже, жив он или нет, покуда…

Старик опять прерывает их, с той же ошеломляющей внезапностью. Но на этот раз он не кричит: теперь его голос так же спокоен и рассудителен, как у самого Байрона. Он говорит ясно, только немного отрывисто:

— Да. Старый Док Хайнс забрал его. Бог помог старому Доку Хайнсу, так что старый Док Хайнс тоже помог Богу. И Бог свою волю возвестил через уста детишек. Детишки ему кричали «Нигер! Нигер!» перед Богом и перед людьми тоже, волю Божью говорили. А старый Док Хайнс сказал Богу: «Но этого мало. Они, детишки, промеж себя и похуже обзываются, чем нигером», и Бог сказал: «Ожидай и доглядывай, потому что некогда мне возиться с развратом и скотством на вашей зем-

ле. Я отметил его и теперь сделаю так, чтобы люди знали. А тебя ставлю караульщиком и хранителем моей воли. Тебе велю следить и надзирать за этим». — Голос его обрывается. Не замирает постепенно, а просто прекращается — точно иглу с граммофонной пластинки сняла рука человека, который не слушал запись. Хайтауэр переводит взгляд с него на Байрона — тоже почти горящий.

— Что это? Что это значит? — говорит он.

— Я хотел устроить так, чтобы она пришла и поговорила с вами без него, — говорит Байрон. — Да оставить его было негде. Она говорит, что должна за ним следить. Вчера в Мотстауне он подстрекал людей, чтобы его линчевали — не зная даже, в чем тот провинился.

— Линчевали? — говорит Хайтауэр. — Линчевали его внука?

— Так она говорит, — ровным тоном отвечает Байрон. — Говорит, что он и сюда за этим приехал. И ей тоже пришлось ехать, чтобы ему помешать.

Опять начинает говорить женщина. Возможно, она слушала. Но лицо ее так же мертво, лишено выражения, как и вначале; безжизненный ее голос раздается внезапно, почти как голос старика.

— Он пятьдесят лет такой. Больше пятидеся-

ти, пятьдесят — это сколько я с ним мучаюсь. Он и до того, как мы поженились, все время дрался. И в ту ночь, когда родилась Милли, его посадили за драку. Вот что мне пришлось от него терпеть. Он говорил, что должен драться, потому что он ростом меньше других людей, и они хотят им помыкать. Это у него от суетности и гордыни. Но я говорила, что это в нем — от дьявола. И что когда-нибудь дьявол нападет на него врасплох и скажет: «Юфьюс Хайнс, я пришел за данью». Вот что я ему сказала на другой день после того, как Милли родилась, и я головы не могла поднять от слабости, а его опять только что выпустили из тюрьмы. Я ему так и сказала: ведь это Бог его предостерегает и знак подает: в тот самый день и час, когда у него родилась дочка, он сидел в тюрьме, и это — знамение небесное, что не доверяет ему Господь воспитывать свою дочь. Знамение Господа свыше, что город (он тогда кондуктором был на железной дороге) ничего ему не приносит, кроме вреда. И он тогда сам это понял, потому что это было знамение, и мы в городах больше не селились, а потом он сделался мастером на лесопилке и хорошо зарабатывал, потому что не называл еще имени Господа Бога всуе и в гордости, чтобы дьявола в себе изви-

нить и оправдать. Так что ночью, когда Лем Буш по дороге домой из цирка проехал на повозке мимо и не остановился, и Милли с ним не было, и Юфьюс вошел в дом и повыкидывал вещи из ящика в комоде, чтобы добраться до пистолета, я сказала: «Юфьюс, это дьявол в тебе говорит. Не из-за того, что Милли нужно выручать, ты сейчас распалился», — а он сказал: «А хоть и дьявол. А хоть и дьявол», — и ударил меня, и я лежу на кровати, смотрю… — Она умолкает. Но — на падающей интонации, словно завод вышел на половине пластинки. Снова Хайтауэр переводит с нее на Байрона гневно-изумленный взгляд.

— Я то же самое слышал, — говорит Байрон. — Тоже сперва было трудно разобрать, что к чему. Они жили при лесопилке, где он был мастером, в Арканзасе. Девушке тогда было лет восемнадцать. Как-то ночью мимо лесопилки проезжал цирк — в город. Стоял декабрь, дожди все время, и под одним фургоном проломился настил моста, от них неподалеку; пришли к ним люди, разбудили его и попросили тали, чтобы вытащить фургон…

— Бабья плоть, омерзение Господне! — вдруг выкрикивает старик. Затем его голос стихает, слабнет, как будто он только хотел привлечь

внимание. Он опять говорит быстро, речь его убедительна, туманна, фанатична, и он опять рассказывает о себе в третьем лице. — Он знал. Старый Док Хайнс знал. Он уже видел на ней, у ней под одежей, бабью примету Господнего омерзения. Он пошел, надел плащ, зажег фонарь, вернулся, а она уже стоит в дверях, тоже в плаще, и он сказал: «Ступай обратно, ложись», а она сказала: «Я тоже хочу пойти», и он сказал: «Ступай обратно в комнату и ложись», и она ушла, а он пошел и взял в цеху большие тали и вытащил фургон. Чуть ли не до зари работал и думал, что послушалась отцовского приказа, Господом данного. Но надо было знать. Надо было знать бабью плоть, омерзение Господне; надо было знать скотство и мерзость в ходячем облике, уже смердящем в глазах Господних. Чтобы старый Док Хайнс поверил россказням, будто он мексиканец. Когда старый Док Хайнс видел на морде его черное проклятие Господа Всевышнего. Чтобы россказням этим…

— Что? — говорит Хайтауэр. Говорит громко, словно надеясь своим голосом заглушить старика. — Что это значит?

— Парень был из цирка, — объясняет Байрон. — Она ему сказала, что парень мексиканец, — дочь

сказала, когда он ее догнал. Может быть, сам парень ей так сказал. А он, — опять показывая на старика, — как-то узнал, что в парне — негритянская кровь. Может, ему другие из цирка сказали. Не знаю. Он и не обмолвился ни разу, откуда ему известно, — как будто это не имеет значения. Да, пожалуй, и не имело — после того, что случилось в следующую ночь.

— В следующую ночь?

— Видно, она все-таки ушла в ту ночь, когда застрял цирк. Он говорит, что ушла. По крайней мере так он себя повел, — если бы он этого не знал и если бы она не сбежала, он бы ничего такого не сделал. Потому что на другой день она отправилась в цирк с соседями. Он ее отпустил — не знал еще, что она уходила прошлой ночью. И когда она садилась к соседу в повозку, нарядившись по-выходному, он тоже еще ничего не подозревал. Но ночью, когда сосед возвращался, он их ждал и слышал, как повозка проехала мимо, словно и не собиралась останавливаться, чтобы высадить девушку. Он выбежал, окликнул их, и сосед остановил повозку, но девушки там не было. Сосед сказал, что она распрощалась с ними возле цирка и хотела заночевать у другой девушки, которая жила милях в шести от города,

и сосед удивлялся, как же Хайнс этого не знал — ведь, когда она садилась в повозку, у нее был саквояж. Хайнс саквояжа не видел. И она, — Байрон показывает на каменноликую женщину; непонятно, слушает она его или нет, — она говорит, что вел его дьявол. Она говорит, что он не больше нее знал, где девушка, однако вернулся в дом, взял пистолет, сшиб ее на кровать, когда она попробовала его остановить, оседлал лошадь и ускакал. И она говорит, что он выбрал единственный короткий путь, который годился, угадал в темноте — единственный из пяти или шести, которым можно было их догнать. При том, что знать он не мог, какой дорогой они поехали. Но знал. Нашел их, как будто с самого начала знал, где они будут, как будто сам с тем человеком, про которого девушка сказала, что он мексиканец, уговорился там встретиться. Как будто знал. Тьма была кромешная, и даже когда он нагнал коляску, он все равно бы не мог определить, что нужна ему именно эта. Но поскакал прямо за ней — за первой коляской, которую увидел ночью. Подъехал к ней с правой стороны, нагнулся и в кромешной тьме, не говоря ни слова, на скаку, схватил человека, который мог оказаться и посторонним, и соседом, и кем

угодно — ведь он его в глаза никогда не видел. Схватил его одной рукой, а другой — приставил к нему пистолет и застрелил, а девушку привез домой, посадив ее сзади на лошадь. Коляску и убитого оставил на дороге. Между прочим, опять шел дождь.

Он умолкает. И сразу начинает говорить женщина, будто только и ждала в нетерпеливом оцепенении, чтобы Байрон умолк. Она говорит тем же неживым, ровным голосом: два голоса монотонно чередуются — строфой и антистрофой; два бесплотных голоса рассказывают, как во сне, о чем-то, содеянном в краю без расстояний — людьми без крови:

— Я лежала на кровати и слышала, как он вышел, а потом услышала, как вывел лошадь из конюшни и мимо дома проскакал. Я лежала одевшись и смотрела на лампу. Керосин выгорал, потом я встала, отнесла ее на кухню, заправила, нагар с фитиля сняла, а потом разделась и легла, при лампе. А дождь все шел, и было холодно, потом я услышала — лошадь вернулась на двор, у крыльца остановилась, я встала, накинула шаль и слышу — входят в дом. Вперед Юфьюса шаги, потом Милли, прошли по передней к двери, и Милли в дверях стоит — лицо и волосы

от дождя мокрые, новое платье все в грязи, а глаза закрыты, и тогда Юфьюс ударил ее, и она упала на пол, лежит, а в лице не переменилась ни капли — какая стояла, такая лежит. А Юфьюс — в дверях, тоже мокрый, грязный, и говорит мне: «Дьяволу, ты сказала, прислуживаю. Вот я привез тебе дьявола посев. Спроси, что она в себе носит. Спроси у ней». А я до того уж устала и озябла… говорю ему: «Что случилось?» — а он сказал: «Поди туда да посмотри в грязи — увидишь. Ее он, может, и обманул, что он мексиканец. Но меня-то он не обманул. Да и ее не обманывал. Нужды не было. Ты сказала тогда, что придет ко мне дьявол за данью. Он и пришел. Проститутку родила мне жена. Но он хотя бы помог, как умел, когда пришла пора рассчитаться. Он указал мне дорогу и направил пистолет верно».

Вот я и думала порой, что дьявол одолел Бога. Оказалось, что у Милли будет ребенок, и Юфьюс начал искать врача, который бы это исправил. Я думала, он найдет, и порой казалось, что пусть уж останется как есть, раз мужчине с женщиной надо жить на земле. А порой я надеялась, что он найдет, — до того я намучилась, пока суд тянулся, а хозяин цирка пришел и сказал, что человек тот действительно был не мексиканец,

а с негритянской кровью, как Юфьюс все время говорил, — словно дьявол шепнул ему, что он нигер. А Юфьюс опять брал пистолет и говорил, что добудет врача живого или мертвого, и уходил, и пропадал неделями, и люди про это знали, а я все уговаривала Юфьюса уехать, потому что ведь только этот из цирка сказал, что он нигер, и, может, он точно не знал, а потом ведь он тоже уехал и едва ли нам снова встретится. Но Юфьюс уезжать не хотел; у Милли уже срок подходит, а Юфьюс со своим пистолетом все ищет доктора, который бы согласился. А потом я услышала, что он опять в тюрьме; что он ходил по церквам, по молитвенным собраниям в тех местах, где пробовал найти врача, и на одном молитвенном собрании встал и взошел на кафедру и сам начал проповедовать, кричать против негров, чтобы белые люди поднялись и всех их убили, и люди в церкви заставили его замолчать и сойти с кафедры, а он угрожал им пистолетом, прямо в церкви, пока не пришла полиция и не забрала его, и он первое время был как помешанный. И узнали про то, как он избил доктора в другом городе и сбежал, успел скрыться. Так что, когда он вышел из тюрьмы и вернулся домой, Милли уже ждала ребенка со дня на день. И я подума-

ла, что он отступился, признал наконец волю Божью — потому что дома не скандалил и даже когда детские вещи нашел, что мы с Милли приготовили, все равно ничего не сказал, спросил только, скоро ли. Каждый день спрашивал, и мы думали, что он отступился, что, может быть, по церквам походивши да в тюрьме посидевши, смирился он, как той ночью, когда Милли родилась. И вот подошел срок, разбудила меня ночью Милли и говорит, что началось, я оделась и велела Юфьюсу идти за доктором, он оделся и пошел. А я собрала что нужно, и ждем, и уж пора бы Юфьюсу с доктором воротиться, а его все нет, еще подождала — вот-вот, кажется, доктор должен прийти; вышла на крыльцо и вижу: на верхней ступеньке Юфьюс сидит с ружьем на коленях и говорит мне: «Ступай обратно в дом, проститутькина мать», — я говорю: «Юфьюс», — а он поднял ружье и сказал: «Ступай обратно в дом. Пускай дьявол сам соберет свою жатву: он ведь сеял». Я хотела выйти черным ходом, а он услышал, обежал с ружьем круг дома, стволом меня ударил, и я пошла обратно к Милли, а он за дверью в передней стоял, чтобы Милли видеть, пока она не умерла. Тогда он подошел к кровати, посмотрел на ребеночка и поднял его,

выше лампы поднял, будто ждет, увидеть хочет, кто верх возьмет — Господь или дьявол. А я до того замучилась, сижу у кровати, а на стене перед глазами — тень его, рук его тень и мальчика, высоко на стенке. И подумала я тогда, что Господь одолел. А теперь не знаю. Положил он мальчика в постель рядом с Милли и ушел. Слышу, в переднюю дверь вышел, встала я тогда, плиту затопила, молока согрела…

Она умолкает; грубый заунывный голос замер. Смотрит на нее через стол Хайтауэр: застывшая, каменноликая женщина в багровом платье с тех пор, как вошла в комнату, ни разу не пошевелилась. Потом она снова начинает говорить, не двигаясь, почти не шевеля губами, словно она кукла, а говорит чревовещатель в соседней комнате.

— И пропал Юфьюс. Хозяин лесопилки тоже не знал, куда он девался. Нанял другого мастера, но меня пока из дома не выгнал, потому что где Юфьюс, не знаем, а уже зима подходит, и у меня ребенок на руках. И где Юфьюс — про то я знала не больше мистера Гилмана, пока письмо не пришло. Из Мемфиса, а в нем — почтовый перевод и ни слова. Так что я опять ничего не узнала. А потом, в ноябре, пришел еще перевод, и опять

без письма. А я до того замучилась… а потом за два дня до Рождества вышла на задний двор дров наколоть, возвращаюсь домой — а мальчика нет. От силы на час отлучилась и, кажется, должна была бы видеть, как он вошел и вышел. А не заметила. Только записка лежит от Юфьюса — на подушке, которую с краю подкладывала, чтобы мальчик не скатился с кровати… и до того я измучилась. Все ждала, а после Рождества приехал Юфьюс и ничего мне не объяснил. Сказал только, что мы переезжаем, и я подумала, он ребенка вперед увез, а теперь за мной вернулся. И не говорит, куда мы едем, только — что недалеко, а я с ума схожу, волнуюсь, как там без нас ребенок, а он все равно не говорит, и я прямо думала, никогда не доедем. Потом приехали, а мальчика нет, я ему: «Говори, что ты сделал с моим Джо. Говори сейчас же, — а он посмотрел на меня, как той ночью на Милли смотрел, когда она лежала и умирала, и говорит: «Это омерзение Господне, и я орудие его воли». А на другой день пропал, и я не знала, куда он девался, а потом пришел еще перевод, и на другой месяц Юфьюс приехал домой и сказал, что работает в Мемфисе. И я поняла, что он спрятал Джо где-то в Мемфисе, и подумала — хорошо хоть так, хоть он

там за ним присмотрит, раз уж я не могу. Знала, что надо ждать, покуда Юфьюс сам не пожелает сказать мне, и каждый раз думала, что, может быть, в другой раз он возьмет меня с собой в Мемфис. И ждала. Шила, костюмчики делала для Джо, все, бывало, подготовлю к приезду Юфьюса, все, бывало, допытываюсь, годятся ли они моему Джо и как он там, здоров ли, а Юфьюс ничего не говорил. Сядет, бывало, с Библией и начнет читать, громко — а слушаю-то я одна, — громко читает, кричит прямо, будто думает, не верю я тому, что в Библии сказано. Пять лет ничего мне не говорил, и я не знала даже, отвозит он мальчику, что я нашила, или нет. А спрашивать боялась, не хотела его сердить, думаю, ладно хоть он там, где Джо, раз уж меня нету. Пять лет прошло, и вот является он раз домой и говорит: «Мы переезжаем», — и я подумала, что теперь-то я его увижу; если был грех, думаю, мы сполна за него расплатились, и я даже Юфьюса простила. Потому что думала, на этот раз мы наконец-то едем в Мемфис. Только не в Мемфис мы поехали. В Мотстаун. Через Мемфис проезжать пришлось, и уж как я его упрашивала. Первый раз за все время просила. Просила — хоть на минуту, на секунду; не потрогать, не поговорить — так просто.

А Юфьюс не позволил. Мы даже со станции не вышли. Сошли с поезда и семь часов другого поезда ждали, со станции не выходя, и приехали в Мотстаун. А Юфьюс больше не поехал в Мемфис на работу, и я немного погодя сказала: «Юфьюс», он на меня посмотрел, а я говорю: «Я пять лет ждала и никогда к тебе не приставала. Можешь ты хоть раз сказать мне, жив он или нет?» А он сказал: «Нет его в живых», и я спросила: «Нет в живых на свете или только для меня? Пускай, если только для меня. Скажи мне хоть это, ведь я пять лет к тебе не приставала», а он сказал: «Ни для тебя его нет в живых, ни для меня, ни для Бога, ни для всего света Божья — нет в живых и никогда не будет».

Она снова умолкает. С тихим безнадежным изумлением смотрит на нее из-за стола Хайтауэр. Байрон тоже неподвижен, голова его слегка опущена. Они трое — как три береговых камня, обнаженных отливом, — они, но не старик. Сейчас он слушал почти внимательно, со свойственной ему способностью мгновенно переходить от полного внимания, когда он все равно, кажется, не слышит, к полуобморочному забытью, когда взгляд его, по-видимому обращенный внутрь, стесняет человека так, будто он держит его рукой. Вдруг

он разражается кудахтающим смехом, бодрым, громким, безумным; невероятно старый, невероятно грязный, он начинает говорить:

— Это был Господь. Это он был. Старый Док Хайнс тоже пособил Богу. Господь сказал старому Доку Хайнсу, что делать, и старый Док Хайнс сделал. Тогда Господь сказал старому Доку Хайнсу: «Теперь следи. Следи, как исполняется моя воля». И старый Док Хайнс следил и слышал из уст детишек, Божьих сирот, куда он вложил свои слова и разумение, когда они сами разуметь не могли, потому что безгрешные, даже девочки, греха и скотства не познавши: «Нигер! Нигер!» — из уст детишек невинных. «Что я тебе говорил?» — сказал Господь старому Доку Хайнсу. «А теперь я постановил мою волю на исполнение, и я ухожу. Нет тут больше такого греха, чтобы мне с ним вожжаться, потому что какое мне дело до блудодейства потаскухина, ежели и оно для моей цели служит», а старый Док Хайнс спросил: «Как это — и блудодейство потаскухино для вашей цели служит?», а Господь сказал: «Жди, увидишь. Ты думаешь, случайно я послал молодого доктора, чтобы он нашел омерзение мое, в одеяло завернутое, на крыльце в ночь под Рождество? Ты думаешь, случайно начальница была тогда

в отлучке, чтоб молодые потаскухи могли назвать его Кристмасом, над сыном моим кощунствуя? И теперь я ухожу, потому что наладил мою волю исполняться, а тебя оставляю здесь доглядывать». И старый Док Хайнс — он ждал и доглядывал. Из котельни Господней доглядывал за ними, детишками, и дьявольское семя ходячее, незнаемое между них, землю сквернило, и слово то на нем сбывалось. Потому что с другими детишками он больше не играл. Все сам по себе — стоит тихонько, и тогда понял старый Док Хайнс, понял, что слушает он тайное предупреждение о Божьей каре, и сказал ему старый Док Хайнс: «Почему ты не играешь с другими детишками, как раньше?» — а он молчит, и старый Док Хайнс сказал ему: «Потому что нигером кличут?» — а он молчит, и старый Док Хайнс сказал ему: «Ты думаешь, ты нигер, потому что Бог лицо твое отметил?» — а он сказал: «А Бог — тоже нигер?» — и старый Док Хайнс сказал ему: «Он — Господь Бог сил гневных, воля его сбудется. Не твоя и не моя, потому что ты и я для его цели и его отмщения служим». И он пошел прочь, а старый Док Хайнс глядел, как он внемлет и слушает карающую волю Божью, и увидел старый Док Хайнс, как следит он за нигером, что по двору работал, и ходит за ним

во время работы, покуда нигер ему не сказал: «Ты чего за мной надзираешь, мальчик?» — а он спросил: «Как вышло, что ты нигер?» — и нигер сказал: «Кто сказал тебе, что я нигер, белая сопливая рвань?» — а он говорит: «Я не нигер», а нигер говорит: «Ты еще хуже. Ты сам не знаешь, кто ты есть. И еще того больше — никогда не узнаешь. Будешь жить, умрешь, и все равно не узнаешь», а он говорит: «Бог не нигер», а нигер говорит: «Тебе лучше знать, кто такой Бог, потому что один Бог знает, кто ты сам такой». Но Бог не сказал, его там не было, потому что он наладил свою волю исполняться, а доглядывать оставил старого Дока Хайнса. С той самой первой ночи, когда он в святую годовщину сына своего наладил ее исполняться, он поставил старого Дока Хайнса доглядывать. Холодная ночь была, и старый Док Хайнс стоял в темноте как раз за углом, чтобы видеть крыльцо и выполнение воли Божьей, и видел, как этот доктор молодой пришел в разврате и блудодействе и встал, и нагнулся, и поднял омерзение Господне, и внес его в дом. А старый Док Хайнс, он шел за ним, он видел и слышал. Он видел, как они одеяло разворачивали — молодые потаскухи те, святую годовщину Господню осквернявшие гоголь-моголем ромо-

вым и водкой, пока начальницы не было. И она, Иезавель докторская, была орудием Господним, она сказала: «Назовем его Кристмасом», и другая сказала: «Кристмас — а еще? Кристмас — а дальше как?», и Бог велел старому Доку Хайнсу: «Скажи им», и все они, скверной дыша, поглядели на старого Дока Хайнса и загалдели: «А-а, это дядя Док. Посмотри, дядя Док, что нам Дед Мороз принес и положил на ступеньки», а дядя Док сказал: «Его зовут Джозеф», и тогда перестали смеяться, поглядели на старого Дока Хайнса, и Иезавель та сказала: «Откуда вы знаете?» — а старый Док Хайнс сказал: «Так сказал Господь», и тогда они обратно засмеялись и загалдели: «И в Писании так: Кристмас, сын Джо — Иосифа, значит. Джо, сын Джо. Джо Кристмас», они сказали: «За Джо Кристмаса», — и хотели заставить старого Дока Хайнса тоже выпить за омерзение Господне, но он ихнюю чашу оттолкнул. Ему надо было только ждать и доглядывать, и он ждал, и пришел срок Господень выйти злу из зла. Прибежала Иезавель докторская от ложа похоти своей, смердящая грехом и страхом. «Он спрятался за кроватью», — говорит, и старый Док Хайнс сказал ей: «Сама пользовалась этим мылом надушенным, искусительным — себе

на погибель, Господу во омерзение и поругание. Сама и наказание понесешь», а она сказала: «Вы можете с ним поговорить. Я видела, как вы разговаривали. Вы могли бы его убедить», и старый Док Хайнс сказал ей: «Нет *ему* дела до блуда твоего, а мне и подавно», а она говорит: «Он донесет, и меня уволят. Я буду опозорена». Воняя похотью и блудом, стояла перед старым Доком Хайнсом, и воля Божья исполнялась над ней, потому что осквернила дом, где Бог приютил своих сирот. «Ты — ничто, — сказал старый Док Хайнс. — Ты и все потаскухи. Вы орудие гневной цели Божьей, а без нее малая птица не упадет на землю. Ты орудие Бога, все равно как Джо Кристмас и старый Док Хайнс». И она пошла прочь, а старый Док Хайнс, он ждал и доглядывал, и в скором времени она опять пришла, и лицо у ней было как у лютого зверя пустынного. «Я его пристроила», — говорит, и старый Док Хайнс сказал: «Как пристроила?» — потому что никакой новости старому Доку Хайнсу она не принесла, потому что Господь не таил своей цели от избранного своего орудия, и старый Док Хайнс сказал: «Ты послужила предреченной воле Божьей. Теперь ступай с миром и пакости до Судного дня» — и лицо у ней было как у лютого зверя

пустынного, и засмеялась раскрашенной грязью поганой над Господом. И пришли, и забрали его. Старый Док Хайнс видел, как его увезли в коляске, и пошел обратно ждать Бога, и Бог пришел и сказал старому Доку Хайнсу: «Теперь и ты ступай. Ты мою работу исполнил. Нет здесь больше зла, кроме бабьего зла, и не стоит оно того, чтобы избранное мое орудие за ним доглядывало». И старый Док Хайнс ушел, когда Господь велел ему уйти. Но с Господом связь держал и сказал ему ночью: «А ублюдок, Господи?» — и Господь сказал: «Он еще ходит по моей земле», и старый Док Хайнс держал связь с Господом и сказал ему ночью: «А ублюдок, Господи?» — и Господь сказал: «Он еще ходит по моей земле» — и старый Док Хайнс держал связь с Господом, и однажды ночью он бился, и боролся, и воззвал громко: «А ублюдок, Господи? Чувствую! Чувствую клыки и когти зла!» — и Господь сказал: «Это — он, ублюдок. Твои труды еще не кончены. Он — скверна и мерзость на земле моей».

* * *

Музыка в далекой церкви давно смолкла. В открытое окно доносятся только мирные и несметные звуки летней ночи. За столом сидит Хайтауэр,

больше чем когда-либо напоминая неуклюжего зверя, которого обманом и хитростью удержали от бегства, а теперь обложили — те самые, кто обманул и перехитрил его. Остальные трое сидят, обратив к нему лица, почти как судьи. Двое из них тоже неподвижны: женщина, каменноликая и терпеливая, как скала, и старик, выгоревший, как фитилек безжалостно задутой свечки. Байрон один кажется одушевленным. Его лицо опущено. Может быть, он разглядывает свою руку, лежащую на коленях; большой и указательный пальцы ее медленно трутся друг о друга, как бы раскатывая что-то, и кажется, будто он наблюдает за ними задумчиво и увлеченно. Услышав Хайтауэра, Байрон понимает, что священник обращается не к нему, да и ни к кому из присутствующих в комнате.

— Чего они ждут от меня? — произносит он. — На что рассчитывают, надеются — что я, по их мнению, могу сделать?

В ответ — ни звука; ни старуха, ни старик, по-видимому, не слышали. Байрон и не предполагал, что старик услышит. «Ему помощь не нужна», — думает он. «Ему-то нет. Ему мешать нужно», — думает он, вспоминая полуобморочное и вместе с тем маниакально-напряженное

забытье, в котором вот уже двенадцать часов — с тех пор как они встретились — пребывает старик, таскаясь с места на место за своей женой. «Ему мешать нужно. Не ей одной, пожалуй, повезло, что он такой беспомощный». Он наблюдает за женщиной. И произносит тихо, почти ласково:

— Продолжайте. Скажите ему, чего вы хотите. Он хочет знать, чего вы от него хотите. Скажите ему.

— Я думала… — начинает она. Она говорит не шелохнувшись. Голос у нее не столько неуверенный, сколько скрипучий, точно его вынуждают произносить что-то, лежащее за пределами речи, — то, что можно только знать, чувствовать. — Мистер Банч сказал, что может быть…

— Что? — спрашивает Хайтауэр. Он говорит резко, нетерпеливо, несколько визгливым голосом; он тоже не пошевелился и сидит, откинувшись, в кресле, руки — на подлокотниках. — Что? Что может быть?

— Я думала… — Голос снова замирает. За окном — ровное гудение насекомых. Голос раздается снова, невыразительный, тусклый; при этом она сидит, тоже чуть опустив голову, словно прислушивается, внимательно и тихо, к соб-

ственному голосу: — Он — мой внучек, моей дочери сынок. Я только подумала, что если бы я… если бы он… — Байрон тихо слушает, думая *Чудно, ей-богу. Можно подумать, они как-то поменялись. Как будто это у него должны повесить внука-нигера* Голос продолжает: — Я знаю, нехорошо беспокоить чужого человека. Но вам посчастливилось. Холостой, одинокий мужчина, у него спокойная старость, он не знает горя любви. Но вы, наверно, все равно не поймете, даже если бы я складно могла сказать. Я только подумала — если бы хоть на один день сделалось так, как будто этого не было. Как будто люди никогда не знали его за человека, который убил… — Голос снова смолкает. Она не пошевелилась. Кажется, она прислушивается к молчанию так же, как раньше прислушивалась к своему голосу — с тем же интересом, так же тихо, без удивления.

— Продолжайте, — говорит Хайтауэр высоким нетерпеливым голосом, — продолжайте.

— Ведь когда я его видела, он ни ходить, ни говорить еще не умел. Тридцать лет я его не видела. Я не говорю, что он не сделал того, про что люди рассказывают. Что он не должен пострадать за это, как заставил страдать людей, которые любили и потеряли близких. Но если бы его хоть

на денек могли отпустить. Как будто ничего этого еще не случилось. Как будто люди ничего еще против него не имеют. И было бы так, как будто он просто уехал надолго, стал за это время взрослым и вернулся. Если бы стало так хоть на один день. А после я бы не вмешивалась. Если он это сделал, то не мне защищать его от наказания. Только на один день, понимаете? Как будто он уехал надолго, вернулся и рассказывает мне про то, как ездил, и ни одна живая душа не держит против него зла.

— А-а, — говорит Хайтауэр высоким, пронзительным голосом. Он не двигается, костяшки рук, сжавших подлокотники кресла, побелели от напряжения, но видно, как под одеждой его начинает бить медленная сдерживаемая дрожь. — Вон что, — говорит он. — Всего-то. Это так просто. Просто. Просто. — Он, очевидно, не может остановиться. — Просто. Просто. — Сначала он говорил тихо; теперь он повышает голос. — Чего они от меня хотят? Что я теперь должен сделать? Байрон! Байрон! Чего им теперь от меня надо? — Байрон встал. Он стоит у стола, положив руки на крышку, лицом к Хайтауэру. Хайтауэр по-прежнему не шевелится, только дрожь все сильнее сотрясает его дряблое те-

ло. — Ах да. Как же я не догадался. Ведь просить будет Байрон. Как же я не догадался. Это дело припасено для нас с Байроном. Давайте, давайте. Выкладывайте. Что же вы оробели?

Байрон смотрит на стол, на свои руки на столе.

— Нехорошо получается. Нехорошо получается.

— А-а. Соболезнования? Не поздновато ли? Соболезнования мне или Байрону? Давайте же, выкладывайте. Чего вы от меня хотите? Ведь это вы — я понимаю. Я понял сразу. Ах, Байрон, Байрон. Какой режиссер в вас пропадает.

— Вы, наверно, хотели сказать — коммивояжер, торговый агент, маклер, — говорит Байрон. — Нехорошо. Я сам знаю. Можете мне не говорить.

— Но я же не ясновидящий, как вы. Вы, кажется, заранее знаете, что я вам скажу, а сами не говорите того, что хотели бы довести до моего сведения. Чего вы от меня хотите? Чтобы я признал себя виновным в этом убийстве? Да?

По лицу Байрона пробегает обычная гримаса — слабая, сардоническая, усталая, невеселая.

— Да почти что. — Затем его лицо разглаживается; оно очень серьезно. — Нехорошо об этом просить. Бог свидетель, я это понимаю. — Он наблюдает за своей рукой, движущейся медленно,

механически и бесцельно по крышке стола. — Помнится, я вам раз говорил, что быть хорошим — даром не дается, так же как быть плохим; за это тоже надо платить. И как раз хорошие люди не могут отказаться платить, когда им подают счет. Не могут потому, что заставить их платить никак нельзя — они вроде честных картежников. Плохие люди могут отказаться; потому-то никто и не ждет от них, что они расплатятся сразу или вообще когда-нибудь. А хорошие не могут. Может быть, хорошим приходится дольше расплачиваться, чем плохим. Но с вами это не в первый раз, ведь вы уже заплатили раз по счету вроде этого. Теперь не должно быть так же плохо, как тогда.

— Продолжайте. Продолжайте. Что же я должен сделать?

Байрон задумчиво следит за своей рукой, движущейся медленно и безостановочно.

— Он ведь так и не сознался, что убил ее. А улик у них — только слова Брауна, цена им — грош. Мы могли бы сказать, что он был у вас в ту ночь. И каждую ночь — когда Браун якобы видел, как он шел к большому дому и входил в него. Люди вам поверят. Все равно поверят. Они скорее поверят такому о вас, чем тому, что он жил

с ней, как муж с женой, а потом убил ее. И вы уже старый. Теперь они с вами ничего страшного не сделают. А ко всему остальному, что они могут сделать, я думаю, вы уже привыкли.

— А-а, — говорит Хайтауэр. — Конечно. Конечно. Они поверят. Это будет очень просто и очень хорошо. Для всех хорошо. Тогда он вернется к людям, которые из-за него пострадали, а Брауна без премии можно будет запугать, чтобы он признал ребенка своим, а потом — опять сбежал, и уже навсегда. И останутся только она и Байрон. Поскольку я — всего лишь старик, которому посчастливилось дожить до старости, не познавши горя любви. — Его сотрясает непрерывная дрожь; он поднял голову. В свете лампы лицо его лоснится, будто намасленное. Искаженное и перекошенное, оно блестит в свете лампы; пожелтелая, застиранная рубашка, которая утром была свежей, мокра от пота. — Не потому, что я не могу, не осмелюсь, — говорит он, — потому что я не желаю! Не желаю! Слышите? — Руки его отрываются от подлокотников. — Потому что я не желаю это делать! — Байрон не шевелится. Его рука замерла на столе; он смотрит на Хайтауэра и думает *Не мне он кричит. Похоже, он знает, что убедить ему надо кого-то другого,*

кто ближе к нему, чем я Потому что Хайтауэр уже кричит: — Я не желаю! Не желаю! — Кулаки его подняты, по лицу течет пот, дряблые, отвисшие складки желто-серой кожи раздвинулись, обнажив гнилые стиснутые зубы. Вдруг его голос раздается еще громче. — Вон! — вопит Хайтауэр. — Вон из моего дома! Вон из моего дома! — И он падает лицом на стол, выбросив вперед кулаки. Выходя в дверь следом за стариками, Байрон оглядывается и видит, что Хайтауэр так и не пошевелился, его лысая голова и сжатые в кулаки руки лежат в озерке света под абажуром настольной лампы. Гудение насекомых за открытым окном не смолкло, не прервалось ни на миг.

17

Это было в воскресенье ночью. Утром Лина родила. Заря еще только занималась, когда Байрон прискакал на муле к дому, откуда вышел не далее как шесть часов назад. Он спрыгнул на землю и сразу побежал по узкой дорожке к темному крыльцу. Несмотря на спешку, ему кажется, что он хладнокровно наблюдает себя со стороны: он думает, угрюмо, без удивления: «Байрон Банч принимает младенца. Если бы я увидел это недели две назад, я бы глазам своим не поверил. Я бы сказал, что они врут».

Окно, за которым он шесть часов назад оставил священника, было темно. На бегу ему вспомнилась лысая голова, стиснутые кулаки, дряблое тело, навалившееся грудью на стол. «Вряд ли он много спал сегодня, — подумал Байрон. — Хотя и не изображает… не изображает… — Он не мог произнести про себя слово «повитуха», которое непременно употребил бы Хайтауэр. — Пожалуй, не обязательно мне об этом думать, — размышлял он. — Если человек бежит от пистолета или на пистолет, ему тоже некогда рассуждать,

как это называется — трусостью или храбростью».

Дверь была не заперта. Вероятно, он знал, что так и будет. Он ощупью пробирался по передней, нисколько не заботясь о тишине. Он ни разу не заходил дальше комнаты, где в последний раз видел хозяина, лежавшего грудью на столе под ярким отвесным светом лампы. Однако он подошел к нужной двери так уверенно, как будто знал или видел ее или как будто его вели. «Хайтауэр бы так сказал, — думал он в темноте, подгонявшей его и лишенной ориентиров. — И она тоже. — Он имел в виду Лину, которая лежала сейчас в хибарке, мучаясь родами. — Только того, кто ведет, они назвали бы по-разному». Еще не войдя в комнату, он услышал храп Хайтауэра. «Как будто не очень-то и огорчился, в конце концов, — подумал он. И тут же поправил себя: — Нет. Это неправильно. Несправедливо. Ведь я и сам так не думаю. Я же знаю: он спит, а я не сплю только потому, что он старик и не может выдержать столько, сколько я».

Он подошел к кровати. Невидимый хозяин издавал глубокий храп. В нем слышалась полная и окончательная капитуляция. Не изнеможение, а именно капитуляция, словно он разжал кулак,

где собраны вместе гордость, надежда, страх и тщеславие — сила, позволяющая человеку держаться либо за поражение, либо за победу, сила, в которой и заключается Я ЕСТЬ и отказ от которой чаще всего оборачивается смертью. Стоя возле кровати, Байрон опять подумал *Бедняга. Бедняга* Ему казалось, что если он сейчас нарушит сон старика, это будет самой болезненной раной из всех, что он нанес ему. «Но ведь это не я жду, — подумал он. — Бог свидетель. Потому что, наверное, он тоже наблюдает за мной последнее время, как все остальные, смотрит, что я сделаю дальше».

Он тронул спящего, не грубо, но решительно. Храп Хайтауэра оборвался; большое тело вскинулось под рукой Байрона.

— Да? — сказал он. — Что? Что такое? Кто это?

— Это я, — сказал Байрон. — Опять Байрон. Ну, вы проснулись?

— Да. Что…

— Да, — сказал Байрон. — Она говорит, пора. Срок подошел.

— Она?

— Скажите, где свет… Миссис Хайнс. Она с ней. Я иду за врачом. Но боюсь опоздать. Я оставлю вам мула. Дотуда, я думаю, вы сможете доехать.

Та книга еще у вас?

Кровать под Хайтауэром скрипнула.

— Книга? Какая книга?

— С которой вы у нигеров ребенка принимали. Я просто хотел вам напомнить, на тот случай, если она вам понадобится. Если я с врачом не поспею вовремя. Мул — за воротами. Он знает дорогу. А я пойду в город за врачом. Постараюсь привести его поскорей. — Он повернулся и пошел. Он слышал, чувствовал, что Хайтауэр садится на кровати. Посреди комнаты он задержался, чтобы отыскать свисавшую с потолка лампочку и включить ее. Когда она загорелась, он уже шел к двери. Он не оглянулся. За спиной раздался голос Хайтауэра: «Байрон! Байрон!» Он не остановился, не ответил.

Светало. Он быстро шел по пустой улице, под редкими и бледнеющими фонарями, около которых еще кружилась и толклась мошкара. Но свет прибывал; когда он вышел на площадь, фасады с восточной стороны четко обозначились в небе. Он быстро соображал. С врачом он не условился. И теперь на ходу, со страхом и злостью, как настоящий молодой отец, проклинал себя за эту возмутительную и преступную халатность. И все же тревога его была не совсем отцовская.

За ней стояло что-то другое, в чем он пока не мог разобраться. Заслоненное необходимостью спешить, оно как будто притаилось в уме, готовясь выскочить, запустить в него когти. Но пока что он думал так: «Надо решать быстро. Говорят, того негритенка он принял как надо. Но тут другое дело. Надо было сделать это на прошлой неделе, заранее повидаться с врачом, чтобы не объясняться теперь, в последнюю минуту, не бегать от дома к дому, не искать того, кто согласится, кто поверит небылицам, которые мне придется плести. Черт подери, неужели же человек, который понаторел во вранье, как я за последнее время, не сумеет соврать так, чтобы ему всякий поверил — и мужчина и женщина. Но я, похоже, не сумею. Видно, не для меня эта работа — складно врать». Он шел быстро, шаги звучали гулко и одиноко на пустынной улице; решение уже было принято, хотя он этого не сознавал. Для него тут не было ничего нелепого или комического. Решение слишком быстро возникло и слишком прочно укоренилось в его уме к тому времени, когда он его осознал; ноги уже выполняли решение. Они несли Байрона к дому того самого врача, который опоздал на роды в негритянской семье, где акушерствовал Хайтауэр, вооружившись

бритвой и книгой.

Врач опоздал и на этот раз. Байрону пришлось ждать, пока он оденется. Человек уже пожилой и суетливый, он был не слишком доволен тем, что его разбудили в такой час. Потом ему пришлось искать ключи от машины, хранившиеся в несгораемом ящике, ключ от которого тоже удалось найти не сразу. А сломать замок он Байрону не позволил. Так что, когда они подъехали к хибарке, восток уже золотился и вот-вот должно было выглянуть шустрое летнее солнце. И снова двое мужчин, постаревшие за это время, столкнулись в дверях лачуги, и профессионал опять проиграл любителю — ибо, ступив на порог, врач услышал крик младенца. Капризно сощурясь, врач посмотрел на священника.

— Ну-с, доктор, — сказал он, — напрасно Байрон меня не предупредил, что уже вызвал вас. Я бы спал себе спокойно. — Он протиснулся мимо священника в дверь. — Кажется, теперь у вас получилось удачнее, чем в прошлый раз, когда мы консультировались. Только вид у вас такой, будто вам самому нужен доктор. Или просто чашка кофе. — Хайтауэр что-то ответил, но врач уже двинулся дальше, не слушая его. Он вошел в комнату, где на узкой складной койке лежа-

ла незнакомая молодая женщина, изнуренная и бледная, а рядом старуха в багровом платье, тоже ему незнакомая, держала на коленях ребенка. На другой койке в темном углу спал старик. Увидев его, доктор сказал про себя, что он похож на мертвеца — так глубок и покоен был его сон. Но увидел он старика не сразу. Он подошел к старухе, которая держала ребенка. — Так, так, — сказал он. — Байрон, наверно, очень волновался. Он не сказал мне, что вся семья будет в сборе, даже дедушка и бабушка. — Старуха посмотрела на него. Он подумал: «Она не больше него похожа на живого человека, даром что сидит. И кажется, не соображает даже, что она мать, а уж что бабушка — тем более».

— Да, — сказала старуха. Она смотрела на него снизу, припав к ребенку. Тут он увидел, что лицо у нее не глупое, не бессмысленное. Оно показалось ему покойным и вместе с тем ужасным, как будто покой и ужас давным-давно кончились и сейчас возродились вместе. Но главное, что бросилось ему в глаза, — это ее поза, в которой было что-то от камня и вместе с тем от припавшего к земле зверя. Старуха показала головой на спящего старика; врач в первый раз задержал взгляд на его койке. Она прошептала лукаво, но еще

встревоженно, не совсем оправившись от ужаса: — Я его обманула. Сказала, что в этот раз вы придете с черного хода. Я его обманула. А вы уже здесь. Теперь вы сможете помочь Милли. А я присмотрю за Джо. — Затем все это исчезло. У него на глазах жизнь, одушевление вдруг погасли, стерлись с ее лица, и оно сделалось таким тупым и застывшим, как будто ничего подобного в нем и быть не могло; теперь ее глаза смотрели на доктора вопросительно, с тупой, немой озадаченностью, и она согнулась над ребенком так, словно он пытался его утащить. Возможно, это движение разбудило младенца; он вскрикнул. Затем и озадаченность исчезла. Сплыла легко, как тень, и несуразная, с деревянным лицом старуха задумчиво уставилась на ребенка.

— Это Джо, — сказала она. — Сыночек моей Милли.

А Байрон, остановившись перед дверью, за которой скрылся врач, услышал этот крик, и с ним произошло что-то страшное. Ночью миссис Хайнс вызвала его из палатки. Голос у нее был такой, что он чуть ли не на бегу натянул брюки и, пробежав мимо миссис Хайнс, которая даже не разделась на ночь, влетел в хибарку. Тут он увидел ее и замер. Миссис Хайнс стояла рядом,

что-то говорила; наверно, он отвечал, тоже что-то говорил. Во всяком случае, он оседлал мула и уже скакал к городу, а все еще видел ее на кровати — ее лицо, когда она, приподнявшись на локтях и воя от безысходного ужаса, смотрела на свое тело, прикрытое простыней. Видел все время, пока будил Хайтауэра, пока помогал собираться врачу, а между тем когтистая тварь в его душе таилась и ждала своей минуты, и мысли бежали так быстро, что ему некогда было задуматься. Вот в чем дело. Слишком быстро, чтобы задуматься — покуда они с врачом не подошли к хибарке. И тут, когда он остановился перед дверью хибарки и услышал крик младенца, с ним произошло что-то страшное.

Теперь он понял, что за когтистая тварь таилась в его душе, пока он шел по пустынной площади, разыскивая врача, с которым не удосужился сговориться заранее. Теперь он понял, почему не сговорился. Потому что не верил — пока миссис Хайнс не вызвала его из палатки, — что ему (ей) врач понадобится, понадобится непременно. Как будто за эту неделю его глаза привыкли к ее животу, а ум все равно не верил. «Нет, я верил, знал, — подумал он. — Иначе зачем я все это проделывал — бегал, врал, надоедал людям?»

Но ему было ясно, что поверил он только после того, как, пробежав мимо миссис Хайнс, заглянул в хибарку. Когда голос миссис Хайнс прервал его сон, он знал, в чем дело, что случилось. Он встал и второпях прикрылся, как комбинезоном, спешкой, зная, зачем разбужен, зная, что вот уже пять ночей он ждал этого. И все же не веря. Он понимал теперь, что, подбежав к хибарке и заглянув туда, он ожидал увидеть ее сидящей; может быть, ожидал, что она встретит его в дверях, такая же, как всегда, — безмятежная, неподвластная времени. Но, едва притронувшись к двери, он услышал то, чего никогда прежде не слыхал. Жалобный вой, громкий, звучавший страстно и вместе с тем униженно, как будто она обращалась к чему-то на языке, невнятном ни Байрону, ни другим мужчинам. Затем он прошел в дверь мимо миссис Хайнс и увидел ее на койке. Он еще никогда не видел ее в постели и думал, что когда (или если) ему представится такой случай, она будет напряженна, собранна, может быть, слегка улыбнется и, уж во всяком случае, заметит его присутствие. Но когда он вошел, она на него даже не взглянула. Она как будто даже не заметила, что дверь открылась и в комнате есть кто-то или что-то еще, кроме нее и того, к че-

му она обращала свой жалобный вой — речь, непонятную для мужчины. Она была укрыта до подбородка, но приподнялась на локтях, вытянув вперед шею. Волосы ее рассыпались, глаза были похожи на две дыры, губы белы, как подушка под головой, и в этой встревоженной позе, словно разглядывая изумленно и недоверчиво очертания своего тела под простыней, она снова издала громкий, обиженный, жалобный вопль. Миссис Хайнс уже склонилась над ней. Она обернула к нему деревянное лицо над багровым плечом. «Идите, — сказала она. — Идите за врачом. Уже началось».

Он не помнил, как шел к конюшне. Только вдруг очутился там и уже ловил мула, вытаскивал седло, накидывал ему на спину. Он действовал быстро; мысли же текли неторопливо. Теперь он понял почему. Теперь он понял, что неспроста мысли текли плавно и неторопливо: так разливают по морю жир, когда разыгрывается шторм. «Если бы я тогда понял, — думал он. — Если бы я тогда понял. Если бы тогда до меня дошло». Думал, не шевелясь, с сожалением и отчаянием. «Да. Я бы повернул и поехал прочь. Ехал бы и ехал, бог знает куда, бог знает сколько, до скончания века». Но он этого не сделал. Он проскакал

мимо хибарки, а мысли текли плавно и ровно, и он еще не знал почему. «Только бы дом миновать, только бы не услышать, как она опять закричит, — думал он. — Только бы дом миновать до того, как опять услышу». С этим его вынесло на дорогу; маленькое жилистое животное набрало ход, масло мысли растекалось ровно и плавно: «Сперва к Хайтауэру. Мула оставлю ему. Не забыть напомнить ему про врачебную книгу. Не забыть», — растекалось масло, неся его к тому месту, где он на скаку спрыгнул с мула и побежал к дому Хайтауэра. Теперь его занимало другое. «Это я сделал», — думал он *Даже если не удастся найти настоящего врача.* Это вынесло его на площадь и там покинуло; он ощущал ее, притаившуюся, когтистую, думая *Даже если я не найду настоящего врача. Потому что я никогда не верил, что он понадобится. Я не верил* — вскачь неслось в уме, парной упряжью парадокса соединенное с необходимостью спешить, пока они со стариком доктором искали ключ от несгораемого ящика, чтобы достать ключ от машины. Наконец они его нашли, и необходимость спешить на время совпала с движением, с быстрой ездой по пустынной дороге, под пустынным рассветным небом — или, может быть, он просто

взвалил всю действительность, весь ужас, весь свой страх на доктора, как обычно делают люди. Так или иначе, это привело его назад, к хибарке, где он и доктор вылезли из машины и подошли к двери, за которой еще горела лампа: то был последний просвет покоя, за которым на него обрушился удар, и когтистая тварь набросилась сзади. Он услышал крик младенца. И тогда понял. День разгорался быстро. Он тихо стоял, окруженный прохладным покоем, пробуждающейся тишиной, — маленький, неприметный человек, на которого ни разу в жизни не оглянулись на улице — ни мужчина, ни женщина. Теперь он понимал, что все это время что-то охраняло его, мешая поверить, — верой охраняло. Со строгим, суровым изумлением он думал *Как будто, пока миссис Хайнс меня не позвала, пока я не услышал ее, не увидел ее лицо, не увидел, что Байрон Банч для нее сейчас — нуль, — до тех пор я как будто не понимал, что она не девушка* И он подумал, что это ужасно, но это еще не все. Было что-то еще. Он не опускал головы. Он неподвижно стоял под разгоравшимся небом, и мысль тихо шла дальше *Значит, и это припасено для меня, как говорит преподобный Хайтауэр. Теперь я должен сказать ему. Должен сказать Лукасу Бер-*

чу И в этом уже не было горького спокойствия. Это было что-то вроде страшного и неисцелимого отчаяния подростка *Ведь до сих пор я даже не верил, что он такой. Как будто я и она и все остальные, кого я в это втянул, были не нами, а просто кучей слов, которые ничего не значат, а сами-то мы все гнули и гнули свое и никакой нехватки слов не чувствовали. Да. Ведь я до сих пор не верил, что он — Лукас Берч. Что был такой Лукас Берч на свете.*

«Удачнее, — говорит Хайтауэр, — удачнее. Не знаю, такая ли уж это удача». Но врач уже вошел в хибарку. Задержавшись еще на секунду, Хайтауэр наблюдает через плечо за группой у койки, слышит бодрый голос врача. Старуха сидит тихо, но Хайтауэру кажется, что не далее как секунду назад отнимал он у нее младенца, чтобы она не выронила его в припадке немого и яростного ужаса. И немота не могла скрыть ярости, когда старуха выхватила ребенка чуть ли не из материнского тела, высоко подняла на руках и, пригнувшись, грузная, похожая на медведицу, свирепо воззрилась на старика, спавшего на койке. Он уже спал, когда пришел Хайтауэр. Казалось, он совсем не дышал, а возле койки, на стуле, пригнувшись, сидела старуха.

Она напоминала скалу, нависшую над пропастью, и в первый миг Хайтауэр подумал *Она его уже убила. На этот раз вовремя приняла меры предосторожности* Потом ему было не до нее; старуха находилась рядом, но он не замечал этого, пока она не выхватила еще бездыханного младенца и не подняла вверх, впившись в спящего на другой койке старика взглядом тигрицы. Потом новорожденный вдохнул воздух и закричал, и старуха будто откликнулась — тоже на неведомом языке, дико и торжествующе. Пока он боролся с ней, отнимая ребенка, чтобы она его не выронила, лицо у нее было почти маниакальное. «Поглядите, — сказал он. — Смотрите! Он спит. На этот раз он его не унесет». А она все смотрела на него, немо, по-звериному, словно не понимая человеческой речи. Но ярость, торжество ушли с ее лица: она хрипло скулила, пытаясь отнять у него ребенка. «Только поосторожнее, — сказал он. — Поосторожнее, ладно?» Она кивнула, скуля, тихонько щупая ребенка. Но руки у нее не дрожали, и он отдал ей ребенка. И теперь она сидит, держа его на коленях, а опоздавший врач стоит возле койки, разговаривает бодрым ворчливым голосом и что-то быстро делает руками. Хайтауэр отворачивается, выходит

и осторожно, по-стариковски спускается со сломанной приступки на землю, будто в дряблом его брюшке спрятано что-то смертоносное и гремучее, как динамит. Уже не заря — утро на дворе: встало солнце. Он остановился, озирается; зовет: «Байрон». Ответа нет. Потом он видит, что мула, который был привязан неподалеку к заборному столбу, тоже нет. Он вздыхает. «Так, — думает он. — В довершение всех обид, которые я терплю от Байрона, я должен две мили идти пешком до дома. Это недостойно Байрона, ненависти. Впрочем, деяния наши часто нас недостойны. А также мы — своих деяний».

Он медленно бредет к городу — худой мужчина с брюшком, в замусоленной панаме и грубой бумажной ночной рубахе, кое-как заправленной в черные брюки. «Хорошо еще, что я не слишком поторопился и надел туфли», — думает он. «Я устал, — думает он с досадой. — Устал и не смогу заснуть». Он думает об этом с досадой, устало, в ритме шагов — и сворачивает в свою калитку. Солнце уже высоко, город проснулся; там и сям тянет дымом — готовят завтрак. «Самое малое, что он мог бы для меня сделать, — думает он, — после того как не оставил мне мула, это поехать вперед и растопить у меня печку. Раз уж он счи-

тает, что двухмильная прогулка полезна мне для аппетита».

Он идет на кухню и растапливает плиту — медленно, неумело, так же неумело, как в первый день, двадцать пять лет назад; потом ставит кофе. «И опять лягу, — думает он. — Хотя уверен, что не засну». Но он замечает, что мысли у него сварливые, как мирное нытье сварливой женщины, которого не слушает даже она сама; тут он обнаруживает, что готовит себе по привычке обильный завтрак, и замирает на месте, прищелкивая языком, как бы от неудовольствия. «Я должен был бы чувствовать себя хуже», — думает он. Но вынужден признать, что этого нет. Он стоит, высокий, мешковатый, заброшенный, в своей заброшенной и запущенной кухне, держа в руке чугунную сковородку с тусклой пленкой вчерашнего жира — и волна, прилив чего-то, почти горячего, почти торжества, накатывает на него. «Я им показал! — думает он. — Жизнь еще дается в руки старику, а они опаздывают. Им достаются лишь последки, как сказал бы Байрон». Да, это — тщеславие и суетная гордость. Но медленно спадающей горячей волне все равно, она глуха к укорам. Он думает: «Ну и что? Ну и что ж, что я их испытываю — торжество

и гордость? Ну и что?» Но тепло, волна, по-видимому, и к этому безразличны, не нуждаются в поддержке; не остужает их и вещественность апельсина, яичницы и подрумянившегося хлеба. А он, глядя на грязные пустые тарелки на столе, говорит уже вслух: «Честное слово. Я их даже мыть сейчас не буду». И в спальню не идет, хотя ночью не выспался. Он подходит к двери и заглядывает туда, все еще согреваемый ощущением цели и гордостью, думает: «Ну, это если бы я был женщиной. Женщина бы так и сделала — легла бы в постель». Он идет в кабинет. Он движется, как человек, имеющий перед собой цель, — он, который двадцать пять лет совсем ничего не делал от того мгновения, когда просыпался, и до того, когда засыпал опять. И книга, которую он берет теперь, — не Теннисон: он и здесь выбирает мужскую пищу. Это «Генрих IV». И, выйдя на задний двор, он ложится в провисший шезлонг под шелковицей — плюхается тяжело и с размаху. «А поспать мне не удастся, — думает он, — потому что скоро явится Байрон и опять разбудит. Впрочем, узнать, какое еще дело он для меня придумал, — это, может быть, и стоит сна».

Он засыпает быстро, почти сразу, с храпом.

Если бы кто-нибудь подошел и заглянул в кресло, то увидел бы под двумя сияющими осколками неба в очках невинное, мирное и уверенное лицо. Но никто к нему не подходит, хотя когда он просыпается — почти шесть часов спустя, — ему кажется, что его кто-то звал. Он порывисто садится, кресло под ним скрипит. «Да? — говорит он. — Да? Что такое?» И хотя никого нет, он озирается, как бы ожидая и прислушиваясь, с тем же волевым и уверенным выражением лица. И радость в нем тоже не остыла. «А я надеялся, что просплюсь и остыну, — думает он и сразу поправляет себя: — То есть нет. Не надеялся, конечно. Я хочу сказать — *боялся.* Итак, я все же сдался, — думает он молча, не шевелясь. Потом потирает руки, сперва — легонько, чуть виновато. — Все же сдался. И я себе позволю. Да. Может быть, и это для меня припасено. И я не буду противиться». И он говорит про себя *Ребенка принял я. В мою честь еще никого не называли. И я ведь знаю случаи, когда благодарная мать называла его в честь доктора, который помогал ей разрешиться. Впрочем, есть ведь Байрон. Право первенства, конечно, за ним. Ей придется рожать еще, и не одного* — он вспоминает молодое, сильное тело, даже там, в родовых муках, сиявшее

мирным бесстрашием *Не одного. Многих. В этом будет ее жизнь, ее судьба. И, мирно повинуясь ей, доброе племя заселять будет добрую землю; из крепких этих чресл без спешки и суеты произойдут мать и дочь. Но теперь — порожденные Байроном. Бедный малый. Хоть и заставил меня возвращаться пешком*

Он входит в дом. Бреется, снимает ночную рубаху и надевает ту, что носил вчера, потом — воротничок, батистовый галстук и панаму. Дорога до хибарки занимает меньше времени, чем оттуда домой, хотя идет он лесом, где ходьба тяжелее. «Надо делать это почаще, — думает он, чувствуя перемежающийся свет, жар солнца, жестокий, животворный запах земли и леса, громкую тишину. — И от этой привычки тоже нельзя было отказываться. Но, может быть, они теперь обе возобновятся, пусть даже это неравноценно молитве».

Он выходит из леса на дальний край выгона, который начинается у хибарки. За хибаркой он видит купу деревьев, где стоял сгоревший дом, но черных и немых головешек, которые были некогда досками и балками, отсюда не видно. «Несчастная женщина, — думает он. — Несчастная, бесплодная женщина. Не дожить всего недели

до той поры, когда счастье вернулось в эти места. Когда счастье и жизнь вернулись на эти бесплодные, загубленные земли». И видятся, чудятся ему призраки тучных нив и щедрой плодоносной черной жизни в этой стороне, грудные крики, плодовитые женщины, голые детишки в пыли перед дверьми; и опять — большой дом, шумный, оглашаемый дискантовыми криками потомства. Он подходит к хибарке. Не стучится; уже отворяя дверь, спрашивает веселым, раскатистым голосом:

— Можно доктору войти?

В хибарке только мать и дитя. Она лежит высоко на подушках, ребенок — у груди. Хайтауэр входит в тот миг, когда она прикрывает голую грудь простыней, глядя на дверь без всякой тревоги, но внимательно, и лицо у нее ясно и приветливо, будто она сейчас улыбнется. У него на глазах это выражение гаснет.

— А я думала… — произносит она.

— Вы думали, это кто? — говорит, рокочет он. Подходит к койке и смотрит на нее, на крохотное сморщенное терракотовое личико ребенка, которое будто подвешено — спящее и лишенное тела — к ее груди. Скромно и безмятежно она подтягивает простыню повыше, а лысый, худой

мужчина с брюшком стоит над ней, и его ласковое лицо светится торжеством. Она смотрит на ребенка.

— За ним прямо не угонишься. Думаю, уже заснул, кладу его, а он опять кричит, опять подносить надо.

— Нехорошо, что вы тут одна, — говорит он. Оглядывается. — А где…

— Она тоже ушла. В город. Она этого не сказала, но я знаю, что туда. Он улизнул, а она, когда проснулась, спросила меня, где он, я сказала — ушел, и она пошла за ним.

— В город? Улизнул? — Потом он тихо произносит: — А-а. — Лицо его сделалось серьезным.

— Она за ним весь день следила. А он за ней. Я видела. Притворялся, будто спит. Она и думала, что спит. Ну и сморило ее после обеда. Прошлую-то ночь совсем не отдыхала, а как пообедала, села на стул и задремала. А он следил за ней, встал потихоньку со своей койки, моргает мне, гримасы строит. Пошел к двери, а сам все моргает через плечо, гримасы строит, и на цыпочках — за порог. Я его не останавливала и ее будить не стала. — Она смотрит на Хайтауэра широко раскрытыми, серьезными глазами. — Боялась. Разговор у него чудной. И смотрит как-то не так.

Вроде моргает и гримасы строит не для того, чтобы я ее не будила, а будто показать хочет, что со мной будет, если разбужу. Я и забоялась. Ну и лежала тут с маленьким, а вскорости она сама встрепенулась. Тут я и поняла, что засыпать-то она не хотела. Проснулась она словно уже на ходу, когда к его койке бежала, — и трогает ее, словно не верит, что он ушел. Стоит возле койки и по одеялу хлопает, словно ищет, не потерялся ли он где под одеялом. А потом на меня посмотрела, раз только. И не моргала, гримас не строила, но лучше бы уж, кажется, моргала. И спросила меня, я сказала, тогда она надела шляпу и ушла. — Она смотрит на Хайтауэра. — И рада я, что ушла. Нехорошо, верно, так говорить, после всего, что она для меня сделала. Да ведь…

Хайтауэр стоит над койкой. Он как будто не видит ее. Лицо его очень серьезно; кажется, что оно постарело на десять лет, пока он тут стоял. Или стало выглядеть так, как должно выглядеть, а когда он входил в комнату — было чужим самому себе.

— В город, — говорит он. Тут его глаза оживают, снова начинают видеть. — Что ж, теперь ничего не поделаешь, — говорит он. — Кроме того, люди в городе… нормальные… найдется же там

несколько человек… Почему вы рады, что они ушли?

Она опускает взгляд. Ее рука движется около головы ребенка, не прикасаясь к ней, — жест инстинктивный, ненужный и, по-видимому, неосознанный.

— Она ко мне добра была. Мало сказать добра. Маленького держит, чтобы я отдохнуть могла. Все время бы его держала, сидя на этом вот стуле… Вы уж меня извините. И сесть-то вас не пригласила. — Она смотрит на него, пока он подтаскивает к койке стул и садится. — Сидит так, чтобы его видеть, а он на койке, притворяется, будто спит. — Она внимательно смотрит на Хайтауэра; в глазах ее вопрос. — Все время зовет его Джо. Когда имя у него совсем не Джо. А она все время… — Она следит за лицом Хайтауэра. В ее глазах — озадаченность, вопрос, сомнение. — Все время говорит про… Путает она чего-то. Я и сама порой путаюсь — послушаешь ее… а как не слушать-то… — Ее глаза, ее слова нащупывают что-то, растерянно ищут.

— Путает?

— Все время говорит про него, как будто его папа — этот… который в тюрьме, этот мистер Кристмас. Она все твердит, и я путаться начи-

наю, иногда прямо не могу… прямо сама путаюсь и тоже думаю, что папа его — этот мистер… мистер Кристмас… — Она наблюдает за ним; кажется, что она совершает над собой какое-то мучительное усилие. — Знаю же, что это не он. Понимаю, что глупость. Все потому, что она твердит и твердит, а я не совсем, что ли, окрепла и сама начинаю путаться. И страшно…

— Что?

— Не нравится мне, что путаюсь. И боюсь, запутает она меня совсем — вроде как говорят, если глаза скосишь к носу, так потом и останешься… — Она смотрит в сторону. Не шевелится. Чувствует, что он наблюдает за ней.

— Вы говорите, ребенка зовут не Джо. А как его зовут?

Она не сразу переводит взгляд на Хайтауэра. Потом поднимает глаза. И отвечает — слишком быстро, слишком легко:

— Я его еще не назвала.

И он понимает — почему. Он будто видит ее впервые с тех пор, как вошел. Впервые замечает, что волосы ее недавно расчесаны и лицо тоже как-то посвежело, и видит наполовину прикрытые простыней, словно она сунула их туда впопыхах при его появлении, гребень и осколок

зеркала.

— Когда я вошел, вы кого-то ждали. Причем — не меня. Кого вы ждали?

Она не отводит взгляда. В лице ее не заметно ни притворства, ни простодушия. Нет в нем также спокойствия и безмятежности.

— Ждала?

— Вы ждали Байрона Банча? — Она по-прежнему не отводит взгляда. Лицо у Хайтауэра серьезное, твердое, ласковое. Но есть в нем та безжалостность, какую ей случалось видеть на лицах хороших людей, ей встречавшихся, — обычно мужчин. Он наклоняется и кладет ладонь на ее руку, которая поддерживает тельце ребенка.

— Байрон — хороший человек, — говорит он.

— Да, я это знаю не хуже других. Наверно, даже лучше.

— И вы хорошая женщина. Будете ей. Я не хочу сказать… — быстро поправляется он. И умолкает. — Я не хотел сказать…

— Я понимаю, — говорит она.

— Нет. Не это. Это не важно. Это пока ничего не значит. Все зависит от того, как вы потом этим распорядитесь. Собой. Другими. — Он смотрит на нее; она не отводит взгляда. — Отпустите его.

Прогоните от себя. — Они смотрят друг на друга. — Дочь моя, отошлите его. Вы, наверно, почти вдвое его моложе. Но прожили вы вдвое больше его. Он вас никогда не догонит, никогда не сравняется с вами — он потерял слишком много времени. И это — его ничто — так же непоправимо, как ваше все. Он так же бессилен вернуться вспять и что-то сделать, как вы — отменить сделанное. У вас мальчик — не от него, от другого мужчины. В его жизнь войдут двое мужчин и только третья часть женщины, а он заслуживает хотя бы того, чтобы в его жизнь, тридцать пять лет не занятую ничем, вторглись — если уж должны вторгнуться — без двух свидетелей. Прогоните его.

— Не мое это дело. Он свободен. Спросите его. Я его не держу.

— В том-то и дело. Вы, вероятно, не удержали бы его, если бы старались. В том-то и дело. Если бы вы умели за это взяться. Впрочем, если бы вы умели, вы не лежали бы тут на койке с грудным ребенком. Так вы не хотите прогнать его? Не хотите сказать ему решительно?

— Больше, чем сказала, я не могу сказать. Я ему пять дней назад сказала «нет».

— «Нет»?

— Он хотел, чтобы мы поженилась. Сразу же. А я сказала «нет».

— А сейчас бы вы сказали «нет»?

Она смотрит на него с твердостью.

— Да. И сейчас бы сказала.

Он вздыхает, большой, мешковатый; лицо у него опять усталое, безвольное.

— Я вам верю. Вы будете говорить это, пока не убедитесь… — Он опять смотрит на нее; опять его взгляд внимателен, пристален. — Где он, Байрон?

Она смотрит на него. Немного погодя тихо отвечает:

— Не знаю. — Она смотрит на него; внезапно лицо ее становится пустым, словно его покидает что-то, придававшее ему физическую определенность, твердость. В нем нет и тени притворства, настороженности или опаски. — Он приходил сегодня утром, часов в десять. Не вошел. Подошел к двери, стоит и смотрит на меня. Я ведь его не видела с прошлой ночи, а он мальчика не видел, и я ему говорю: «Зайдите, посмотрите на него» — а он поглядел на меня и говорит, все оттуда же, из-за двери: «Я пришел узнать, когда вы хотите с ним увидеться», я говорю: «С кем?» — а он говорит: «Им, наверно, при-

дется послать с ним помощника шерифа, но я сумею уговорить Кеннеди, чтобы он его отпустил», я говорю: «Кого?» — он говорит: «Лукаса Берча», я говорю: «Да» — а он говорит: «Сегодня вечером? Вас устроит?» — и я сказала: «Да», и он ушел. Постоял там, а потом ушел. — Она плачет, и Хайтауэр смотрит на нее с тем отчаянием, которое охватывает мужчину при виде женских слез. Она сидит выпрямившись, держа ребенка у груди, и плачет — не громко и не горько, но с терпеливым и безнадежным смирением, не пряча лица. — А вы меня пытаете, сказала ли я «нет», а я уже сказала «нет», а вы все пытаете, а он уже ушел. И я его больше не увижу.

Он продолжает сидеть, и она наконец опускает голову; тогда он поднимается и, положив руку на ее склоненную голову, думает *Слава Богу, Боже, помоги мне. Слава Богу, Боже, помоги*

В лесу он набрел на тропинку к фабрике, которую протоптал Кристмас. Он не знал, что она существует, и теперь, поняв, куда она ведет, в ликовании своем воспринимает это как добрый знак. Он верит Лине, но хочет получить подтверждение ее словам — просто ради удовольствия еще раз это услышать. Когда он приходит на фабрику, времени только четыре часа. Он наводит

справки в конторе.

— Банч? — переспрашивает счетовод. — Вы его здесь не найдете. Он сегодня утром уволился.

— Знаю, знаю, — говорит Хайтауэр.

— Семь лет работал, даже субботними вечерами, а сегодня утром пришел и сказал, что увольняется. Никаких объяснений. Вечно с ними так, с этими деревенскими.

— Да, да, — подхватывает Хайтауэр. — Однако они славные люди. И мужчины славные, и женщины. — Он выходит из конторы. Дорога в город ведет мимо строгального цеха, где работал Байрон. Он знаком с мастером Муни. Остановившись рядом с ним, он говорит: — Я слышал, Байрон Банч у вас больше не работает?

— Да, — отвечает Муни. — Уволился нынче утром. — Но Хайтауэр не слушает; люди в комбинезонах наблюдают за потрепанным, странно сложенным, малознакомым господином, который разглядывает с восторженным любопытством стены, доски, загадочные механизмы, чье устройство и назначение он не способен понять и даже заучить. — Если он вам нужен, — продолжает Муни, — я думаю, вы найдете его в городе, в суде.

— В суде?

— Да. Сегодня заседает большой суд присяжных. Срочно созван. Чтобы вынести обвинение убийце.

— Да, да, — говорит Хайтауэр. — Значит, его нет. Так. Славный молодой человек. Всего хорошего, всего хорошего, джентльмены. Всего вам хорошего. — Он идет дальше, и люди в комбинезонах смотрят ему вслед. Руки он сцепил за спиной. Он шагает, спокойно и грустно размышляя: «Бедняга. Бедный малый. Нет и не может быть оправдания человеку, отнимающему у другого жизнь, и меньше всего — должностному лицу, доверенному слуге своих сограждан. И если на это всенародно уполномочивают слугу закона, который знает, что его жертва — называйте эту жертву как угодно — ему зла не причиняла, чего же ждать тогда от обыкновенного человека, который убежден, что его жертва причинила ему зло». Он идет уже по своей улице. Вскоре показывается забор, вывеска; затем среди густой августовской листвы — дом. «Итак, он отбыл, не зайдя ко мне попрощаться. После всего, что он для меня сделал. Принес мне. Да: дал, вернул мне. Можно подумать, что и это было припасено для меня. Но теперь уж, наверно, — все».

Но это — не все. Для него припасено кое-

что еще.

18

Когда Байрон пришел в город, выяснилось, что он не сможет увидеться с шерифом до полудня — шериф все утро будет на заседании суда. «Вам придется подождать», — сказали ему.

— Хорошо, — сказал Байрон. — Я умею.

— Что умеете? — Но он не ответил. Выйдя от шерифа, он встал под портиком, обращенным к южной стороне площади. Над узкой, вымощенной плитами галереей поднимались к сводам каменные колонны со следами многих непогод и жующих табак поколений. Под ними, размеренно и неутомимо, с бесцельной сосредоточенностью, напоминая монахов на монастырском дворе, прохаживались (а среди них стояли неподвижно или что-то цедили друг другу сквозь зубы сравнительно молодые мужчины, горожане — частью знакомые Байрону конторщики, адвокаты и даже торговцы, вдруг сделавшиеся похожими благодаря одинаковому выражению властности в облике, как у полицейских в штатском, которых не очень заботит, высовывается из-под штатского полицейский или нет) деревен-

ские в комбинезонах и, тихо беседуя между собой о деньгах и урожае, тихо поглядывали наверх, где суд присяжных при закрытых дверях готовился отнять жизнь у человека, которого мало кто из них видел и знал в лицо, — за то, что он отнял жизнь у женщины, которую еще того меньше знали и видели. На площади выстроились повозки и запыленные машины, привезшие их в город, а по улицам и магазинам бродили стайками приехавшие с ними жены и дочери — медленно и тоже бесцельно, как скот или облака. Байрон стоял там довольно долго, не шевелясь, ни к чему не прислоняясь, и хотя он прожил в городе семь лет, имя и лицо этого щуплого человека были знакомы деревенским еще меньше, чем имя и лицо убийцы или убитой.

Но Байрон об этом не думал. Теперь ему было все равно, хотя какую-нибудь неделю назад он чувствовал бы себя по-другому. Тогда он не стоял бы здесь, где всякий может увидеть его и, чего доброго, узнать *Байрон Банч — пожал, чего не сеял, хлопотал о чужой девке, пока ее милый добывал тысячу долларов. И ничего за это не получил. Байрон Банч — охранял ее доброе имя, когда она выкинула это доброе имя на помойку, помогал родить пригульного ребенка в тишине и покое,*

взял на себя все расходы, и за это ему позволили послушать детский крик. Не получил ничего, кроме разрешения привести к ней обратно другого мужчину, когда он выколотит свою тысячу, и Байрон станет не нужен. Байрон Банч «Теперь я могу уехать», — подумал он. Он начал глубоко дышать. Он чувствовал, что дышит глубоко, словно каждый раз тело пугалось, что при следующем вдохе оно недоберет воздуха, и случится что-то ужасное, и что в любой миг он может взглянуть на свою грудь — дышит ли — и не увидит никакого движения, как в динамитном патроне, когда он только начинает, напрягается для вот Вот ВОТ, а форма, наружность палочки не меняется; что прохожие, глядя на него, не замечают перемены: щуплый человек, на котором не задержишь взгляда, а взглянув, никогда не поверишь, что он мог сделать столько, сколько сделал, и чувствовать столько, сколько чувствовал; который верил, что там, на фабрике, в субботу после отбоя, когда он один, у него не будет случая причинить себе горе.

Он шел среди людей. «Мне надо куда-то уехать», — думал он. Он мог шагать в такт: «Мне надо куда-то уехать». Это поможет ему идти. Он все еще повторял эти слова, когда подошел

к пансиону. Его комната выходила на улицу. Еще не осознав, что он смотрит в ту сторону, он уже отвел взгляд. «Еще увижу, как кто-нибудь читает или курит в окне», — подумал он. Он вошел в коридор. После солнечного утра глаза ничего не видели. Он чувствовал запах влажного линолеума, мыла. «Все еще понедельник, — подумал он. — Я уж и забыл. Может, это — следующий понедельник. По всему похоже, что так». Он не дал знать о себе голосом. Глаза понемногу привыкли к темноте. Послышались шлепки швабры, то ли в конце коридора, то ли на кухне. Затем в прямоугольнике света — задней двери, тоже открытой, — показалась наклоненная голова миссис Бирд, а затем, силуэтом, вся фигура, двигавшаяся по направлению к нему.

— Так, — сказала она, — это мистер Байрон Банч. Мистер Байрон Банч.

— Я, — сказал он, думая: «Только толстая женщина, у которой забот в жизни разве что на это ведро наберется, не постарается быть…» Опять он не смог придумать слово, которое Хайтауэр наверняка бы знал и произнес не задумавшись. «Видно, я без него не только сделать ничего не могу — я и думать не могу без его помощи». — Я… — сказал он. И стоял там, не в силах даже

объяснить, что пришел попрощаться. «Может, и нет, — размышлял он. — Когда человек прожил в комнате семь лет, его не выселяют в один день. Только вряд ли это помешает ей сдать комнату другому». — Я, кажется, задолжал вам за комнату, — сказал он.

Она смотрела на него: строгое, располагающее лицо, и нельзя сказать, что недоброжелательное.

— За что задолжали? — удивилась она. — Я думала, вы устроились. Переселились на лето в палатку. — Она смотрела на него. И тут наконец сказала. Она сделала это мягко и деликатно — в меру возможности: — Мне уже заплатили за эту комнату.

— А-а, — сказал он. — Ну да. Понятно. Ну да. — Он спокойно взглянул на чистую, застланную линолеумом лестницу, истертую в числе прочих и его ногами. Три года назад, когда настелили новый линолеум, он первым из жильцов поднялся по ней наверх. — Да, — сказал он. — Тогда мне, пожалуй, надо…

Она ответила и на это, сразу, без недоброжелательства:

— Я уже все сделала. Все, что вы оставили, собрала в ваш саквояж. Он у меня в комнате. Но если хотите, можете сами подняться и по-

смотреть.

— Нет. Я думаю, вы собрали все до… Ну, я, пожалуй…

Она наблюдала за ним.

— Эх вы, мужчины, — сказала она. — Неудивительно, что у женщин не хватает на вас терпения. Даже в шалопутстве меры не знаете. А мера-то, по правде сказать, — наперсток. И думаю, не приспособь вы какую-нибудь женщину себе на подмогу, вас бы всех до единого мальцами десятилетними уволокли бы в рай.

— По-моему, у вас нет причин говорить про нее плохо, — возразил он.

— Пусть так. А на что они? Женщине, чтобы другую бранить, причин не требуется. Спору нет, все эти разговоры по большей части идут от женщин. Но если бы соображения у вас было не как у мужчины, а побольше, вы бы знали: если женщина что и говорит, у ней это ничего не значит. Это мужчины принимают свои разговоры всерьез. И если кто имеет что-нибудь против нее и вас, то вовсе не женщины. Ведь всякой женщине понятно, что нет у ней причин плохо к вам относиться — даже если забыть про ребенка. И не только к вам — пока что к любому другому мужчине. Не с чего ей. Разве вы со священником,

да и все остальные мужчины, которые про нее знают, не сделали для нее все, чего она только пожелать могла? С чего бы ей плохо относиться? Скажите на милость.

— Да, — промолвил Байрон. Он уже не смотрел на нее. — Я пришел…

Она ответила и на это, прежде чем он договорил:

— Вы, наверно, скоро от нас уедете. — Она наблюдала за его лицом. — Что они там надумали, нынче утром в суде?

— Не знаю. Они еще не кончили.

— Известное дело. Потратят времени, трудов и денег казенных прорву, чтобы разобраться там, где нам, женщинам, хватило бы десяти минут в субботний вечер. Надо же быть таким дураком. Конечно, в Джефферсоне по нем скучать не будут. Как-нибудь без него проживем. Но надо же быть таким дураком: подумать, будто мужчине от убийства женщины больше проку, чем женщине от убийства мужчины… Другого, наверно, теперь отпустят.

— Да. Наверно.

— А ведь сначала думали, что он ему помогал. И теперь отдадут ему тысячу долларов — показать, что, мол, зла на тебя не держим. А тогда они

смогут пожениться. Ведь так примерно, нет?

— Так. — Он чувствовал, что она наблюдает за ним без недоброжелательства.

— Вот я и думаю, что скоро вы от нас уедете. Думаю, как бы сказать, сыты вы Джефферсоном, а?

— Да вроде того. Думаю подаваться…

— Джефферсон, конечно, городок хороший. Но не такой хороший, чтобы вольный человек вроде вас не нашел себе другого, где тоже можно время переводить на баловство и огорчения… А саквояж, если надо, можете оставить здесь, пока не соберетесь.

Он подождал до полудня, а потом еще немного. Подождал, пока шериф, по его представлениям, не закончил обед. И тогда пошел к шерифу домой. Он не стал входить. Он ждал у дверей, пока шериф не вышел — толстый человек с маленькими мудрыми глазками, упрятанными в толстое неподвижное лицо, как две чешуйки слюды. Они пошли рядышком, в тень, под дерево. Скамейки не было; на корточки, вопреки обыкновению (оба выросли в деревне), они тоже не сели. Шериф спокойно выслушал человека — спокойного, невысокого человека, который семь лет был для города не особенно интересной загадкой, и семь дней — чуть ли не бельмом на глазу.

— Понятно, — сказал шериф. — Вы считаете, что им пора пожениться.

— Не знаю. Это его дело и ее. Но думаю, надо бы ему пойти ее проведать. По-моему — самое время. Вы можете послать с ним помощника. Я ей сказал, что он вечером придет. А что они там решат — это дело его и ее. Не мое.

— Само собой, — сказал шериф. — Не ваше. — Он смотрел на Байрона сбоку. — А вы-то что собираетесь делать, Байрон?

— Не знаю. — Он тихонько возил ногой по земле и наблюдал за ней. — Думаю податься в Мемфис. Года два об этом подумываю. Может, уеду. А чего в этих маленьких городишках?

— Конечно. Мемфис город неплохой, если любишь городскую жизнь. Опять же семья на вас не висит, тащить за собой некого. Будь я одинокий да лет на десять помоложе, я бы, наверно, так же сделал. Да и устроился бы, глядишь, получше. Надо понимать, вы прямо сейчас собираетесь?

— Наверно, скоро. — Он поднял голову, потом снова опустил. Сказал: — Утром уволился с фабрики.

— Само собой, — сказал шериф. — Я догадываюсь, что вы не успели бы пройти такой конец

с двенадцати, а к часу вернуться обратно. Ну, кажется... — Он замолчал. Он знал, что к вечеру присяжные вынесут Кристмасу обвинительный приговор, а Брауна — или Берча — отпустят на все четыре стороны, с условием явиться в будущем месяце на суд в качестве свидетеля. Хотя, на худой конец, обойдутся и без него, ибо Кристмас не отпирался, и шериф предполагал, что он признает себя виновным, чтобы остаться в живых. «Да и не вредно будет нагнать на сукина сына страху хоть раз в жизни», — подумал он. И продолжал: — Ну что ж, это можно устроить. Вы правы, я, конечно, пошлю с ним помощника. Хотя он и не сбежит, пока есть надежда сорвать часть премии. При том что он не знает, кто его там встретит. Он этого еще не знает.

— Да, — подтвердил Байрон. — Не знает. Не знает, что она в Джефферсоне.

— Ну что ж, так и сделаем — отправим его с помощником. Зачем — не скажем: отправим, и все. А может, сами хотите его проводить?

— Нет, — сказал Байрон. — Нет. Нет. — Но продолжал стоять.

— Так и сделаем. Вас уже, наверно, к тому времени не будет. С помощником его и наладим. В четыре, годится?

— Очень хорошо. Вы ей сделаете одолжение. Большое одолжение.

— А как же. Не я один — многие о ней заботились с тех пор, как она в Джефферсоне. Ну, я с вами не прощаюсь. Думаю, в Джефферсоне вас еще увидим. Не встречал я человека, чтобы пожил здесь, а потом уехал навсегда. Вот разве этот, который в тюрьме. Но он, думаю, признает себя виновным. Чтобы остаться в живых. Хотя все равно уедет из Джефферсона. Не сладко сейчас старухе, которая признала в нем внука. Когда я шел домой, старик ее был в городе, кричал и скандалил, людей обзывал трусами за то, что не вытащат его из тюрьмы на расправу. — Он начал пофыркивать. — Лучше бы поостерегся, не то доберется до него Перси Гримм со своим войском. — И сразу посерьезнел. — А ей несладко. Вообще женщинам. — Он посмотрел на Байрона сбоку. — Нам тут многим пришлось несладко. А все же возвращайтесь-ка вы поскорее. Может быть, в другой раз Джефферсон обойдется с вами поласковее.

В четыре часа того же дня, спрятавшись в укромном месте, он видит, как неподалеку останавливается машина и помощник шерифа с человеком, известным под фамилией Браун,

выходят из нее и направляются к хибарке. Браун сейчас без наручников, и Байрон видит, как они подходят к двери и помощник вталкивает Брауна в дом. Потом дверь за Брауном закрывается, а помощник садится на ступеньку и достает из кармана кисет. Байрон поднимается на ноги. «Теперь можно ехать, — думает он. — Теперь можно». Прятался он в кустах на лужайке, где прежде стоял дом. За кустарником, невидимый ни из хибарки, ни с дороги, привязан мул. К вытертому седлу приторочен сзади потрепанный желтый чемодан, не кожаный. Байрон садится на мула и выезжает на дорогу. Он не оглядывается назад.

В мирном, клонящемся заполудне тянется вверх по холму мягкая рыжая дорога. «Ну, холм я выдержу, — думает он. — Холм я могу выдержать, человек может». Кругом покой и тишина, обжитое за семь лет. «Похоже, что человек может выдержать почти все. Выдержать даже то, чего он не сделал. Выдержать даже мысль, что есть такое, чего он не в силах выдержать. Выдержать даже то, что ему впору упасть и заплакать, а он себе этого не позволяет. Выдержать — не оглянуться, даже когда знает, что оглядывайся не оглядывайся, проку все равно не будет».

Склон все подымается; гребень. Байрон ни-

когда не видел моря и поэтому думает: «Край, а за ним — как будто ничего. Как будто перевалишь через него — и дальше поедешь никуда. Где деревья выглядят и зовутся не деревьями, а чем-то другим, и люди выглядят и зовутся не людьми, а чем-то другим. А Байрону Банчу, ему там тоже не надо быть или не быть Байроном Банчем. Байрон Банч со своим мулом не будут ничем, когда понесутся вниз, а потом раскалятся, как преподобный Хайтауэр говорил про камни, что носятся в пространстве и, раскалясь от быстроты, сгорают, и даже пепел ихний не долетает до земли».

Но за гребнем холма вырастает то, чему и полагается там быть: деревья как деревья, страшная и утомительная даль, сквозь которую, гонимый кровью, он должен влачиться во веки веков от одного неизбежного горизонта земли до другого. Исподволь вырастают они, не грозно, не зловеще. То-то и оно. Им нет до него дела. «Не знают и знать не хотят, — думает он. — Как будто говорят: *Ну хорошо. Ты говоришь, страдаешь. Хорошо. Но, во-первых, почему тебе верить на слово? А во-вторых, ты только говоришь, что ты Байрон Банч. И, в-третьих, ты просто тот, кто называет себя Байроном Банчем сегодня,*

сейчас, сию минуту... Раз так, — думает он, — чего ради я лишу себя удовольствия оглянуться и не выдержать этого?» Он останавливает мула и поворачивается в седле.

Он не предполагал, что отъехал так далеко и что гребень — на такой вышине. Мелкой чашей, простершись до другой гряды холмов, где раскинулся Джефферсон, лежат под ним некогда обширные владения того, что семьдесят лет назад называлось плантаторским домом. Но теперь плантация раздроблена бестолочью негритянских лачуг, лоскутами огородов и пустырями, изъязвленными эрозией и заросшими дубняком, лавром, хурмой и шиповником. А точно посередке все еще стоит дубовая роща, как стояла, когда строили дом, только дома теперь там нет. Отсюда не видно даже шрамов пожарища; и ни за что бы не угадать, где был дом, если бы не дубы, да не развалина-конюшня, да не хибарка позади, к которой устремлен его взгляд. Четко, покойно стоит она под послеполуденным солнцем, похожая на игрушку; как игрушечный, сидит на приступке помощник шерифа. Байрон смотрит, и вдруг, как по волшебству, из-за хибарки появляется мужчина, уже бегущий, выбегающий из задней части хибарки — а помощник

шерифа, ни о чем не подозревая, спокойно сидит перед дверью. Первое мгновение Байрон тоже сидит неподвижно, полуобернувшись в седле, и смотрит, как крохотная фигурка улепетывает по голому склону за хибаркой, к лесу.

И тут его как будто обдает холодным крепким ветром. Ветер свиреп и вместе с тем кроток; как мякину, сор или сухие листья, срывает и уносит он всю страсть и все отчаяние, безнадежность и горькую напрасную игру воображения. И кажется, тот же порыв отшвыривает назад его самого, опять порожнего, — отвеяв от всего, чего в нем не было две недели назад, когда он с ней еще не встретился. Желание этой минуты — больше чем просто желание: это убеждение, спокойное и твердое; еще не успев осознать, что мозг протелеграфировал руке, он свернул с дороги и скачет по гребню, который параллелен пути беглеца, уже скрывшегося в лесу. Он даже не назвал про себя имя этого человека. Он ни на секунду не задумался о том, куда человек бежит и почему. Ему не приходит в голову, что Браун опять удирает, как он сам предсказывал. Если бы он задумался, то решил бы, наверно, что Браун занят — на свой странный манер — каким-то совершенно законным делом,

касающимся его и Лины отъезда. Но он совсем об этом не думал; он совсем не думал о Лине; не вспомнил о ней ни на миг, будто отроду не видел ее лица и не слышал имени. Он думает: «Я заботился о его женщине, я помог ей родить его ребенка. И теперь могу сделать для него еще одно дело. Я не могу их поженить, потому что я не священник. И, наверно, не смогу его догнать, потому что он далеко оторвался. И отлупить его, наверно, не смогу, потому что он больше меня. Но могу попытаться. Попытаться я могу».

Когда помощник шерифа зашел за ним в тюрьму, Браун сразу спросил, куда его поведут. В гости, ответил помощник. Браун замер, обернув к нему миловидное, притворно смелое лицо.

— Не к кому мне в гости ходить. Я тут чужой.

— Ты везде будешь чужой, — сказал помощник. — Даже дома. Пошли.

— Я американский гражданин, — возразил Браун. — У меня тоже есть права, хоть и не ношу жестяной звезды на помочах.

— Ну да, — сказал помощник шерифа. — А чем, по-твоему, я сейчас занимаюсь? Помогаю тебе вступить в свои права.

Браун просиял:

— Они что… Они хотят заплатить…

— Премию? Ну да. Я тебя сам сейчас сведу в то место, где ты получишь свою премию, если не раздумал.

Это охладило Брауна. Но он пошел, хотя и приглядывался к помощнику шерифа подозрительно.

— Что это вы всё с вывертом делаете-то? — сказал он. — В тюрьме меня держите, пока эти гады стараются меня обскакать.

— Не вылупилось, думаю, еще такого гада, чтобы в чем-нибудь тебя обскакал, — ответил помощник. — Пошли. Нас там ждут.

Они вышли из тюрьмы. На солнце Браун заморгал, озираясь по сторонам, потом дернул головой, по-лошадиному кося через плечо. У обочины ждала машина. Браун посмотрел на нее, а потом на помощника, очень серьезно, очень недоверчиво.

— Куда это мы едем? — спросил он. — С утра вроде мне и пешком недалеко было идти до суда.

— Уатт дал машину, чтобы легче было премию везти обратно, — пояснил помощник. — Залезай.

Браун хрюкнул.

— Чего это он вдруг захлопотал насчет моих удобств? И в машине пожалуйте, и без наручников. И один несчастный охранник, чтобы я

не сбежал.

— Я тебе бежать не мешаю, — ответил помощник шерифа. Он замер на миг, еще не тронув машину с места. — Прямо сейчас хочешь?

Браун уставился на него угрюмо, озлобленно, оскорбленно, подозрительно.

— Ясно, — сказал он. — На арапа берет. Я, значит, сбегу, а он тогда сам хапнет тысячу долларов. Сколько из них он тебе обещал?

— Мне? Мы с тобой получим поровну, тютелька в тютельку.

Еще секунду Браун враждебно таращился на помощника. Потом выругался, бессильно и зло, неизвестно в чей адрес.

— Давай, что ли, — сказал он. — Ехать так ехать.

Они поехали на место пожара и убийства. То и дело, почти через равные промежутки, Браун дергал головой — как неоседланный мул, бегущий по узкой дороге от автомобиля.

— Мы зачем сюда едем?

— За твоей премией, — отвечал помощник шерифа.

— Где же я ее получу?

— Вон в той хибарке. Там она дожидается.

Браун окинул взглядом черные угли, некогда

бывшие домом, хибарку, где он прожил четыре месяца, потрепанную непогодами, беспризорно дремлющую на солнце. Лицо у него было хмурое и настороженное.

— Что-то тут нечисто. Этот Кеннеди… думает, нацепил жестяную бляху, так можно плевать на мои права…

— Шагай, — сказал помощник шерифа. — А не понравится тебе премия, так я тебя жду, отвезу обратно в тюрьму, когда пожелаешь. Когда пожелаешь, в любую минуту. — Он подтолкнул Брауна вперед, распахнул дверь хибарки, втолкнул его внутрь, закрыл за ним дверь и сел на ступеньку.

Браун услышал, как за ним захлопнулась дверь. Он еще двигался вперед по инерции. И вдруг, не успев окинуть комнату быстрым, лихорадочным, всеохватывающим взглядом, которому словно не терпелось обшарить все углы, он стал как вкопанный. Лине было видно с койки, что белый шрамик возле рта бесследно исчез, словно прихлынувшая кровь сдернула шрам с лица, как белье с веревки. Она не проронила ни звука. Она лежала высоко на подушках, глядя на него трезвым взглядом, в котором не было ничего — ни радости, ни удивления, ни укора,

ни любви, между тем как на его лице, словно издеваясь над предательским белым шрамиком, сменяли друг друга ошарашенность, возмущение и, наконец, форменный ужас, а загнанные глаза шныряли по пустой комнате. Ей было видно, как он усилием воли осадил их, словно пару напуганных лошадей, и стал заворачивать, чтобы они встретились с ее глазами.

— Так, так, — сказал он. — Так, так, так. Ты смотри — Лина. — Она видела, как он старается выдержать ее взгляд, удерживает свои глаза, словно лошадей, — понимая, что если они опять понесут, то он пропал, второй раз он их не повернет, не остановит. Она почти видела, как его ум кидается туда и сюда, загнанно, в ужасе, ища, что бы сказать языку, голосу. — Ей-богу — Лина. Да, брат. Значит, ты получила мое письмо. Я, как приехал, сразу тебе послал, в прошлом месяце, как устроился, — думал, потерялось… Этот малый, не знаю, как его звать, он сказал, что возьмет… С виду был ненадежный, да пришлось понадеяться, а потом подумал, когда дал ему десять долларов тебе на дорогу… — Его голос замер, только в глазах не унималось отчаяние. И она по-прежнему видела, как мечется, мечется его ум, и без жалости, без всякого чувства наблюдала за ним серьез-

ным, немигающим, невыносимым взглядом, наблюдала, как он тычется, шарахается, юлит, покуда наконец остатки гордости — плачевные остатки гордости, усохшей до желания оправдаться, — не покинули его, лишив последнего прикрытия. И тогда она заговорила. Голос ее был тих, спокоен, холоден.

— Поди сюда, — сказала она. — Поди. Я ему не дам укусить тебя.

Он наконец сдвинулся с места, но — на цыпочках. Она заметила это, хотя уже не следила за ним. Она это знала, так же как знала, что сейчас он неуклюже и боязливо, с почтительной робостью подошел к ней и спящему ребенку. Но знала, что робеет он не перед ребенком и не из-за него. Она знала, что в этом смысле он ребенка даже не заметил. И все еще видела, чувствовала, как мечется, мечется его ум. *Будет притворяться, что ему не страшно* думала она *У него хватит совести соврать, что он не боится, все равно как раньше хватило совести бояться из-за того, что врал*

— Так, так, — сказал он. — Ну ты смотри, в самом деле, ребенок.

— Да, — отозвалась она. — Может, сядешь? — Стул, который придвинул Хайтауэр, все еще стоял

возле койки. Браун давно его заметил. *Для меня приготовила* подумал он. И снова выругался, беззвучно, затравленно, с яростью *Ух, гады. Ух, гады* Но на лице его, когда он сел, ничего не отражалось.

— Да, брат. Вот мы и опять. Прямо как я задумал. Я бы все уже для тебя приготовил, да вот замотался с делами. Ой, забыл совсем… — Он опять судорожно, по-лошадиному, покосился через плечо. Лина на него не смотрела. Она сказала:

— Тут есть священник. Он меня уже навещал.

— Замечательно, — проговорил он. Голос был громкий, сердечный. Но сердечность казалась такой же недолговечной, как тембр, — прекращалась вместе со звуком слов, не оставляя после себя ничего, даже ясно выраженной мысли, чтобы услышать или принять на веру. — Просто замечательно. Вот только развяжусь с этими делами… — Глядя на нее, он произвел рукой неопределенное обнимающее движение. Лицо у него было пустое и бессмысленное. Глаза смотрели вкрадчиво, настороженно, скрытно, а в глубине их таилось все то же отчаяние загнанного животного. Но она на него не глядела.

— Ты на какой теперь работе? На строгальной фабрике?

Он следил за ней.

— Нет. Уволился оттуда. — Его глаза следили за ней. Казалось, глаза — не его и не имеют отношения ни к нему самому, ни к тому, что он делает и говорит. — Батрачить по десять часов в день, как паршивому нигеру? У меня тут наклюнулось дельце поденежней. Не то что это крохоборство — по пятнадцать центов в час. А как закончу, развяжусь там кой с какими мелочами, так мы с тобой сразу и... — Его глаза скрытно, напряженно, пристально наблюдали сбоку за ее опущенным лицом. Она опять услышала слабый резкий звучок, когда он дернул головой. — Ой, забыл совсем...

Она не пошевелилась. Сказала:

— Когда это будет, Лукас? — и услышала, ощутила мертвую тишину, мертвую неподвижность.

— Что когда?

— Сам знаешь. Про что ты говорил. Там, дома. Если бы я одна, все было бы ничего. Я никогда не обижалась. Но теперь другое дело. Теперь я имею право волноваться.

— А-а, это, — сказал он. — Это-то. Это ты не волнуйся. Дай мне только кончить дело, до денег добраться. Они мои законно. Пусть только эти гады попробуют... — Он осекся. Он уже повысил голос,

словно забыл, где находится, или размышлял вслух. Теперь заговорил тише: — Ты не думай — я все сделаю. Главное, не волнуйся. Я ведь тебя еще ни разу не заставил волноваться, так ведь? Скажи.

— Да. Я никогда не волновалась. Я знала, что ты меня не подведешь.

— Конечно, знала. А эти гады… эти… — Он поднялся со стула. — Ой, забыл совсем… — Она не посмотрела на него и ничего не сказала, но он продолжал стоять, глядя на нее все тем же загнанным, отчаянным и наглым взглядом. Она как будто удерживала его тут и как будто знала это. И — отпустила его, сознательно, добровольно.

— Так у тебя, наверно, сейчас делов много.

— Честно говоря, да. Столько всякого навалилось, и еще эти гады… — Теперь она смотрела на него. Видела, как он поглядел на окно в задней стене. Потом он оглянулся на закрытую дверь. Потом поглядел на нее, на серьезное ее лицо, в котором либо ничего не отражалось, либо, наоборот, отражалось все — все, что можно знать. Он понизил голос: — У меня тут враги. Эти люди не хотят мне отдать, чего я заработал. Вот мне и надо… — И опять она точно удерживала его,

толкая его и испытывая на ту последнюю ложь, против которой восставали даже его плачевные остатки гордости; удерживала не веревкой, не рогаткой, но чем-то таким, от чего его ложь отлетала легковесно, как сор или листья. Но она не сказала ни слова. Только наблюдала, как он идет на цыпочках к окну и бесшумно открывает его. Потом он оглянулся. Возможно, он считал, что теперь он в безопасности, что сумеет выскочить в окно раньше, чем она дотронется до него рукой. А может быть, заговорили жалкие остатки стыда, как раньше — гордости. Потому что, когда он оглянулся на нее, с него как будто спала на миг защитная шелуха вранья и пустословия. Он произнес почти шепотом: — Там на дворе человек. За дверью караулит. — И вылез в окно, без звука, в один прием, как длинная змея. Из-за окна донесся короткий слабый звук — это он бросился бежать. И только тут она вышла из неподвижности — вздохнула тяжело, один раз.

— Теперь мне опять подыматься, — сказала она вслух.

Браун выходит из лесу к железнодорожной полосе отчуждения запыхавшись. Но — не от усталости, хотя за двадцать минут он покрыл почти две мили, и дорога была не легкой. Это скорее

злобное пыхтение спасающегося бегством зверя, а сейчас, когда он стоит перед пустынным полотном, поглядывая то налево, то направо, он и лицом напоминает зверя, который спасается в одиночку, особняком от собратьев, не желая их помощи, надеясь только на свои мускулы, и, остановившись на миг, чтобы перевести дух, ненавидит каждое дерево, каждую попавшуюся на глаза былинку, как заядлого врага, ненавидит самое землю, на которой стоит, сам воздух, которого ему не хватает.

Он вышел на железную дорогу в нескольких сотнях метров от того места, куда метил. Это — вершина подъема, и товарные составы с юга вползают сюда с неимоверным трудом, чуть ли не медленнее пешехода. Невдалеке от него двойная блестящая нить колеи будто обрезана ножницами.

Он стоит в лесу перед полосой отчуждения, спрятавшись за редкой изгородью деревьев. Стоит с видом человека, занятого лихорадочными и безнадежными расчетами, словно обдумывая последний отчаянный ход в уже проигранной игре. Стоит еще немного, будто прислушиваясь, потом поворачивается и снова бежит, лесом, вдоль полотна. Кажется, он точно знает, куда

ему нужно; вскоре ему попадается тропинка, он сворачивает на нее, по-прежнему бегом, и наконец выскакивает на прогалину, где стоит негритянская лачуга. Он подходит к ней спереди, уже шагом. На крыльце сидит и курит трубку старуха негритянка, голова ее обмотана белой тряпкой. Браун не бежит, но дышит тяжело, часто. Стараясь умерить дыхание, обращается к ней.

— Здорово, бабуся, — говорит он. — Кто тут есть живой?

Старуха вынимает трубку.

— Я есть. А вам кого надобно?

— Записку в город послать. По-быстрому. — Он задерживает дыхание, пока говорит. — Я заплачу. Есть тут кому сбегать?

— Самим-то верней, коли такая спешка.

— Сказано тебе, заплачу! — повторяет он с каким-то терпеливым остервенением, сдерживая дыхание и голос. — Доллар, если живо отнесет. Есть тут, кто хочет заработать доллар? Ребята есть?

Старуха курит, глядя на него. Глаза на древнем, черном, непроницаемом лице созерцают его с отрешенностью небожителя, но отнюдь не милостиво.

— Доллар, стало быть?

Он отвечает неописуемым жестом — нетерпения, сдержанной ярости и чего-то, похожего на безнадежность. Он уже готов уйти, но его останавливает голос негритянки:

— Никого тут нет, я одна и ребятишек двое. Да они небось малы для вас.

Браун оборачивается:

— Чего малы? Всего-то нужно, чтобы по-быстрому записку отнесли к шерифу и…

— К шерифу? Это вы не туда попали. Чтобы они по шерифам болтались — не допущу. Мой-то нигер до того с шерифом подружился, что погостить у него вздумал. Да так домой и не вернулся. Вам бы еще где поискать.

Но Браун уже уходит. Пока что не бежит. Бежать еще не надумал; сейчас он вообще не способен думать. Бессильная ярость в нем граничит с экстазом. Он будто зачарован дивной, сверхъестественной какой-то безотказностью нечаянных своих провалов. И само то, что он так исправно обеспечен ими, как бы даже возвышает его над ничтожными человеческими желаниями и надеждами, которые ими упраздняются и сводятся на нет. Поэтому негритянке приходится крикнуть дважды, прежде чем он услышит

и обернется. Она не сказала ни слова, не пошевелилась: просто окликнула его. Она говорит:

— Вот этот вам отнесет.

Возле крыльца, точно из-под земли выросши, стоит негр — то ли взрослый дурачок, то ли долговязый переросток. Лицо у него черное, застывшее и тоже непроницаемое. Они стоят и глядят друг на друга. Вернее, Браун глядит на негра. Глядит ли негр на него, ему не понять. И это тоже славно и логично и как нельзя кстати: что его последняя надежда и спаситель — скотина, у которой едва ли достанет умственных способностей найти город, не то что нужного человека. Снова Браун делает рукой неописуемый жест. Он рысью бежит назад, к крыльцу, хватаясь за карман рубашки.

— Отнеси записку в город и притащи ответ, — говорит он. — Сумеешь? — Но не ждет, что тот скажет. Вытащив из кармана замусоленную бумажку и огрызок карандаша, он нагибается над краем крыльца и на глазах у старухи старательно и торопливо выводит:

Вату Кенеди
Пожал 100 дайте тому кто ето принисет маи Деньги про песью 1000 за прступ-

ника Крсмса токо завирните в бумагу остаюс ваш

Он не подписывается. Он хватает записку с крыльца и пожирает ее взглядом, а старуха все смотрит на него. Он пожирает взглядом безобидную грязненькую бумажку и усердные торопливые каракули, в которые ухитрился вложить всю свою душу, а также жизнь. Потом он пришлепывает ее к крыльцу и выводит *не подписываюс сами знаите Кто,* складывает ее и протягивает негру.

— Отдай шерифу. Больше никому. Найдешь его?

— Если шериф его раньше не найдет, — вставляет старуха. — Дайте ему. Сыщет, если тот живой. Бери свой доллар, малый, да ступай.

Негр уже двинулся прочь. Теперь останавливается. Просто стоит, ничего не говоря, ни на кого не глядя. На крыльце сидит негритянка и, покуривая, смотрит сверху на слабое хищное лицо белого: лицо миловидное, как будто даже открытое, но усталостью — уже не просто физической — преображенное в маску затравленной лисы.

— Я думала, вам к спеху, — говорит она.

— Да, — отвечает Браун. Он вынимает из кармана монету. — На. А если за час принесешь мне ответ, получишь еще пять.

— Ступай, нигер, — приказывает старуха. — А то до завтра проканителишься. Вам сюда ответ принести?

Еще мгновение смотрит на нее Браун. Затем осторожность, стыд — все покидает его.

— Нет. Не сюда. Принеси вон на ту горку. Пойдешь по шпалам, я тебе крикну. И буду следить за тобой все время. Учти это. Понял?

— Вы не сомневайтесь, — вмешивается негритянка. — И записку отнесет, и ответ вам принесет, если его не задержат. Ступай.

Негр уходит. Но его задерживают — не далее как в полумиле от дома. Это — еще один белый, он ведет мула.

— Где? — произносит Байрон. — Где ты его видел?

— Только что. Вон там вон, дома. — Белый идет дальше, с мулом. Негр смотрит ему вслед. Записку он белому не показал, потому что белый не просил показать записку. Может быть, белый не знал, что у него есть записка, поэтому и не попросил ее показать; может быть, негр так и думает, потому что на лице его изображается

неимоверная подспудная работа. Затем лицо проясняется. Он кричит. Белый оборачивается, замирает.

— Теперь его там нет, — кричит негр. — Он сказал, буду ждать у путей на горке.

— Благодарю, — говорит белый. Негр идет своей дорогой.

Браун вернулся на линию. Теперь он не бежал. Он говорил себе: «Не сделает он. Не сумеет. Я же знаю, он его не найдет, не получит их, не принесет сюда». Имен он не называл, не произносил про себя. Теперь ему казалось, что все они — и негр, и шериф, и деньги, все — просто фигурки, вроде шахматных, неожиданно и беспричинно передвигаемые туда и сюда Противником, который знает его ходы наперед и произвольно заводит новые правила, причем не для себя, а только для него. Перед концом подъема, когда он свернул с железной дороги и углубился в кусты, отчаянию его уже не было границ. Теперь он шел не спеша, параллельно полотну, строго соблюдая дистанцию, как будто ничего другого в мире, по крайней мере для него, не существовало. Он выбрал место, откуда мог незаметно наблюдать за дорогой, и сел.

«Да знаю ведь, что он не сделает, — думает

он. — Я даже не жду его. Если бы я увидел, что он возвращается с деньгами в руках, я бы все равно не поверил. Он нес бы их не мне. Я бы сам это понял. Я бы знал, что это ошибка. Я бы сказал ему *Ступай себе. Ты ищешь не меня, кого-то другого. Ты ищешь не Лукаса Берча. Нет, брат, Лукас Берч не заслужил этих денег, этой премии. Он ничего ради них не сделал. Ничегошеньки* Он начинает смеяться; сидит неподвижно на корточках, опустив усталое лицо, и смеется. «Так-то, брат. Лукас Берч хотел одного — справедливости. Справедливости, больше ничего. Пусть он сказал этим гадам, кто убийца и где его искать, — они ведь не захотели. Не захотели, потому что пришлось бы отдать Лукасу Берчу деньги. Справедливости». Затем он говорит вслух, хриплым, плачущим голосом:

— Справедливости. Больше ничего. Только своих прав. А эти паразиты с жестяными бляхами… все до одного присягу давали — защищать американских граждан. — Он говорит хрипло, чуть не плача от злобы, отчаяния и усталости: — Гад буду, от этого прямо большевиком можно сделаться.

Поэтому он не слышит ни звука, пока Байрон не произносит у него за спиной:

— Встань на ноги.

Длится это недолго. Байрон знал, что так и будет. Но он не колебался. Он просто крался вверх по склону, пока не увидел сидящего Брауна; тут он остановился, глядя на согнутую, беззащитную сейчас фигуру. «Ты больше меня, — думал Байрон. — Но мне наплевать. У тебя передо мной все преимущества. Но мне и на это наплевать. Ты дважды за девять месяцев выбросил то, чего у меня не было ни разу за тридцать пять лет. А теперь я знаю, что меня измордуют, но мне наплевать и на это».

Длится это недолго. Браун, развернувшись, обращает себе на пользу даже то, что пойман врасплох. Он не способен поверить, что человек, застигнув врага сидящим, позволит ему встать на ноги — даже если враг слабее его. Сам бы он так не сделал. И что слабый поступил так, как не поступил бы он, — это было хуже, чем оскорбление, это была насмешка. И он дрался с еще большим остервенением, чем если бы Байрон напал на него сзади, — бился со слепой и отчаянной храбростью загнанной в угол крысы.

Длилось это меньше двух минут. Потом Байрон тихо лежал в потоптанном и поломанном подлеске, кровь тихо текла по его лицу, и треск в подлеске слышался все дальше, все тише, тонул

в безмолвии. Теперь он один. Он не чувствует особенной боли, но что еще лучше — не чувствует острой нужды куда-то идти или что-то делать. И просто лежит, и кровь сочится потихоньку, и он знает, что немного погодя пора будет вернуться в мир, во время.

Ему неинтересно даже, куда девался Браун. Сейчас ему незачем думать о Брауне. Ум его снова занят неподвижными фигурами, вроде уволенных в отставку игрушек детства, сваленных как попало и тихо пылящихся в забытом чулане, — Браун; Лина Гроув; Хайтауэр; Байрон Банч, — мелкие, никогда не жившие вещицы, которыми он играл в детстве, а потом сломал и забыл. Так он и лежит, когда раздается свисток паровоза у переезда в полумиле от него.

Свисток его пробуждает; вот мир и вот время. Он садится, медленно, неуверенно. «По крайней мере я ничего не сломал, — думает Байрон. — То есть он мне ничего не сломал». Уже пора: уже время, и в нем — движение, расстояние. «Да. Надо двигаться. Надо на новое место — поискать, во что бы еще ввязаться». Поезд приближается. Паровоз задышал отрывистей и натужней, как будто почувствовал подъем; наконец Байрон видит дым. Он ищет в кармане платок.

Платка нет, поэтому он отрывает от рубашки подол и осторожно прикладывает к лицу, прислушиваясь к коротким отрывистым хлопкам отработанного пара за самым гребнем подъема. Он переходит к краю кустарника, откуда видна колея. Паровоз уже показался и движется на него, выбрасывая раздельные тяжелые клубы черного дыма. Он производит впечатление ужасающей неподвижности. И все-таки движется, лезет с ужасающим упорством по склону, вползает на гребень. Стоя на опушке леса, с мальчишеским восторгом (а быть может, и завистью), вынесенным из деревенского детства, он следит за тем, как приближается паровоз, трудится, ползет мимо. Проползает; его глаза следят за ним, провожают по очереди вагоны, достигшие гребня, как вдруг, во второй раз за нынешний день, словно по волшебству, перед ним возникает бегущий человек.

Даже теперь он не понимает, куда нацелился Браун. Он слишком глубоко погрузился в одиночество и покой, чтобы любопытствовать. Он просто стоит и видит, как Браун бежит к поезду, ссутулясь, воровато хватается за железную лестницу в конце вагона, вспрыгивает и исчезает из виду, точно всосанный пустотой. Поезд

набирает скорость; Байрон наблюдает, как приближается вагон, где исчез Браун. Вагон проходит; прицепившись к нему сзади, между ним и следующим вагоном, стоит Браун и, вытянув шею, вглядывается в кустарник. Они видят друг друга одновременно: два лица, одно — кроткое, невзрачное, в крови, и другое — осунувшееся, затравленное, искаженное беззвучным в грохоте поезда криком, расходятся как бы по несмежным орбитам, минуют друг друга, подобно призракам. Байрон все еще не думает. «Господи Боже милостивый, — говорит он с детским восторженным изумлением, — до чего же ловко сиганул на поезд. Сразу видно — не впервой». Он совсем не думает. Как будто движущаяся стена закопченных вагонов — плотина, и за нею — мир, время, надежда невероятная и определенность неоспоримая, ждут, даря ему последние мгновения покоя. Так или иначе, когда проходит последний вагон, уже разогнавшись, мир накатывает на него исполинской волной. Она слишком стремительна и огромна для мерок времени и расстояния; поэтому той же тропой не вернуться, и он долго ведет мула под уздцы, прежде чем вспоминает, что можно влезть на него и поехать. Он как будто давно и намного опередил себя,

давно ждет у хибарки, чтобы догнать себя и войти. *И тогда я стану там и…* Он пробует снова: *тогда я стану там и…* Но дальше продвинуться не может. Он уже опять на дороге, навстречу, из города, едет повозка. Время — около шести. Он все еще не оставляет попыток *Дальше, я чувствую, заколодило, но пускай: когда я открою дверь, и войду, и стану там. И тогда. Я. Посмотрю на нее. Посмотрю на нее. Посмотрю на нее…* Тут голос повторяет:

— …видно, катавасия.

— Что? — спрашивает Байрон. Повозка остановилась. Она, оказывается, около него; мул стоит на месте. Мужчина на сиденье повозки снова говорит глухим обиженным голосом:

— Вот, черт, нескладно. Как раз когда мне домой ехать. И так запоздал.

— Катавасия? — переспрашивает Байрон. — Какая катавасия?

Человек разглядывает его.

— Посмотреть на ваше лицо, так подумаешь, что у вас своя была катавасия.

— Упал, — объясняет Байрон. — А что там в городе за катавасия?

— Я думал, вы слышали. С час примерно назад. Нигер этот, Кристмас. Кончили его.

19

В этот понедельник вечером, усевшись за ужин, город удивлялся не тому, как Кристмасу удалось бежать, а почему, вырвавшись на волю, он искал убежища в таком месте, зная, что там его наверняка настигнут, и почему, когда это произошло, он не сдался, но и не оказал сопротивления. Как будто замыслил и рассчитал в подробностях пассивное самоубийство.

Высказывалось множество догадок, объяснений, почему он в конце концов искал спасения в доме Хайтауэра. «Рыбак рыбака», — утверждали самые прыткие, непосредственные, вспоминая старые сплетни про священника. Другие полагали, что это чистая случайность; третьи доказывали, что он рассудил здраво, ибо никому и в голову не пришло бы искать его у священника, если бы кто-то не заметил, как он пробежал через задний двор на кухню.

У Гэвина Стивенса, однако, была другая теория. Он — окружной прокурор, выпускник Гарварда и член общества Фи-Бета-Каппа — высокий нескладный мужчина с лохматой седеющей

шевелюрой, одет всегда в мятый просторный темно-серый костюм и неразлучен с кукурузной трубкой. Род его — из старинных в Джефферсоне; его предки владели здесь рабами, а его дед знал (и тоже ненавидел и публично поздравил полковника Сарториса с их смертью) деда и брата мисс Берден. У него спокойная, непринужденная манера разговаривать с деревенскими, с избирателями и присяжными; летом его нередко можно видеть на веранде деревенской лавки среди людей в комбинезонах — он способен просидеть тут на корточках с обеда до вечера, беседуя с ними ни о чем на их наречии.

В этот понедельник вечером с девятичасового поезда сошел профессор Миссисипского университета — однокашник Стивенса по Гарварду, приехавший на несколько каникулярных дней к приятелю в гости. Стивенса он увидел, как только сошел с поезда. Он решил, что Стивенс встречает его, но оказалось, что Стивенс, наоборот, провожает на поезд странную пожилую чету. Профессор разглядел маленького грязного старика с короткой козлиной бородкой, пребывавшего в каком-то сонном оцепенении, и старуху, должно быть его жену, — приземистое, расплывшееся существо с непропеченным

лицом, над которым колыхалось грязное белое перо, в шелковом платье старомодного покроя и царственного угасающего цвета. Профессор приостановился, с любопытством и удивлением наблюдая, как Стивенс вкладывает старухе в руку, точно ребенку, два билета на поезд; подойдя поближе, профессор услышал, как Стивенс, все еще не замечавший его, напутствовал стариков, которых подсаживал в тамбур дежурный. «Да, да, — успокаивал их Стивенс, видимо, подводя итог предыдущему разговору, — завтра утром его отправят на поезде. Я за этим прослежу. Вам надо только распорядиться насчет похорон и кладбища. Отвезите дедушку домой и уложите в постель. Я позабочусь о том, чтобы мальчика утром отправили на поезде».

Потом поезд тронулся, Стивенс обернулся и увидел профессора. Он начал свой рассказ по дороге в город, а кончил, когда они сидели на веранде в доме Стивенсов — и подвел итог: «Кажется, я понимаю, почему он так поступил, почему в конце концов побежал искать спасения в доме Хайтауэра. Я думаю, из-за бабки. Она была у него в камере как раз перед тем, как его увели обратно в суд; она и дед — тот рехнувшийся старичок, который хотел учинить над ним рас-

праву и для этого прибыл сюда из Мотстауна. Не думаю, чтобы старуха хоть сколько-нибудь надеялась спасти его, когда ехала сюда, — всерьез надеялась. По-видимому, она хотела только одного: чтобы он умер «как положено», по ее выражению. Был повешен, как положено, властью, законом; не сожжен, не искромсан, не затаскан до смерти толпой. Думаю, она приехала сюда специально, чтобы следить за стариком, чтобы он не оказался той вороной, которая накаркает грозу, — она не спускала с него глаз. То есть она, конечно, не сомневалась, что Кристмас ее внук, понимаете? Она просто не надеялась. Разучилась надеяться. Я представляю себе, что после тридцати лет простоя механизм надежды не запустишь, не стронешь с мертвой точки за одни сутки.

Но, видимо, когда под напором безумия и убежденности старика ей пришлось стронуться с места физически, ее незаметно захватило. Они явились сюда. Приехали ранним поездом, около трех часов ночи, в воскресенье. Она не пыталась увидеться с Кристмасом. Возможно — караулила старика. Впрочем, едва ли поэтому. Думаю просто, что механизм надежды не успел заработать к тому времени. Едва ли он мог заработать до тех пор, пока здесь утром не родился

ребенок — буквально у нее на глазах; опять-таки — мальчик. Матери ребенка она раньше не видела, отца не видела вообще и внука своего никогда не видела взрослым; так что для нее этих тридцати лет просто не стало. Они рассеялись как дым, когда закричал этот младенец. Больше не существовали.

Слишком быстро все это на нее навалилось. Слишком много действительности, которой не могли отрицать ее глаза и руки, и слишком много того, что надо принимать на веру, нельзя проверить руками и глазами; слишком много необъяснимого было в руках и перед глазами, и слишком внезапно потребовалось усвоить и принять это без доказательств. После тридцати таких лет она, наверно, очутилась в положении человека, который вдруг угодил из одиночки в комнату, полную незнакомых галдящих людей, и заметалась, ища способа уберечь рассудок — любого логичного образа действий, лишь бы он был в пределах ее возможностей, казался ей более или менее осуществимым. Пока не родился этот ребенок, что позволило ей отойти, так сказать, в сторонку, она была чем-то вроде куклы с механическим голосом, которую возил за собой на тележке этот Банч и давал ей сигнал, когда

нужно говорить — как, например, вчера ночью, когда он повел ее рассказывать свою историю доктору Хайтауэру.

А она, понимаете, все еще шарила. Все еще пыталась найти для ума своего, который не очень-то, видимо, был загружен последние тридцать лет, что-нибудь такое, во что бы он поверил, признал действительным, настоящим. И думаю, что нашла она это именно там, у Хайтауэра — у человека, которому можно было все рассказать, который согласился ее слушать. Очень может быть, что там-то она и высказалась впервые. И очень может быть, что только тут сама впервые поняла, действительно уяснила свою историю целиком и в подлинности, одновременно с Хайтауэром. Поэтому стоит ли удивляться, что она на какое-то время перепутала не только детей, но и родителей — ведь в лачуге последних тридцати лет не существовало: этот ребенок и его отец, которого она никогда не видела, ее внук, которого она не видела с такого же грудного возраста, и его отец, тоже никогда для нее не существовавший, — все перепуталось. И когда надежда наконец ожила в ней — стоит ли удивляться, что она со свойственной этому типу возвышенной и безграничной верой в людей, ко-

торые суть добровольные рабы и слуги молитвы, сразу обратилась к священнику.

Вот о чем она говорила сегодня в камере с Кристмасом, после того как старик, улучив минуту, сбежал, а она погналась за ним в город и опять нашла его на углу, где он, совсем уже обезумев и осипнув, проповедовал самосуд, рассказывал людям про то, как взял под опеку дьявольское отродье, как вынянчил его для нынешнего дня. А может быть, она просто шла в это время из хибарки к внуку в тюрьму. Во всяком случае, как только она увидела, что аудиторию речи старика скорее развлекают, чем волнуют, она оставила его и направилась к шерифу. Он только что вернулся с обеда и долго не мог понять, чего она хочет. Она, наверно, показалась ему просто ненормальной — со всей этой историей, в этом своем нелепо-благопристойном воскресном платье и с планами побега на уме. Но в тюрьму он ее пустил — с помощником. Там-то, в камере, она, наверно, и сказала ему про Хайтауэра — что Хайтауэр может его спасти, намерен его спасти.

Я, конечно, не знаю, что она ему там говорила. Вряд ли кто-нибудь сможет воспроизвести эту сцену. И едва ли она сама знала, заранее обдумы-

вала, что ему сказать, — ведь все было сказано и записано в ту ночь, когда она родила его мать, хранилось в памяти с незапамятных теперь уже времен, не подверженное забвению: забылись только слова. Может быть, поэтому он и поверил ей сразу, не усомнившись. Точнее — потому что она не раздумывала, как ему сказать и насколько правдоподобным, возможным или невероятным ему это покажется: что где-то, как-то, телом ли своим, присутствием или чем еще, этот старый изгой-священник оградит его — не только от полиции или толпы, но и от самого непоправимого прошлого; от невесть каких преступлений, которые вылепили и закалили его и в конце концов привели в камеру, где взгляд повсюду натыкается на тень грядущего палача.

И он ей поверил. Я думаю, отсюда и взялось у него не столько мужество, сколько пассивное терпение, чтобы углядеть, принять и вынести эту соломинку — чтобы вырваться в наручниках посреди запруженной народом площади и бежать. Но слишком много было набегано, слишком много гналось за ним. Не преследователей — своего: годы, поступки, дела, совершенные и упущенные, гнались за ним по пятам, шаг в шаг, дых в дых, стук в стук сердца, а сердце было одно. И убили

его не только эти тридцать лет, которых она не знала, но и все те прошлые и позапрошлые тридцатилетия, которые загрязнили его белую кровь — или его черную кровь, как вам будет угодно. Но сперва, должно быть, он бежал веря; по крайней мере — надеясь. Только кровь не желала молчать, быть спасенной. Ни та, ни другая не уступали и не дали телу спасти себя. Потому что черная кровь погнала его сперва к негритянской лачуге. А белая кровь выгнала его оттуда, и за пистолет схватилась черная кровь, а выстрелить не дала белая. И это белая кровь толкнула его к священнику, это она, взбунтовавшись в последний раз, толкнула его, вопреки рассудку и действительности, в объятия химеры, слепой веры во что-то вычитанное в печатном Писании. И тут, мне кажется, белая кровь изменила ему. Всего на секунду, на миг — и черная вскипела в последний раз, заставив его наброситься на человека, в котором он чаял свое спасение. Это черная кровь вынесла его за черту человеческой помощи, вынесла в самозабвенном восторге из черных дебрей, где жизнь кончается раньше, чем остановилось сердце, а смерть — утоление жажды. А потом черная кровь снова его подвела — наверное, как всегда в решительные

минуты жизни. Он не убил священника. Он только ударил его пистолетом, пробежал дальше и, скорчившись за столом, в последний раз восстал против черной крови, как восставал против нее тридцать лет. Он скорчился за опрокинутым столом и дал себя расстрелять — держа в руке заряженный пистолет и не выпустив ни одной пули».

В это время в городе жил молодой человек по имени Перси Гримм. Ему было лет двадцать пять, и он был капитаном национальной гвардии. Он родился и прожил в городе всю жизнь, если не считать летних сборов. На европейскую войну он не попал по возрасту, но только в 1921 или 22-м году понял, что никогда этого родителям не простит. Его отец, торговец скобяным товаром, не понимал его. Он считал, что парень просто лодырь и вряд ли из него выйдет что-нибудь путное, — между тем как юноша переживал страшную трагедию: он не просто опоздал родиться, он опоздал на такую малость, что ему пришлось из первых рук узнать о том невозвратимом времени, когда ему следовало быть мужчиной, а не ребенком. И теперь, когда воинственные страсти поостыли, а те, кто горячился больше всех, и даже сами герои — те, кто служил

и страдал, — стали поглядывать друг на друга косо, ему не с кем было поделиться, некому излить душу. Первая серьезная драка была у него с фронтовиком, который высказался в том смысле, что если бы он опять попал на войну, то дрался бы за немцев против Франции. Гримм тут же его одернул.

— И против Америки, значит? — сказал он.

— Если у Америки хватит дурости опять выручать французов, — ответил солдат. Гримм сразу его ударил; он был мельче солдата, ему еще не исполнилось двадцати. Исход был предрешен; даже Гримм, несомненно, понимал это. Но он держался до тех пор, пока сам солдат не попросил зрителей оттащить мальчишку. И шрамами, полученными в этом бою, он гордился так же, как впоследствии — самим мундиром, за честь которого безоглядно сражался.

Спас его новый закон о реорганизации армии. Долгое время он словно плутал в темноте по болоту. И не только не видел впереди дороги — он знал, что ее нет. И тут вдруг перед ним открылась ясная и определенная жизнь. Потерянные годы, когда он не обнаруживал в школе способностей, когда он считался строптивым, лишенным честолюбия лентяем, канули в прошлое,

были забыты. Жизнь, открывшаяся его глазам, несложная и бесповоротная, как голый коридор, навсегда избавляла его от необходимости думать и выбирать, и ноша, которую он взял на себя, была блестящей, невесомой и боевой, как латунь его знаков различия: возвышенная и слепая вера в физическую храбрость и беспрекословное повиновение, уверенность в том, что белая раса выше всех остальных рас, а американская раса выше всех белых, а американский мундир превыше всего человечества, и самое большее, чего могут потребовать от него в уплату за это убеждение и эту честь, — его собственная жизнь. По всем национальным праздникам, имевшим даже самый легкий военный аромат, он надевал капитанскую форму и являлся в город. И когда он шел среди штатских, сверкая снайперским значком (он был отличный стрелок) и нашивками на погонах, серьезный и подтянутый, на лице его было выражение воинственности и вместе с тем застенчивой мальчишеской гордости, и все, кто видел его, вспоминали ту драку с бывшим солдатом.

Он не состоял в Американском легионе, и это была вина родителей, а не его. Но в ту субботу, когда Кристмаса привезли из Мотстауна, он сра-

зу отправился к командиру поста. Его мысль, его слова были до крайности просты и однозначны.

— Мы отвечаем за порядок, — сказал он. — Мы должны блюсти интересы закона. Закона и страны. Никто из штатских не вправе приговорить человека к смерти. И проследить за этим должны мы, солдаты Джефферсона.

— Откуда вы знаете, что у кого-то есть на этот счет другие планы? — спросил командир легиона. — Вы слышали такие разговоры?

— Не знаю. Не прислушивался. — Он не врал. Казалось, он слишком мало придает значения разговорам штатских, чтобы еще врать на этот счет. — Не в этом суть. Суть в том, будем ли мы, солдаты, носившие форму, первыми, кто заявит о своей позиции в этом деле. Покажем ли сразу людям, какова позиция правительства в таких делах. Покажем, что от них даже разговоров не требуется. — Его план был до крайности прост. Сформировать из поста легиона взвод под его началом, учитывая его воинское звание. — А не захотят, чтоб я ими командовал, — не надо. Пусть скажут, я буду заместителем. Или сержантом, или капралом. — И это были не пустые слова. Он не искал суетной славы. Он был слишком

искренен. Настолько искренен, настолько лишен юмора, что командир легиона воздержался от насмешливого отказа, просившегося на язык.

— Я все-таки не вижу в этом необходимости. А если бы она и была, мы все равно обязаны действовать как гражданские лица. Я не могу использовать пост таким образом. В конце концов, мы уже не солдаты. А если бы я и мог, я едва ли бы захотел.

Гримм посмотрел на него, но не с гневом, а скорее как на букашку.

— А ведь вы когда-то носили форму, — произнес он как-то даже терпеливо. И добавил: — Надеюсь, вы своей властью не воспрепятствуете мне поговорить с ними? Как с частными лицами?

— Нет. Да и не в моей это власти. Но учтите — только как с частными лицами. На меня вы не должны ссылаться.

И тут Гримм сказал ему, что он о нем думает.

— А я и не собирался, — ответил он. И ушел.

Это было в субботу, часа в четыре. До конца дня он обходил магазины и конторы, где работали члены легиона, и к наступлению темноты ему удалось разжечь достаточно народу, чтобы набралось на хороший взвод. Он был сдержан, но неутомим и напорист; заразительно, по-про-

рочески одержим. Однако его добровольцы сходились с командиром поста в одном: официально легион должен быть ни при чем, — и, таким образом, без всякого сознательного намерения Гримм достиг первоначальной цели: теперь он мог быть командиром. Он собрал их перед самым ужином, разбил на отделения, назначил офицеров и штаб; у молодых, не побывавших во Франции, начал просыпаться должный боевой задор. Он обратился к ним с краткой сухой речью:

— …порядок… правосудие свершится… пусть люди видят, что мы носили американскую форму… И еще одно. — Тут он на минуту снизошел до фамильярности: командир полка, знающий своих людей по именам: — Это вам решать, ребята. Я сделаю, как вы скажете. Я думаю, было бы неплохо, если бы я ходил в форме, пока все не кончится. Пусть видят, что Дядя Сэм не только душою с вами.

— Но его с вами нет, — живо возразил один из них; он был из той же породы, что и командир поста, который, кстати говоря, отсутствовал. — Правительства это дело пока не касается. Это может не понравиться шерифу. Это дело Джефферсона, а не Вашингтона.

— Сделайте так, чтобы понравилось, — сказал

Гримм. — Чему служит ваш легион, как не защите Америки и американцев?

— Нет, — отвечал тот. — По-моему, нам лучше не устраивать из этого парада. Все, что надо, мы можем сделать и так. Даже лучше. Правильно, ребята?

— Хорошо, — согласился Гримм. — Будь по-вашему. Но каждому из вас понадобится пистолет. Осмотр стрелкового оружия — здесь через час. Всем явиться сюда.

— А что скажет Кеннеди насчет пистолетов? — спросил кто-то.

— Об этом позабочусь я, — сказал Гримм. — Явиться сюда с личным оружием ровно через час.

Он разрешил им разойтись. Он прошел через тихую площадь к кабинету шерифа. Шериф дома, сказали ему.

— Дома? — повторил он. — Сейчас? Что он может делать сейчас дома?

— Кушает, наверно. Такому большому мужчине надо кушать несколько раз в день.

— Дома, — повторил Гримм. В глазах его не было гнева; они смотрели так же холодно и бесстрастно, как перед тем — на командира легиона. — Кушает.

Он вышел быстрым шагом. Он снова пересек площадь, тихую, пустую площадь этого мирного городка в мирном округе, чьи жители мирно усаживались ужинать. Он отправился к шерифу домой. Шериф сразу сказал «нет».

— Чтобы пятнадцать — двадцать человек толклись на площади с пистолетами в карманах? Нет, нет. Не годится. Мне это не подходит. Не годится. Позволь уж мне тут распоряжаться.

Гримм еще секунду смотрел на шерифа. Потом он повернулся и быстрым шагом пошел прочь.

— Ладно, — сказал он. — Как хотите. Я вам не буду мешать, но и вы мне не мешайте. — В голосе его не было угрозы. Он звучал слишком сухо, слишком категорично, слишком бесстрастно. Гримм быстро удалялся. Шериф смотрел ему вслед; потом окликнул. Гримм обернулся.

— И свой оставь дома, — сказал шериф. — Слышишь? — Гримм не ответил. Пошел дальше. Шериф, нахмурясь, смотрел ему вслед, пока он не скрылся из виду.

Вечером, после обеда, шериф опять пошел в город, чего не делал уже много лет — разве только по какому-нибудь срочному, неотложному делу. Перед тюрьмой его встретил наряд гриммовских людей, в суде — другой, третий

патрулировал близлежащие улицы. Шерифу сказали, что остальные, смена, собрались в хлопковой конторе, где служит Гримм: там у них караулка, штаб. Шериф застал Гримма на улице за поверкой караулов.

— Поди-ка сюда, парень, — сказал шериф. Гримм остановился. Но не подошел; шериф сам двинулся к нему. Толстой рукой похлопал его по заднему карману. — Я же тебе сказал, оставь его дома. — Гримм не отвечал. Он хладнокровно глядел на шерифа. Шериф вздохнул. — Ну что ж, раз ты упрямишься, придется назначить тебя специальным помощником. Но пистолет свой и показывать не смей, пока я тебе не скажу. Слышишь?

— Ну да, — сказал Гримм. — Конечно, вы не хотите, чтобы я вытаскивал пистолет, пока не будет надобности.

— Я говорю: пока я тебе не скажу.

— Ну да, — сразу ответил Гримм, бесстрастно и терпеливо. — А я что говорю? Не беспокойтесь. Я буду на месте.

Позже, когда город угомонился на ночь, когда опустел кинотеатр и позакрывались одна за другой аптеки, взвод Гримма начал расходиться. Он не возражал, он холодно наблюдал за ними;

они конфузились, чувствовали себя неловко. Опять, сам того не ведая, он получил козырь. Сегодняшняя неловкость, чувство, что им далеко до его холодного рвения, заставит их завтра вернуться — хотя бы для того, чтобы доказать ему. Некоторые остались — все равно выходной; кто-то где-то раздобыл еще несколько стульев, и сели играть в покер. Игра шла всю ночь, хотя время от времени Гримм (сам он не играл и заместителю своему — единственному, кто тоже имел звание, соответствующее офицерскому, — не позволил) высылал наряд патрулировать площадь. Позже к ним присоединился дежурный из полиции, но и он не принял участия в игре.

Воскресенье прошло тихо. Весь день потихоньку играли в покер, изредка отрываясь для патрульных вылазок; тихо звонили церковные колокола, и прихожане собирались чинными, по-летнему пестрыми группами. На площади уже знали, что завтра будет заседать большой суд присяжных. Сам звук этих слов, наводивший на мысли о чем-то тайном и неотвратимом, о всевидящем и недреманном оке, которое скрытно следит за делами людскими, убеждал подчиненных Гримма в непритворности затеянного представления. Так неожиданно и прихотливо

податлива бывает человеческая душа, что город, сам того не понимая, вдруг признал Гримма, стал взирать на него с уважением, пожалуй, даже с некоторым трепетом и изрядной долей веры, словно его предвидение, патриотизм, гордость за свой город и выпавшую им роль оказались живее и вернее, чем у них. Его люди, во всяком случае, признали это и усвоили; после бессонной ночи, тревоги, выходного дня, жертвенного отречения от собственной воли они были взвинчены до того, что, наверно, пошли бы ради него на смерть, если бы представился случай. Теперь их озаряли отблески мрачного, вселяющего трепет света, почти столь же явственные, как хаки, в котором их желал бы видеть, хотел увидеть Гримм, — словно всякий раз, вернувшись в караулку, они заново облачались в картинные, величаво-суровые лоскутья его видений.

Так прошла вся воскресная ночь. Игра в покер продолжалась. Предосторожности, скрытность, окружавшие ее, были отброшены. Теперь все делалось без стеснения, с безоблачной уверенностью, доходящей до бравады: ночью, когда на лестнице раздались шаги полицейского и кто-то из них сказал: «Берегись, военная полиция», они перекинулись твердыми, ясными, полными

бесшабашной удали взглядами, и еще кто-то громко предложил: «Спустим гада с лестницы», а третий сложил губы и произвел допотопный звук. Так что наутро, когда стали подъезжать первые повозки и машины из деревень, взвод был опять сплочен. И теперь у них была форма. Их лица. В большинстве это были люди одного возраста, поколения, жизненного опыта. Но роднило их не только это. Глубокой и мрачной серьезностью веяло от них, когда они стояли в людском круговороте, серьезные, суровые, неприступные, и хмурыми пустыми глазами глядели на толпу, которая текла мимо и, что-то чувствуя, ощущая в них, но не понимая, глазела, замедляла ход, так что они все время были в кольце лиц, завороженных, бессмысленных и неподвижных, как коровьи морды, надвигавшихся и уплывавших, чтобы смениться новыми. И все утро гудели, замирали голоса, тихо спрашивали, отвечали: «Вон идет. Вон тот, молодой, с автоматическим пистолетом. Он у них командир. Уполномоченный офицер от губернатора. Он тут всем распоряжается. От шерифа сегодня ничего не зависит».

Позже, когда все было кончено, Гримм сказал шерифу:

— Что бы вам меня послушаться. Я бы вывел его из камеры под охраной целого отделения, — так нет, надо было отправлять его через всю площадь с одним помощником и даже наручниками к нему не примкнуть — да еще в такой толчее, где этот раззява Бьюфорд все равно бы побоялся стрелять, даже если бы умел с двух шагов попасть в ворота.

— Откуда же я знал, что он вздумает бежать, да еще прямо здесь? — ответил шериф. — Ведь Стивенс сказал мне, он хочет признать себя виновным, чтобы получить пожизненное.

Но было уже поздно. Все уже было кончено. Произошло это в центре площади, на полпути от тротуара к зданию суда, посреди толпы, густой, как в ярмарочный день, но Гримм узнал о побеге только тогда, когда услышал, как помощник шерифа дважды выстрелил в воздух. Он сразу понял, в чем дело, хотя сам находился в здании суда. Он отреагировал четко и мгновенно. Уже побежав на выстрелы, он крикнул через плечо тому, кто последние двое суток неотступно таскался за ним в качестве не то адъютанта, не то ординарца:

— Включи пожарную сирену!

— Пожарную сирену? — переспросил тот. —

Зачем?

— Включи пожарную сирену! — крикнул через плечо Гримм. — Не важно, что они подумают. Лишь бы знали, что… — Он не докончил — исчез.

Он бежал среди бегущих, настигая и обгоняя их, потому что у него была цель, а у них не было, они просто бежали, — и черный тупой громадный пистолет разваливал перед ним толпу, как плуг. Они глядели на его строгое, напряженное, молодое лицо, обернув к нему белые лица, зияющие круглыми зубастыми дырами, и тянулся за ним долгий шелестящий звук, похожий на вздох: «…туда… побежал в ту сторону…» Но Гримм уже увидел помощника шерифа — тот бежал, подняв пистолет. Гримм кинул взгляд по сторонам и ринулся дальше; в гуще людей, сквозь которую, по-видимому, пришлось прокладывать себе путь помощнику шерифа с заключенным, всегдашний долговязый паренек в форме телеграфиста вел свой велосипед за рога, как послушную корову. Гримм сунул пистолет в кобуру, отшвырнул мальчишку в сторону и вскочил на велосипед — все это, ни на секунду не прервав движения.

На велосипеде не было ни звонка, ни рожка. Но люди как-то чувствовали приближение Грим-

ма и расступались; и здесь, казалось, ему прокладывала путь убежденность, слепая и безоблачная вера в непогрешимость и правоту своих действий. Догнав бегущего помощника шерифа, он притормозил. Помощник повернул к нему потное лицо с разинутым от бега и крика ртом.

— Он свернул! — завопил помощник. — В проулок за…

— Знаю, — сказал Гримм. — Он в наручниках?

— Да! — ответил тот.

Велосипед рванулся вперед.

«Значит, быстро бежать он не может, — думал Гримм. — Скоро должен залечь. Хотя бы убраться с открытого места». Гримм стремительно свернул в проулок. Он проходил между двумя домами, по одной стороне тянулся тесовый забор. Тут впервые загудела сирена; протяжный вопль ее медленно нарастал и наконец словно взвился за пределы слуха — беззвучной дрожью, доступной лишь осязанию. Гримм несся вперед, и мысль его работала быстро, логично, с каким-то яростным и сдержанным восторгом. «Первым делом ему надо скрыться из виду», — думал он, оглядываясь по сторонам. По одну сторону пространство просматривалось, по другую стоял забор выше человеческого роста. Он неожиданно

заканчивался воротами, за которыми был луг, а еще дальше — глубокий ров, городская граница. Макушки высоких деревьев, росших на дне, едва виднелись над землей. Во рву мог укрыться и развернуться полк. «Эх», — произнес он вслух. Не остановившись и не сбавив хода, он повернул и погнал по проулку обратно, на улицу, которую только что покинул. Вой сирены теперь замирал, падал, снова обращаясь в звук, и, вылетев по дуге на улицу, Гримм увидел на миг бегущих людей и мчащийся в его сторону автомобиль. Хотя он крутил педали изо всех сил, машина поравнялась с ним, люди высунулись, прокричали ему прямо в застывшее, устремленное вперед лицо: «Влезайте сюда! — крикнули они. — Сюда!» Он не ответил. Не взглянул на них. Машина пронеслась мимо, сбавляя ход; теперь он опять обогнал ее, стремительно, плавно и беззвучно; машина опять прибавила скорость и обогнала его; седоки, высунувшись, глядели вперед. Он тоже ехал быстро, беззвучно, со стремительной легкостью призрака, неумолимо и неуклонно, как колесница Джаггернаута или Судьба. Позади снова заходилась сирена. Когда люди в машине опять оглянулись, его уже не было.

На полном ходу он свернул в другой проулок.

Его спокойное окаменевшее лицо все еще светилось радостью исполненного желания, угрюмым весельем. Этот проулок был ухабистее первого и длиннее. Вылетев по нему на голый бугор, Гримм соскочил с велосипеда, который еще катился, заваливаясь набок, и глазам его открылся весь зев лощины на краю города, лишь в нескольких местах заслоненный негритянскими лачугами, торчавшими над самым краем. Гримм застыл — недвижный, одинокий и зловещий, как пограничный столб. Сзади, в городе, снова начал затихать вопль сирены.

Затем он увидел Кристмаса. Увидел вдали маленькую фигурку, которая вылезла из рва с сомкнутыми руками. Солнце отразилось от наручников беглеца — его руки вдруг сверкнули Гримму в глаза, как сигнал гелиографа, и ему почудилось, что даже отсюда слышно тяжелое, загнанное дыхание человека, который и сейчас не был свободен. Затем крохотная фигурка опять побежала и скрылась за ближайшей негритянской лачугой.

Гримм тоже побежал. Побежал стремительно, но в этом не было заметно ни спешки, ни усилий. Не было в нем и мстительности, бешенства, возмущения. Кристмас сам это увидел. Потому

что был такой миг, когда они почти столкнулись лицом к лицу. Это случилось, когда Гримм на бегу повернул за угол лачуги. В тот же миг, как по волшебству, из заднего ее окна выпрыгнул Кристмас, и скованные руки засверкали над его головой, словно в огне. Мгновение они свирепо глядели друг на друга: один — еще приседая после прыжка, другой — на бегу, и тут же Гримма по инерции вынесло за угол. Но за это мгновение он заметил, что в руках у Кристмаса тяжелый никелированный пистолет. Гримм круто повернулся и, уже вытаскивая свой автоматический, кинулся обратно, за угол.

Мысль работала быстро, спокойно, с той же тихой радостью: «У него два выхода. Либо снова кинуться в ров, либо бегать от меня вокруг дома, пока один из нас не схватит пулю. А ров — с его стороны дома». Он отреагировал мгновенно. С предельной быстротой он устремился обратно за угол, откуда только что выскочил. Он сделал это так, словно был заговорен от пуль, или охраняем провидением, или знал, что Кристмас не будет ждать его там с пистолетом. Не останавливаясь, он обогнул следующий угол.

Теперь он был над рвом. Он резко остановился, замер. Над тупой холодной загогулиной писто-

лета лицо его излучало безмятежный неземной свет, как лица ангелов на церковных витражах. Он замер лишь на миг и тут же снова рванулся с места, с той же поджарой стремительностью, слепо послушный какому-то Игроку, двигавшему его по Доске. Он бежал ко рву. Он бросился вниз по заросшей кустами круче, но тут же повернулся, цепляясь руками за что попало. Теперь он увидел, что между землей и полом лачуги — полуметровый просвет. Раньше, впопыхах, он этого не заметил. Он понял, что дал Кристмасу фору. Что Кристмас все время следил за его ногами из-под дома. «Ты подумай», — сказал он.

Его порядком протащило по склону, прежде чем он сумел остановиться и снова полез наверх. Казалось, он неутомим, сделан не из плоти и крови — как будто Игрок, двигавший его, словно пешку, все время вливал в него новые силы. Без задержки, на том же усилии, которое вынесло его из рва, он уже бежал дальше. Он выбежал из-за лачуги вовремя: успел увидеть, как в метрах трехстах от него Кристмас перепрыгнул через изгородь. Гримм не выстрелил, потому что Кристмас устремился через маленький сад прямо к дому. На бегу он увидел, как Кристмас вскочил на заднее крыльцо и скрылся за дверью. «Ага, —

сказал Гримм. — К священнику. К Хайтауэру».

Он не замедлил шагов, но, оставляя дом в стороне, побежал к улице. Машина, которая обогнала его и потеряла, теперь вернулась и была там, где ей полагалось быть, где ей предписал быть Игрок. Не дожидаясь его сигнала, она затормозила, и из нее вылезли трое. Гримм, не говоря ни слова, повернулся и побежал через садик в дом, где жил в одиночестве опозоренный священник, и те трое влетели за ним следом в переднюю и остановились, принеся с собой в затхлый келейный сумрак сверкание свирепого летнего солнца.

Она объяла их, вселилась в них — его бесстыдная свирепость. Осененные ею, бесплотно повисшие в воздухе лица, словно из-под нимбов, вперились в окровавленное лицо Хайтауэра, когда они наклонились и стали поднимать его с того места в передней, где на него налетел Кристмас, где поднятые вооруженные скованные руки беглеца, сверкнув огнем, как перуны в руках разъяренного мстительного бога, вершащего суд, обрушились на его голову. Преследователи поддерживали старика.

— В какой комнате? — сказал Гримм, тряся его. — Старик, в какой он комнате?

— Джентльмены! — сказал Хайтауэр. А по-

том: — Люди, люди!

— Старик, в какой он комнате? — гаркнул Гримм.

Преследователи поддерживали старика; в сумраке прихожей, после солнечного света, он с его лысым черепом и большим белым лицом, залитым кровью, тоже был ужасен.

— Люди! — закричал он. — Послушайте меня. Он был здесь той ночью. В ночь убийства он был со мной. Клянусь Богом…

— Черт возьми! — закричал Гримм, и голос его был чист и гневен, как голос молодого жреца. — Неужели все священники и старые девы в Джефферсоне стали подстилкой для этой желтопузой сволочи? — Он отшвырнул старика и кинулся дальше.

Казалось, он только и ждал, когда Игрок опять сделает им ход, и с той же безотказной уверенностью побежал прямо на кухню, к двери, открыв огонь чуть ли не раньше, чем увидел опрокинутый набок стол, за которым скорчился в углу комнаты беглец, и на ребре стола — жарко сверкавшие руки. Гримм выпустил в стол весь магазин, потом оказалось, что все пять пробоин можно прикрыть сложенным носовым платком.

Но Игрок еще не кончил. Когда остальные вбе-

жали на кухню, они увидели, что стол отброшен в сторону, а Гримм склонился над телом. Когда они подошли посмотреть, чем он занят, они увидели, что человек еще не умер, а когда увидели, что делает Гримм, один из них издал придушенный крик, попятился к стене, и его стало рвать. Затем Гримм отскочил и отшвырнул за спину окровавленный мясницкий нож.

— Теперь ты даже в аду не будешь приставать к белым женщинам! — сказал он.

Но человек на полу не пошевелился. Он тихо лежал, в открытых глазах его выражалось только то, что он в сознании, и лишь на губах затаилась какая-то тень. Долго смотрел он на них мирным, бездонным, невыносимым взглядом. Затем его лицо и тело словно осели, сломались внутри, а из брюк, располосованных на паху и бедрах, как вздох облегчения, вырвалась отворенная черная кровь. Она вырвалась из его бледного тела, как сноп искр из поднявшейся в небо ракеты; в черном этом взрыве человек словно взмыл, чтобы вечно реять в их памяти. В какие бы мирные долины ни привела их жизнь, к каким бы тихим берегам ни прибила старость, какие бы прошлые беды и новые надежды ни пришлось читать им в зеркальных

обликах своих детей — этого лица им не забыть. Оно пребудет с ними — задумчивое, покойное, стойкое лицо, не тускнеющее с годами и не очень даже грозное, но само по себе безмятежное, торжествующее само по себе. Снова из города, чуть приглушенный стенами, долетел вопль сирены, взвился в невероятном крещендо и пропал за гранью слуха.

20

Уже угасает прощально медный закатный свет; уже пустынна и готова за низкими кленами и низкой вывеской улица, обрамленная окном кабинета, как сцена.

Он помнит, как в молодости, когда он приехал в Джефферсон из семинарии, этот закатный медный свет казался почти слышимым, будто замирающий желтый обвал труб, замирающий в тишине и ожидании, откуда вскоре возникнут они. И не успевали еще смолкнуть трубы, а ему уже чудилось в воздухе зарождение грома — пока не громче шепота, слушка.

Но он никому об этом не рассказывал. Даже ей. Даже ей в те дни, когда ночами они любили друг друга, и стыда, отчуждения еще не было, и она знала, еще не успела забыть в отчуждении, тоске, а затем и безнадежности, почему он сидит перед этим окном, дожидаясь ночи, мгновения, когда ночь наступит. Даже ей, женщине. Этой женщине. Женщине (не семинарии, как прежде верилось): Страдательному и Безличному, сотворенному Богом, чтобы принять и хранить

не только семя его тела, но и — духа, которое есть истина или настолько близко к истине, насколько он осмелится подойти.

В семье он был единственным ребенком. Когда он родился, отцу пошел шестой десяток, а мать уже двадцать лет тяжело болела. Со временем в нем укоренилось убеждение, что причиной этому — пища, которой ей пришлось довольствоваться в последний год Гражданской войны. Возможно, это и было причиной. Отец его не имел рабов, хотя был сыном человека, который в свое время владел рабами. Он тоже мог бы их иметь. Но хотя он родился, вырос и жил в тот век и в том краю, где иметь рабов было дешевле, чем не иметь, он не желал ни есть пищи, выращенной и приготовленной черными рабами, ни спать на постеленных ими простынях. Поэтому в войну, когда его не было дома, жена обходилась таким огородом, какой могла возделать сама или со случайной помощью соседей. А принимать от них помощь муж не разрешал ей по той причине, что она не могла ответить им услугой на услугу. «Бог подаст», — говорил он.

— Что подаст? Одуванчики и репьи?

— Тогда Он даст нам желудок, чтобы переварить их.

Он был проповедником. По воскресеньям он спозаранку уезжал из дома, но только через год отцу (это было до женитьбы сына), который был на хорошем счету в англиканской общине, хотя ни разу на памяти сына не переступил порога церкви, стало известно, куда он отлучается. Выяснилось, что сын — ему только что исполнился двадцать один год — каждое воскресенье ездит за шестнадцать миль служить в захолустной пресвитерианской молельне. Отец посмеялся. Сын слушал этот смех, как слушал бы брань или крики: равнодушно, с холодной почтительностью, без возражений. В следующее воскресенье он опять поехал к своей пастве.

Когда началась война, сын не пошел на нее в числе первых. Но и не оказался в числе последних. Он пробыл в армии четыре года, хотя из ружья не стрелял и вместо мундира носил темный сюртук, который приобрел на свадьбу, а потом надевал, отправляясь на проповедь. В нем он и вернулся в 65-м году, но с того дня, когда перед дверьми остановилась повозка и двое мужчин подняли его, внесли в дом и уложили на кровать, он больше не надевал сюртука. Жена спрятала его в сундук на чердаке. В сундуке он пролежал двадцать пять лет — до того дня,

когда сын сына вынул его оттуда и расправил сукно, аккуратно сложенное руками, которых уже не было на свете.

Он вспоминает этот сюртук сейчас, сидя у темного окна в тихом кабинете и дожидаясь, когда отойдут сумерки, наступит ночь и загремят копыта. Медный свет уже потух; мир парит в зеленом затишье, окраской и плотностью напоминающем свет, пропущенный сквозь цветное стекло. Скоро пора будет сказать *Теперь скоро. Скоро* «Мне тогда было восемь лет, — думает он. — Шел дождь». Ему кажется, что он и сейчас слышит запах дождя, октябрьской земли в ее печальной сырости и сундука, зевнувшего затхло, когда он поднял крышку. Затем — аккуратно сложенный сюртук. Сначала он не понимал, что это, — с такой силой всколыхнулось воспоминание о руках покойной матери, трогавших эту ткань. Затем сюртук развернулся, медленно обвисая. Ему, ребенку, он показался немыслимо огромным, сшитым на великана; словно только оттого, что его носил один из них, самому сукну сообщились свойства исполинских и героических теней, маячивших среди дыма, грома и порванных знамен, которые завладели его сном и явью.

Сюртук был почти неузнаваем из-за заплат.

Заплаты кожаные, грубо нашитые мужчиной, заплаты из конфедератского серого сукна, выгоревшего до цвета прошлогодних листьев, и одна, от которой захолонуло сердце: синяя, темно-синяя — из мундира Соединенных Штатов. При виде этой заплаты, немого и безымянного лоскута, мальчик, рожденный осенью материнской и отцовской жизни, ребенок, чей организм уже нуждался в неусыпной заботе швейцарских часов, тихо ликовал и ужасался, а потом хворал.

Вечером, за ужином, он не мог есть. Его отец, которому уже было под шестьдесят, поднимал голову и, встретив взгляд сына, видел в нем благоговение, ужас и что-то еще. Тогда он говорил: «Что с тобой стряслось?» А ребенок не мог ответить, не мог говорить, глядел на отца, и на детском его лице было такое выражение, как будто он глядит в преисподнюю. Ночью он не мог уснуть. Оцепенелый, лежал он в своей темной постели и даже не дрожал, а его единственный живой родственник, отец, с которым мальчика разделяло такое расстояние во времени, что его нельзя было измерить даже десятилетиями, такое, что оно лишило их даже внешнего сходства, — спал, отгороженный от него стенами, полами, потолками. На другой день ребенок

снова мучился кишечными спазмами. Но он не говорил, в чем дело, — даже негритянке, которая вела хозяйство и была ему и матерью и нянькой. Постепенно силы к нему возвращались. И тогда он опять пробирался на чердак, открывал сундук, вынимал отцовскую одежду, и с ужасом и ликованием, со сладкой жутью трогая синюю заплату, спрашивал себя, убил ли отец того, из чьего мундира вырезана синяя заплата, и, еще больше ужасаясь, думал, до чего сильны и постоянны в нем жажда и боязнь узнать это. Однако на следующий же день, узнав, что отец поехал навестить одного из своих деревенских пациентов и едва ли вернется засветло, он шел на кухню и говорил негритянке: «Расскажи мне опять про деда. Сколько он убил северян?» И про это он слушал без страха. И даже без ликования: с гордостью.

Для сына же своего этот дед был бельмом на глазу. Сын ни за что бы так не сказал и не подумал; ни тому, ни другому и в голову не пришло бы пожелать себе другого отца или другого сына. Отношения у них были ровные: с сыновней стороны — бесстрастная, сухая, механическая почтительность, с отцовской — живой, открытый, грубовато-добродушный юмор, которому скорей

недоставало остроумия, чем последовательности. Жизнь в их двухэтажном городском доме текла мирно, хотя в один прекрасный день сын раз и навсегда отказался есть пищу, приготовленную рабыней, которая растила его с пеленок. К неописуемому возмущению негритянки, он сам стряпал на кухне, сам подавал себе на стол и ел, сидя напротив отца, который неукоснительно и церемонно поднимал за его здоровье стакан кукурузного виски: сын и виски в рот не брал, ни разу в жизни не притрагивался.

В день свадьбы сына отец уступил ему дом. Когда молодожены приехали, он уже стоял на крыльце с ключами от дома. Он был в плаще и шляпе. Рядом лежали его вещи, а позади стояли двое его рабов: стряпуха-негритянка и его «малый», человек старше его годами и без единого волоса на голове, стряпухин муж. Он не был плантатором; он был юристом, обучившись юриспруденции примерно так, как потом сын — медицине: «навалясь да черту помолясь», по его выражению. Он уже купил себе домик в двух милях от города, у крыльца его дожидались дрожки, запряженные в одномастную пару, и пока его сын и сноха, которую он видел в первый раз, шли от ворот к дому, он стоял на крыльце,

расставив ноги и сдвинув на затылок шляпу, — крепкий, грубоватый, красноносый мужчина с усами разбойничьего атамана. Он наклонился и поцеловал сноху, дохнув табаком и виски.

— По-моему, вы будете подходящей женой, — сказал он. Взгляд у него был дерзкий, но добрый. — Да и нужно-то нашему благочестивцу немного — лишь бы альтом умела петь пресвитерианские гимны, которые сам Господь на музыку не положит.

Он уехал на украшенных кистями дрожках вместе со своим имуществом — одеждой, большой оплетенной бутылью, рабами. Рабыня-стряпуха не осталась даже, чтобы приготовить новобрачным первый обед. Ее не предлагали в помощь — и от нее не отказывались. Отец при жизни в этом доме больше не появился. Ему были бы рады. И он и сын это понимали, хотя никогда не обсуждали вслух. А сноха — дочь благовоспитанных и многодетных родителей, которые не преуспели в жизни, в церкви, видимо, нашли замену тому, чего не хватало на столе, — любила его и опасливо, втихомолку им восхищалась: его ухарством, его грубоватой бесхитростной приверженностью нехитрым законам чести. Однако слухи о его проделках до них доходили: о том, как на дру-

гое лето после переезда за город он вмешался в затянувшееся радение, устроенное в соседней роще, и превратил его в неделю любительских конноспортивных состязаний, между тем как тощие и неистовые деревенские проповедники перед редеющей паствой призывали с сельского амвона проклятья на отпетую голову. Почему он не навещает сына и сноху, он объяснил как будто бы откровенно: «Вам будет скучно со мной, мне будет скучно с вами. И кто знает — не ровен час, соблазнит меня парень. Соблазнит старика — раем». Но причина была другая. Сын знал, что другая; хотя он первым восстал бы против такого поклепа, если бы услышал его из чужих уст, сам-то он знал, что у старика есть и чуткость и щепетильность.

Сын стал аболиционистом чуть ли не раньше, чем настроения эти, облекшись в слово, просочились с Севера. Впрочем, узнав, что республиканцы придумали для этого название, он стал называть себя совсем по-другому, ни на йоту не изменив при этом своих убеждений и повадок. Хотя ему еще не исполнилось тридцати, он отличался спартанской, не по годам, умеренностью, как это часто бывает с отпрысками не слишком привередливых данников случая и бутылки.

Поэтому, может быть, он и ребенка завел только после войны, с которой вернулся другим человеком, «проветрившись», как сказал бы его покойный отец, от своей святости. Хотя за эти четыре года он ни разу не выстрелил из ружья, служба его не ограничивалась молитвами и проповедями перед войском по воскресным утрам. Когда он вернулся домой и, оправившись после ранения, стал практиковать как хирург и фармацевт, он делал лишь то, в чем напрактиковался на телах равно друзей и врагов, помогая врачам на фронте. Из всех поступков сына этот, пожалуй, отец одобрил бы больше всего: что сын обучился профессии на теле захватчика и разорителя родной земли.

«Но святость — неподходящее для него слово, — думает, в свою очередь, сын сына, сидя у темного окна, за которым смолкли трубы и мир парит в зеленом затишье. — Дед первым бы ополчился на того, кто охарактеризовал бы отца таким словом». Нет, это был своего рода возврат к тем суровым и не таким уж давним и забытым временам, когда человек в этой стране не настолько располагал собой и временем, чтобы расточать их зря, а ту малость, которой располагал, должен был защищать и охранять не только от природы,

но и от людей, рассчитывая лишь на собственную стойкость и зная, что не будет вознагражден за нее — по крайней мере при своей жизни — покоем и досугом. Вот откуда шло у него осуждение рабства и собственного отца, кощунника и здоровяка. А то, что в войне за идею он деятельно участвовал на стороне людей, чьи принципы были противны его принципам, и не видел, не мог увидеть тут никакого противоречия, ясно показывало, что в нем совмещались два отдельных и цельных человека, один из которых жил по ясным законам — в мире, где не было места действительности.

Но другая его часть, жившая в действительном мире, здравствовала не хуже других и даже лучше многих. Он жил по своим принципам в мирное время и, когда началась война, не расстался с ними, жил по ним и там; когда надо было совершать богослужение мирным воскресным днем в тихой роще, он совершал его, ничем особенным не оснащенный, кроме собственной воли, убеждений и того, чему он научился по ходу дела; когда надо было спасать из-под обстрела раненых и лечить их без нужных инструментов, он спасал и лечил, опять-таки ничем не оснащенный, кроме собственной силы, смелости и того,

чему он научился по ходу дела. А когда война была проиграна и другие вернулись домой, упрямо оборотив взор на то, что отказывались признать погибшим, он смотрел вперед и пытался извлечь из поражения хоть что-нибудь, применяя на практике вынесенный из него опыт. Он стал врачом. Одним из первых его пациентов была жена. Возможно, он спас ей жизнь. По крайней мере — дал возможность произвести на свет новую, хотя, когда родился сын, ей было за сорок, а ему пятьдесят. Сын этот вырос и возмужал среди призраков и бок о бок с духом.

Призраками были его отец, его мать и старая негритянка. Отец, который был священником без церкви и солдатом без врага, после поражения объединил то и другое и стал врачом, хирургом. Как будто те самые холодные и непоколебимые устои, которые позволили ему, так сказать, с честью продержаться между порохом и елеем, не были подорваны и опрокинуты, а облеклись мудростью. Словно в орудийном дыму, как в видении, ему открылось, что наложение рук надо понимать буквально. Словно в проповеди Христа ему открылось вдруг, что тот, у кого лишь дух нуждается в исцелении, немногого стоит, не заслуживает спасения. Это был

один призрак. Вторым была мать, чей образ в его воспоминаниях, с начала и до конца, — истаявшее лицо, огромные глаза, россыпь темных волос на подушке и голубые, неподвижные, похожие на мощи, руки. Если бы в день ее смерти ему сказали, что он ее видел не только лежачей, он бы не поверил. Позже он вспоминал и другое — он вспоминал, как она ходила по дому, занималась хозяйством. Но в восемь, в девять и в десять лет она представлялась ему безногой — истаявшим лицом и глазами, которые с каждым днем становились все больше и больше, словно готовясь охватить все видимое, все живое одним ужасающим взглядом, полным страдания, безысходности и предчувствия смерти, да так, что если бы это наконец случилось, он бы услышал: это был бы звук, вроде крика. Перед ее смертью он уже чувствовал их сквозь все стены. Они были домом: он жил в них, в этом темном всеобъемлющем стойком отсвете угасающей жизни. Оба, и он и она, жили в них как два слабых зверька в норе, в пещерке, где время от времени появлялся отец — человек для них чужой, посторонний, почти опасный: так быстро здоровье телесное изменяет и преобразует дух. Он был не просто чужой: он был враг. От него пахло по-другому.

Он говорил другим голосом, чуть ли не другими словами, словно обитал в другом окружении, другом мире; присевший возле кровати ребенок чувствовал, как пышет здоровьем и безотчетным презрением мужчина, который был так же бессилен и подавлен, как они.

Третьим призраком была негритянка, рабыня, уехавшая на дрожках в то утро, когда молодые пришли домой. Она уехала рабыней; рабыней и вернулась в 66-м году, только пешком, — громадная женщина, на чьем лице запечатлелись одновременно гневливость и спокойствие: маска черной трагедии между эпизодами. После смерти хозяина и до тех пор, пока она не уверилась наконец, что не увидит больше ни его, ни мужа — «малого», который пошел с хозяином на войну и тоже не вернулся, — она отказывалась покинуть загородный дом хозяина, оставленный на ее попечение. Сын явился туда после смерти отца, чтобы закрыть дом и забрать отцовское имущество, и предложил ее обеспечить. Она отказалась. Выехать тоже отказалась. Она развела небольшой огород и жила одна, ждала возвращения мужа, отказываясь верить слухам о его смерти. Это был только слух, неясный: будто бы после того, как хозяин погиб в налете ван-дорновской

конницы на склады Гранта в Джефферсоне, негр был безутешен. Однажды ночью он исчез с бивака. Вскоре пошла молва о полоумном негре, который попадается конфедератским пикетам на самой линии фронта и каждый раз несет околесицу насчет пропавшего хозяина — якобы северяне держат его в плену, чтобы получить выкуп. Он ни на секунду не соглашался поверить, что хозяина убили. «Нет, сэр, — говорил он. — Массу Гейла не могли. Ни за что. Они бы побоялись убить Хайтауэра. Побоялись бы. Они его где-то спрятали, хотят вытянуть из него, где мы с ним спрятали хозяйкин кофейник и золотой поднос. Вот чего им надо». Каждый раз ему удавалось сбежать. Но однажды с федеральных позиций дошел рассказ о том, как негр напал на офицера северян с лопатой, и офицер, защищая свою жизнь, вынужден был его застрелить.

Негритянка долго в это не верила. «С такого дурака станется, — говорила она. — Да ведь дурак-то такой, что янки от своего не отличит — кого лопатой двинуть». Она твердила это больше года. Потом в один прекрасный день она появилась в доме сына — в том доме, который покинула десять лет назад и ни разу не навещала; свое имущество она несла в платке. Она вошла в дом

и сказала:

— Вот я. Хватит у вас дров ужин приготовить?

— Вы теперь вольный человек, — сказал ей сын.

— Вольный? — повторила негритянка. Она говорила со спокойным, печальным презрением. — Вольный? Что в этой воле толку — что массу Гейла через нее убили, а Помп через нее таким дураком сделался, каким его сам Господь не мог сделать? Воля? Вы мне про эту волю не говорите.

То был третий призрак. С этим призраком ребенок («И сам тогда — ничуть не лучше призрака», — думает сейчас этот ребенок перед гаснущим окном) разговаривал о духе. Говорили без устали: ребенок — увлеченно, с полувосторгом-полуужасом, а старуха — с задумчивой и яростной скорбью и гордостью. Но ребенку это казалось просто тихим содроганием восторга. Он не видел ничего ужасного в том, что дед его, как ему говорили, «убивал людей сотнями», или в том, что негр Помп погиб, пытаясь убить человека. Ничего жуткого — потому что они были только духами, никогда не виданными во плоти, героическими, простыми и пылкими; отец же, которого он знал и боялся, — призраком, который никогда не умрет. «Поэтому, — думает

он, — неудивительно, что я перепрыгнул через поколение. Неудивительно, что у меня не было отца и что я уже умер однажды ночью, за двадцать лет до того, как появился на свет. И что единственное для меня спасение — вернуться умирать туда, где моя жизнь прекратилась раньше, чем началась».

Поступив в семинарию, он часто думал о том, как расскажет это им, старшим, возвышенным и освященным людям, решавшим судьбы церкви, которой он добровольно себя отдал. Как он пойдет к ним и скажет: «Слушайте. Господь должен призвать меня в Джефферсон, потому что там кончилась моя жизнь, была остановлена пулей, в седле, на скаку, ночью на джефферсонской улице, за двадцать лет до того, как зачалась». Первое время он думал, что сможет это сказать. Верил, что они поймут. Ведь он пришел к ним, избрал церковную стезю — ради этой цели. Но этим вера его не исчерпывалась. Он верил и в церковь, во все, что от нее ветвилось и ею пробуждалось. Верил со спокойной радостью, что если есть на свете убежище, то это церковь; что если правда может жить нагой, без стыда и боязни, то — в семинарии. Когда он верил, что обрел призвание, его будущая жизнь пред-

ставлялась ему незыблемой, во всех отношениях совершенной и невозмутимой, подобно чистой классической вазе, такая жизнь, где дух может родиться сызнова, укрытый от житейских бурь, и так же умереть — в покое, под далекий шум бессильного ветра, расставшись лишь с горстью истлевшего праха. Вот что значило слово «семинария»: тихие и надежные стены, где стесненный покровами озабоченный дух вновь обучится безмятежности, чтобы без ужаса и тревоги созерцать свою наготу.

«Но в мире много есть того, что нашей правде и не снилось», — мысленно перефразирует он, не насмешливо, не шутливо, однако и не без насмешки, не без шутливости, — спокойно. В сгущающемся сумраке его забинтованная голова как будто растет, становясь все призрачней. «Не снилось», — повторяет он про себя и думает: для того, наверно, и дана человеку изобретательность, чтобы в переломные минуты он мог измыслить образы и звуки, которые оградят его от правды. В одной ошибке ему по крайней мере не пришлось раскаиваться — он не открылся старшим. Не проучившись и года, он понял, какая это будет глупость. Больше того, хуже того: поняв это, он не потерял, а, наоборот, приобрел

что-то, от чего-то спасся. И это приобретение окрасило сам лик и характер любви.

Она была дочерью одного из священников, преподавателей колледжа. И тоже — единственным ребенком, как он. Он сразу поверил, что она красавица, потому что слышал о ней еще до того, как ее увидел, а увидев — не разглядел за тем лицом, которое создал в своем воображении. Он не верил, чтобы она, прожив здесь всю жизнь, могла не быть прекрасной. Он разглядел ее лицо только через три года. К тому времени уже два года существовало дупло, где они оставляли друг другу записки. Если он и задумывался об этом, то думал, что идея возникла у них одновременно — не важно, кто первым на нее наткнулся, ее высказал. Но на самом деле идея шла не от нее и не от него, а от книги. Лица же ее он не видел вовсе. Не видел маленького овала, слишком резко сужавшегося к подбородку и омраченного недовольством (она была на год, два или три старше его, но он этого не знал и не узнал никогда). Не видел, что три года ее глаза наблюдают за ним, лихорадочно что-то рассчитывая, как глаза почти отчаявшегося игрока.

И вот однажды ночью он увидел ее, взглянул на нее. Неожиданно и грубо она заговорила

о женитьбе. Без всяких предисловий, ни с того ни с сего. Они никогда не касались этой темы. Женитьба ему и в голову не приходила — даже само слово. Он допускал брак, потому что большинство преподавателей были женаты. Но для него это было не освященной и живой физической близостью мужчины и женщины, а мертвым отношением, перенесенным на живых и существующим вместе с ними: как две тени, скованные тенью цепи. Он к этому привык: он рядом с духом вырос. И вот однажды вечером она заговорила — неожиданно, грубо. Когда он понял наконец, что она подразумевает под избавлением от своей нынешней жизни, он не удивился. Он был слишком простодушен.

— Избавиться? — сказал он. — От чего избавиться?

— От этого! — сказала она. Впервые он увидел ее лицо, как живое лицо, как маску, за которой таились жажда и ненависть: искаженное, незрячее, ошалелое от страсти. Не глупое: просто незрячее, отчаянное. — От всего! Всего! Всего!

Он не удивился. Он сразу поверил, что она права, а сам он не понимал этого по наивности. Он сразу поверил, что его представления о семинарии с самого начала были ложными. Не совсем

ложными, но ошибочными, неточными. Возможно, он и сам уже в них сомневался, только до сих пор этого не сознавал. Возможно, поэтому он и не сказал старшим, почему должен поехать в Джефферсон. Ей он еще год назад сказал, почему хочет, должен туда поехать и что намерен объяснить это им; она смотрела на него лихорадочным взглядом, которого он еще не замечал.

— По-твоему, — сказал он, — они меня не пустят? Не направят туда? Не сочтут это достаточным основанием?

— Конечно, нет, — ответила она.

— Но почему? Ведь это правда. Пусть глупая. Но правда. А для чего же церковь, как не для помощи тем, кто глуп, но хочет правды? Почему бы им меня не пустить?

— Будь я на их месте, я бы сама тебя не пустила, если бы ты привел такой довод.

— Да, — сказал он. — Понимаю. — Но, по существу, он не понимал, хотя верил, что она права, а он мог ошибаться. Поэтому через год, когда она вдруг заговорила с ним о женитьбе и избавлении в одних и тех же словах, он не удивился, не был уязвлен. Он лишь подумал спокойно: «Так вот она, любовь. Понимаю. Я и на этот счет ошибался», — думая, как думал прежде и будет думать

опять, как случается думать каждому человеку: до чего ложной оказывается самая глубокая книга, если ее приложить к жизни.

Он полностью переменился. Они решили пожениться. Теперь он понимал, что с самого начала видел в ее глазах этот лихорадочный расчет. «Пожалуй, они правы, помещая любовь в книги, — спокойно думал он. — Пожалуй, только там ей и место».

В глазах ее еще было лихорадочное выражение, но теперь, когда планы определились и день был назначен, оно смягчилось, возобладал расчет. Теперь речь шла о том, как получить вызов в Джефферсон. «Надо взяться за дело немедленно», — сказала она. Он ответил ей, что взялся за дело в четырехлетнем возрасте; возможно, это была просто шутка, легкомыслие. Она отмела ее со страстным нетерпением, которому юмор чужд, пропустила мимо ушей и заговорила, словно сама с собой, о людях, которых надо будет повидать, улестить или припугнуть, разворачивая перед ним целую кампанию интриг и унижений. Он слушал. Даже слабая улыбка — легкомысленная, насмешливая, а может быть, обескураженная — не сошла с его лица. Он вставлял в ее рассуждения:

— Да. Да. Ясно. Понимаю, — как будто говорил *Да. Понимаю. Теперь понимаю. Так это и делают, так и добиваются. Таковы правила. Теперь я понимаю*

Когда демагогия, унижения, мелкая ложь разбежались по церковной иерархии кругами новой мелкой лжи, а затем и угроз в форме запросов и советов и вызов в Джефферсон был получен, он поначалу забыл, каким путем его добился. Не вспоминал, покуда не обосновался в Джефферсоне, — и уж во всяком случае, на последнем этапе путешествия, когда поезд мчал его к цели жизни, по местам, схожим с теми, где он родился. Но выглядели они совсем по-другому — хотя он знал, что разница — не по ту, а по эту сторону вагонного окна, к которому он почти прильнул лицом, как ребенок; да и у жены, сидевшей позади, было написано на лице, кроме обычной жажды и отчаяния, еще и что-то вроде интереса. Они были женаты меньше полугода. Поженились сразу после того, как он окончил семинарию. С тех пор он ни разу не видел на ее лице ничем не прикрытого отчаяния. Но ни разу не видел и страсти. И опять он думал, спокойно, без особого удивления и, пожалуй, даже без обиды *Понимаю. Вот он каков. Брак. Да. Теперь я*

понимаю

Поезд мчался. Подавшись к окну, он глядел на убегавший назад ландшафт и говорил оживленным, по-детски счастливым голосом:

— Я давно бы мог поехать в Джефферсон, когда угодно. Но не поехал. Я мог поехать когда угодно. Ты знаешь, есть разница между случайностью в мирной жизни и на войне. Случайность на войне? Ах, это была просто отчаянность. Горстка солдат (он не был офицером, это, кажется, единственное, в чем сходились папа и старуха Цинтия: что дед не носил сабли, не размахивал саблей, когда скакал впереди) с жестоким мальчишеским легкомыслием затеяла такую лихую проделку, какой даже от них не ожидали войска, дравшиеся с ними четыре года. Проехать сотню миль по местам, где в каждой роще и деревеньке стоят биваком северяне, ворваться в гарнизонный город… я знаю саму улицу, по которой они въехали и выехали обратно. Я никогда ее не видел, но точно знаю, как она будет выглядеть. Я точно знаю, как будет выглядеть на этой улице дом, который мы купим и в котором будем жить. Не сразу, конечно. Сначала нам придется пожить в приходском доме. Но скоро — как только удастся… Выглянем в окно и увидим эту улицу и,

может быть, даже следы подков или самих людей очертания в воздухе, — ведь воздух остался прежний, даже если исчезла та пыль, та грязь… Голодные, худые, с криками поджигают склады запасов, тщательно подготовленных для целой кампании, и уносятся. Никакого грабежа: не берут даже обуви и табаку. Я тебе говорю, эти люди не искали добычи и славы; это были просто мальчики, подхваченные колоссальной волной отчаянного житья. Мальчишки. Вот ведь что. Вот что прекрасно. Слушай. Попытайся себе представить. В этом — образ вечной юности и чистой страсти, которая создает героев. Которая выводит деяния героев на самую грань вероятного — и неудивительно поэтому, что их деяния должны вспыхивать время от времени, как пламя выстрелов в пороховом дыму, что сама их физическая кончина становится тысячеустой молвой, прежде чем они испустят последний вздох, — дабы парадоксальная правда не опорочила самое себя. Вот что мне рассказывала Цинтия. И я верю. Я знаю. Это слишком прекрасно, чтобы усомниться. Слишком прекрасно, слишком просто, чтобы это мог выдумать белый. Это мог бы выдумать негр. И если Цинтия выдумала, я все равно верю. Потому что даже факт не устоит

перед этим. Не знаю, заблудился эскадрон деда или нет. Думаю, что нет. Думаю, они сделали это нарочно, как мальчишки, которые подожгли сарай врага и бегут, не прихватив даже щепки с крыши, засова с двери, и вдруг останавливаются, чтобы украсть несколько яблок у соседа, друга. Не забудь, они были голодные. Они три года голодали. Может быть, они к этому притерпелись. Во всяком случае, они только что предали огню тонны провианта, амуниции, табаку и спиртного, не взяв ничего, хотя приказа не грабить не было, и повернули восвояси; а фоном, задником — смятение и пламя, само небо, наверно, было охвачено огнем. Это прямо видишь, слышишь: гвалт, выстрелы, крики торжества и ужаса, топот копыт, деревья дыбятся в красном зареве, словно тоже застыв от ужаса, острые фронтоны домов — как зазубренный край рвущейся земли. А потом — место тесное: ощущаешь, слышишь во тьме, как осаживают разгоряченных лошадей, лязг оружия, громкий шепот, тяжелое дыхание, голоса еще звенят торжеством; позади проносятся вскачь остальные войска, горны трубят им сбор. Надо ощутить, услышать это, тогда увидишь. Увидишь до того, как треснет выстрел, короткую красную вспышку, и в ней — расширенные гла-

за, раздутые ноздри, закинутые морды потных лошадей, отблески на металле, худые белые лица живых пугал, позабывших, когда они ели досыта; возможно, некоторые уже спешились, возможно, кто-то уже влез в курятник. Все это ты видишь до того, как раздастся выстрел охотничьего ружья: и опять чернота. Всего один выстрел. «И ему, конечно, надо было угодить под пулю, — говорила Цинтия. — Кур воровал. Взрослый человек, сына оженил, пошел на войну северян убивать, а самого убили в курятнике, с пучком перьев в руке». Кур воровал. — Голос у него был высокий, по-детски восторженный. Жена уже схватила его за локоть: *Тсссс! Тсссс! На тебя смотрят!* Но он ее как будто не слышал. Его глаза, худое нездоровое лицо, казалось, излучали какой-то свет. — Вот именно. Они не знали, кто стрелял. Так и не узнали. Они не пытались выяснить. Это могла быть женщина, и вполне вероятно — жена конфедератского солдата. Мне хочется так думать. Это чудесно. Каждый солдат может быть убит в пылу сражения — оружием, одобренным повелителями и законодателями войны. Или — женщиной в спальне. Но — не из охотничьего ружья, не из дробовика, в курятнике. Так стоит ли удивляться, что этот мир населен

преимущественно мертвыми? Конечно, когда Бог глядит на их потомство, ему не претит делиться своим с нами.

— Тише! Тссс! На нас смотрят!

Поезд уже вкатывался в город; за окном проплывали убогие предместья. Он все еще глядел туда — худой, слегка неопрятный человек, чье лицо еще хранило непотускневший отблеск его призвания, назначения, — и, тихо огораживая, окружая, остерегая нетерпеливое сердце, тихо думал, что рай, несомненно, должен быть схож видом и цветом с той деревушкой, пригорком, домом, о которых верующий говорит: «Это мое родное». Поезд остановился: медленно по коридору, задерживаясь, чтобы еще и еще раз взглянуть в окно, и — вниз по ступенькам, навстречу степенным, важным, рассудительным лицам: шушуканье, обрывки фраз, голоса — любезные, но пока не выносящие суждения, еще не потеплевшие и (скажем прямо) готовые осуждать. «Я признал это, — размышляет он. — Должно быть, я пошел на это. Но ничего больше, наверно, не сделал, да простит меня Бог». Земля почти совсем потонула во мгле. Ночь уже почти наступила. Забинтованная голова его перед открытым окном лишена полноты, плотности; неподвижная,

она словно парит над двумя бледными кляксами рук, покоящихся на подоконнике. Он высовывается наружу. Он уже ощущает, как соприкоснутся сейчас два мгновения: одно, в котором — итог его жизни, обновлявшейся всякий раз на грани между тьмой и сумерками, и то остановившееся мгновение, из которого должно возникнуть *скоро.* Когда он был моложе, когда его сеть была еще слишком тонка, чтобы он мог ждать, он, случалось, обманывал себя в эту секунду и верил, что слышит их, хотя знал, что еще не пора.

«Быть может, я больше ничего и не делал в жизни, больше ничего не сделал», — думает он, думая о лицах: лицах стариков, конечно, не доверяющих его юности и ревнующих церковь, которую они отдавали в его руки почти так же, как отец выдает дочь; лицах, изборожденных простою совокупностью разочарований и сомнений, так часто представляющих собою оборотную сторону картины почтенных, но еще бодрых лет — сторону, между прочим, на которую модель, владелец картины вынужден смотреть, не может не смотреть. «Они свое сделали; они играли по правилам, — думает он. — Это я не справился, я преступил. Быть может, это — величайший общественный грех; да, быть

может — нравственный грех». Мысль катится тихо, спокойно, плавно, выливаясь в спокойные образы, в которых нет ни назойливости, ни укора; нет в них и особого раскаяния. Он видит себя смутной тенью среди теней — парадоксальной, в ложном своем оптимизме и эгоизме уверовавшей, будто в той части церкви, которая больше всех заблуждается, истребляя мечту, — среди слепых страстей, воздетых рук и громких голосов он обретет то, чего не нашел в неотмирном апофеозе церкви на земле. И кажется ему, что он понимал это всегда: что разрушают церковь не те, кто в ней и наобум ищут чего-то вовне, и не те, кто вовне и наобум ищут чего-то в ней, но профессионалы, которые управляют ею, которые вынули колокола из ее звонниц. Ему видятся эти колокольни, бесчисленные, разбросанные в беспорядке, символически пустые, унылые, устремленные к небу не со страстью, не с восторгом, но клятвенно, угрожающе, обреченно. И церкви земли видятся ему как крепостной вал, как усаженная мертвыми острыми кольями средневековая баррикада: против истины и против мира в человеческой жизни, которая состоит в том, чтобы грешить и быть прощенным.

«И я это принял, — думает он. — Я не противил-

ся. Нет, я поступил хуже: я служил ей. Служил, используя ее для того, чтобы потворствовать своему желанию. Я приехал сюда, где меня ждали лица, на которых была написана растерянность, жажда и рвение, — ждали, чтобы поверить; я их не видел. Где поднятые руки тянулись к тому, что они надеялись от меня получить; я их не видел. Я приехал сюда с одним обязательством, быть может, первейшим обязательством мужчины, которое я добровольно взял на себя перед Богом; это обязательство и забота так мало значили для меня, что я даже не подозревал, что связан ими. И если я так с ней обошелся, тогда чего мне было ждать? Чего мне было ждать, кроме позора и отчаяния, и мог ли Господь не отвернуться от меня со стыдом? Быть может, в тот момент, когда я открыл ей не только всю силу своей жажды, но и то, что она никогда, никогда не поможет мне ее утолить, — быть может, в этот момент я стал ее соблазнителем и ее убийцей, орудием и виновником ее позора и смерти. Должны же быть, в конце концов, такие случаи, когда человек не может взвалить всю вину и ответственность на Бога. Должны быть». Мысль начинает замедляться. Она замедляется, как колесо, въехавшее в песок, когда оси, колеснице, движущей ее силе

сопротивление еще не передалось.

Он словно видит себя среди лиц, всегда среди лиц, в кольце, в окружении, как будто видит себя на кафедре из задних рядов церкви или как будто он — рыба в аквариуме. Больше того: лица кажутся ему зеркалами, в которых он видит себя. Он знает их всех; он может прочесть в них свои поступки. В них отражается балаганная фигура — вроде скомороха, слегка ошалелого, шарлатана, который проповедует нечто худшее, чем ересь; с полным пренебрежением к тем, чьи подмостки он захватил, вместо распятого воплощения жалости и любви подсовывает развязного удальца, головореза, убитого из дробовика в мирном курятнике в минуту отдыха от привычных трудов — убийства. Колесо мысли замедляется; до оси это уже дошло, но самой колеснице еще не сообщилось.

Он видит, как на окруживших его лицах отражаются удивление, замешательство, потом гнев, потом страх, будто они заглянули за нелепое его скоморошество и увидели взирающий на него, а самому ему невидимый, последний и надмирный Лик, холодный и ужасный в своем бесстрастном всеведении. И он знает, что они видят больше этого: видят, как обязательство,

оказавшееся ему не по плечу, превращено в его наказание; теперь ему кажется, что он сам разговаривает с этим Ликом: «Наверно, я взял на себя больше, чем мог выполнить. Но разве это преступление? Должен ли я быть наказан за это? Должен ли отвечать за то, что было мне не по силам?» А Лик: «Ты принял ее не для того, чтобы выполнить обещание. Ты взял ее из корысти. Как средство быть вызванным в Джефферсон; не для моих целей, для своих собственных».

«Это правда? — думает он. — Неужели и вправду так было?» Опять видит себя в ту пору, когда открылся позор. Он вспоминает то, что было почувствовано раньше, чем родилось, — то, что он прятал от собственного сознания. Видит, как пытался откупиться, словно подачкой, собственной выдержкой, стойкостью и достоинством, делая вид, будто слагает с себя сан по-мученически, хотя в эту самую минуту сердце прыгало от радости отречения, которую выдало лицо, когда он, загородившись Псалтирем, считал себя в безопасности, а фотограф подловил его сбоку.

Он словно наблюдает за собой: как внимательно, терпеливо и ловко разыгрывает он свои карты, делая вид, будто безропотно смиряется с тем, чего на самом деле желал еще до поступле-

ния в семинарию, хотя не признается себе в этом желании даже теперь. И все бросает, бросает подачки, как гнилые яблоки перед гуртом свиней: делится с мемфисской исправительной колонией скудными доходами с отцовского капитала; позволяет себя травить, позволяет вытащить себя ночью из постели, уволочь в лес и бить палками и, не стыдясь, ублажая свое сладострастно-терпеливое ego мученика, колет городу глаза своей миной, видом, своим *Доколе, о Господи?* и только дома, за дверью, сладострастно ликуя, снимает личину *Ах. С этим покончено. Это позади. Это куплено и оплачено*

«Но я тогда был молод, — думает он. — Мне тоже приходилось делать не то, что я мог, а то, что умел». Теперь мысль движется чересчур тяжело, ему полагалось бы это понять и почувствовать. Но колесница все еще не ведает, к чему приближается. «И в конце концов, я же расплатился. Я купил этот дух, хотя заплатил за него своей жизнью. А кто смеет мне запретить? Человек имеет право губить себя, коль скоро не вредит другим, коль скоро живет собой и сам по себе…» Он вдруг останавливается. Замирает, перестает дышать от испуга, близкого к настоящему ужасу. Теперь он сознает, что по-

пал в песок; поняв это, он чувствует, как весь собирается внутри, словно для неимоверного усилия. Продвижение — все еще продвижение, но теперь новое неотличимо от только что пройденного: преодоленные пяди песка, налипшие на колеса, осыпаются с сухим шорохом, который еще раньше должен был бы послужить ему сигналом: «…открыл жене свою жажду, свое «я»… Орудие, принесшее ей позор и отчаяние…», и, хотя он даже не подумал этого, фраза возникает в черепной коробке целиком, позади глаз *Я не хочу так думать. Я не должен так думать. Я не смею так думать* Он сидит в окне, наклонившись над своими неподвижными ладонями, и начинает обливаться потом; пот выступает, как кровь, льется. Увязшее в песке колесо мысли выворачивается из этого мгновения с медленной неумолимостью средневекового орудия пытки, вздевая на себе выкрученные и раздробленные сочленения его духа, его жизни: «Если это так, если я — орудие, принесшее ей отчаяние и смерть, значит, я орудие кого-то другого. А я знаю, что пятьдесят лет я не был даже прахом: я был единственным мгновением темноты, в которой проскакал конь и грянул выстрел. И если я — свой дед в мгновение его смерти, тогда моя

жена, жена его внука… растлитель и убийца жены моего внука, раз я не позволял внуку ни жить, ни умереть…»

Колесо, освободившись, словно срывается вперед с протяжным, похожим на вздох звуком. Он сидит неподвижно, в холодном поту; пот течет и течет. Колесо продолжает вертеться. Теперь оно катится быстро и плавно, потому что освободилось от груза, от колесницы, от оси, от всего. В зыбком затишье августа, куда сейчас вступит ночь, оно одевается, обволакивается слабым свечением, похожим на ореол. Ореол полон лиц. Лица не отмечены страданием, не отмечены ничем — ни ужасом, ни болью, ни даже укоризной. Они покойны, словно обрели избавление в апофеозе; среди них и его лицо. В сущности, они все немного похожи — смесь всех лиц, которые ему когда-либо приходилось видеть. Но он отличает их друг от друга: лицо жены; прихожан, которые отвергли его, которые с нетерпением и готовностью встречали его в тот день на станции; Байрона Банча; роженицы; и человека, которого звали Кристмас. Только это лицо неясно. Оно вырисовывается туманнее всех остальных — словно в мирных уже судорогах более позднего и нерасторжимого слияния. Затем он понимает,

что это — два лица, которые как будто стремятся (но он знает, что стремятся или желают не сами по себе, а из-за движения и желания самого колеса) освободиться друг от друга, растаять и соединиться вновь. Но теперь он увидел — лицо другое, не Кристмаса. «Да ведь это… — думает он. — Я его видел недавно… Да ведь это… тот юноша. С черным пистолетом, как он называется… автоматическим. Тот, который… на кухне, где… убил… который стрелял…» И тут ему кажется, что какой-то последний адский поток внутри него прорвался и хлынул вон. Он будто наблюдает его, чувствуя, как сам отделяется от земли, становится все легче, легче, опустошается, плывет. «Я умираю, — думает он. — Надо молиться. Надо попробовать». Но не молится. Не пробует. «Когда все небо, вся высь полна напрасных, неуслышанных криков всех живых, что жили на земле — и до сих пор вопиют, как заблудившиеся дети, среди холодных и ужасных звезд… Я желал такой малости. Я просил такой малости. Казалось бы» Колесо вращается. Оно вертится стремительно, пропадая, не двигаясь с места, словно раскрученное этим последним потоком, который вырвался из него, опустошив его тело, — и теперь, сделавшись легче забытого

листа, ничтожнее плавучего сора, опростанное и застывшее, оно сникло в окне, опустив на подоконник, лишенный плотности, руки, лишенные веса: настала пора для «Пора».

Они словно только и дожидались, когда он соберется с силами, чтобы вздохнуть, когда соберет последние остатки чести, гордости и жизни, чтобы подтвердить свое торжество и желание. Он слышит, как над сердцем нарастает гром, дробный и несметный. Как протяжный вздох ветра в древесных кронах, начинается этот гром, а затем вылетают они, теперь — на облаке призрачной пыли. Проносятся мимо, подавшись вперед в седлах, потрясая оружием, а над ними на жадно склоненных пиках трепещут ленты; бурля, с беззвучным гамом они прокатываются мимо, как вал, чей гребень усажен оскаленными лошадиными мордами и грозным оружием людей, словно выброшенные жерлом взорвавшегося мира. Они проносятся мимо и пропадают; пыль взвивается к небу, всасываясь в темноту, тая в ночи, которая уже наступила. Но он все сидит в окне, приникнув огромной и плоской головой в повязке к двум пятнам рук на подоконнике, и, кажется, все еще слышит их: дикое пение горнов, лязг сабель и замирающий гром копыт.

21

В восточной части штата живет человек, который занимается починкой и перепродажей мебели; недавно он ездил в Теннесси за старой мебелью, купленной по переписке. Поехал он на своем грузовике, и поскольку машина (это фургон с дверью в задней стенке) еще только обкатывалась, он не хотел ее гнать быстрее пятнадцати миль в час и, чтобы не тратиться на гостиницы, взял с собой снаряжение для ночевок на открытом воздухе. Возвратившись домой, он рассказал жене об одном приключении, на его взгляд, достаточно забавном, чтобы о нем стоило рассказать. Возможно, он нашел это приключение интересным и решил, что сможет рассказать о нем интересно потому, что они с женой люди еще не старые, и вдобавок он отсутствовал дома (благодаря весьма умеренной скорости, которой счел нужным себя ограничить) больше недели. Речь шла о двух людях, пассажирах, которых он подобрал по дороге; он называет город в Миссисипи, недалеко от границы с Теннесси.

«Решил заправиться, подъезжаю к станции

и вижу, стоит на углу такая молоденькая, приятная с виду женщина — как будто ждет, чтобы кто-нибудь из проезжих предложил ее подвезти. Что-то в руках держит. Я сперва не заметил, что это такое, и парня не заметил, который с ней был, — покуда он не подошел и не заговорил со мной. Сперва я решил, что не заметил его, потому что он стоял отдельно. А потом вижу — это такой человек, что если он один на дне пустого бассейна будет сидеть, его и то не сразу заметишь. Подходит он, а я ему с места в карьер:

— Если вам в Мемфис нужно, то я не туда. Я еду через Джексон, Теннесси.

А он говорит:

— Прекрасно. Это бы нас устроило. Вы бы нас очень выручили.

Я говорю:

— А куда вы все-таки едете? — А он поглядел на меня, — вроде хочет быстренько что-нибудь выдумать, но, видно, врать не привык и знает, что вряд ли ему поверят. — Наверно, просто осматриваетесь? — говорю.

— Да, — говорит. — Вот именно. Просто путешествуем. Куда бы вы нас ни подвезли, все равно вы нас очень выручите.

Ну я и сказал ему, чтобы залезали.

— Надеюсь, вы меня не убьете и не ограбите. — Он пошел и привел ее. Тут я увидел, что на руках у ней ребенок, махонький, году нет. Он хотел было подсадить ее в кузов, а я говорю: — Отчего бы одному из вас в кабине не поехать? — Они поговорили немного, потом она залезла в кабину, а он пошел на заправочную станцию, вынес картонный чемодан — знаешь, такой, под кожу, — засунул в кузов и сам влез. И поехали — она в кабине, с ребенком на руках, и то и дело назад поглядывает, не выпал ли он там или еще чего.

Сперва я думал, они женаты. Да, в общем, и не думал ничего, только подивился, как это такая молодая статная девушка — и вдруг с ним сошлась. Ничего плохого в нем не было. Парень вроде хороший, работник, видно, — из тех, которые подолгу на месте держатся и прибавки не просят, покуда им разрешают работать. Вот такой примерно парень. Такой, что, кроме как на работе, он всегда где-то сбоку припека. Я себе представить не мог, чтобы кто-нибудь, какая-нибудь женщина запомнила, как спала с ним — не говоря уже о том, чтобы такое доказательство на руках имела».

И не стыдно тебе? спрашивает его жена. *Говорить такое женщине.* Они беседуют в темноте.

Я что-то не вижу, чтобы ты покраснела, говорит он. И продолжает:

«Я вообще об этом не думал, пока мы не остановились на ночевку. Она сидела со мной в кабине — ну, разговорились, как водится, и немного погодя узнаю, что пришли они из Алабамы. Она все говорила: «Мы пришли», и я, конечно, думал, что она — про того, который в кузове едет. И говорит, что они уже почти два месяца в дороге.

— Вашему мальцу, — говорю, — нет двух месяцев. Если я в цветах разбираюсь. — А она отвечает, что он родился три недели назад в Джефферсоне, и я говорю: — А-а, где нигера линчевали. Это, наверно, при вас еще было. — И тут она прикусила язык. Как будто он не велел ей про это разговаривать. Я понял, что он. Ну, едем дальше, а как смеркаться стало, я говорю: — Скоро будет город. Я в городе ночевать не останусь. Но если вы хотите завтра со мной ехать, я заеду за вами в гостиницу, часов в шесть, — а она сидит тихо, как будто ждет, что он скажет, и он немного погодя говорит:

— Я думаю — на что вам гостиница, когда в машине дом. — Я промолчал, а уже в город въезжаем, и он спрашивает: — А этот городок

порядочный или так себе?

— Не знаю, — говорю. — Но думаю, пансиончик какой-нибудь здесь найдется.

А он говорит:

— Интересно, нет ли тут лагеря для туристов? — Я молчу, и он объясняет: — Чтобы палатку снять. Гостиницы эти дорогие — особенно если людям ехать далеко. — А куда едут, так и не говорят. Как будто сами не знают, а так, смотрят, куда им удастся заехать. Но я еще этого не понимал. А вот что он от меня услышать хочет, понял — и что сам он у меня об этом не попросит. Как будто, если Бог положил мне сказать это, я скажу, а если Бог положил ему пойти в гостиницу и заплатить, может, целых три доллара за номер, он пойдет и заплатит. И я говорю:

— Что ж, ночь теплая. Если вы не боитесь москитов и на голых досках в машине спать…

А он говорит:

— Конечно. Это будет прекрасно. Это было бы очень прекрасно, если бы вы ей разрешили. — Тут я заметил, что он сказал *ей*. И начинаю замечать, что он какой-то чудной, напряженный, что ли. Такой у него вид, будто сам себя накрутить хочет на какое-то дело, которое сделать охота, но боязно. И боится вроде не того, что ему

худо будет, а вроде само дело такое, что он бы скорее умер, чем на него решился, если бы всех остальных путей не перепробовал и в отчаяние не впал. А я еще ничего не знаю. Никак в толк не возьму, что у них там за история. И если бы не ночевка с этими приключениями, я, думаю, так бы и расстался с ними в Джексоне, ничего не узнавши».

А что он сделать-то хотел? говорит жена.

Подожди, дойдет черед и до этого. Может, я тебе даже покажу. Он продолжает:

«Остановились мы у магазина. Я еще затормозить не успел, а он уже спрыгнул. Как будто боялся, что я его обгоню, а сам сияет прямо — как мальчишка, когда ему пообещаешь что-то сделать, и он торопится что-то сделать для тебя, пока ты не передумал. Рысцой забежал в магазин и возвращается со свертками, выше головы нагрузился — и я про себя говорю: «Э, брат. Ты, я вижу, совсем решил поселиться в машине и хозяйством обзавестись». Поехали дальше и скоро нашли подходящее место, я съехал с дороги, под деревья, а он выскакивает, бежит к дверце и помогает ей слезть, да так, как будто они с мальцом стеклянные. А лицо у самого все такое же, как будто он уже почти решился — не знаю,

на что он там решился с отчаяния, — если только я или она чем-нибудь раньше не помешаем и если она по его лицу не поймет, что он с отчаяния на что-то решился. А на что — я и тогда еще не знал».

А на что все-таки? говорит жена.

Я же тебе только что показал. Пора, что ли, второй раз показывать?

Я, пожалуй, обойдусь. Но все-таки не понимаю, что тут смешного. И как он умудрился столько трудов и времени на это потратить?

А потому что они были не женаты, говорит муж. *И ребенок-то был не его. Только я этого не знал. Я это только ночью понял, когда услышал их разговор у костра — они, наверно, думали, я не слышу. Это еще до того, как он совсем отчаялся. Но и тогда, думаю, отчаяния уже хватало. Просто решил попробовать в последний раз.* Он продолжает:

«И вот, значит, бегает он туда-сюда, ночлег устраивает, за все хватается, а с чего начать, не знает, — такая суматоха, что прямо на нервы действует. Велел ему дров для костра притащить, а сам взял свои одеяла и постелил в машине. И уже зло берет, что с ними связался и что спать теперь придется прямо на земле, ногами к костру,

без всякой подстилки. Так что вел себя, наверно, грубовато, ворчал; хожу, все налаживаю, а она сидит спиной к дереву, ребенка под шалью ужином кормит и все твердит, как ей совестно, что из-за нее такие неудобства, и хочет ночевать, сидя у костра, — она, мол, ни капельки не устала, целый день только ехала и ничего не делала. Потом он вернулся и волочит столько дров, что хватило бы быка зажарить, она ему что-то сказала, и он пошел, вынес из машины чемодан и достает оттуда одеяло. И началась у нас петрушка. Как у этой пары из комиксов, у этих двух французов, которые все кланяются и расшаркиваются, друг друга вперед пропускают, — вот и мы так, делали вид, будто для того из дому уехали, чтобы дорваться на земле поспать, и каждый норовит разлечься побыстрей да поосновательней. У меня так и просилось на язык: «Ну ладно. Если хочешь спать на земле — валяй. Лично мне это нужно знаешь как?» Но все-таки, можно сказать, моя взяла. Вернее — наша взяла. Кончилось тем, что он постелил их одеяло в машине — как будто мы с самого начала не знали, что так и будет, — а мое мы расстелили у костра. Он-то по крайней мере, думаю, с самого начала знал, что так и будет. Если они действительно из самой Алабамы шли,

как он говорил. Иначе зачем он столько дров натащил, если всего-то надо было кофе сварить да подогреть консервы. Потом мы поели, а потом я все узнал».

Что узнал — что он сделать хотел?

Нет пока еще. Вижу, у нее терпения было побольше, чем у тебя. Он продолжает:

«Значит, поели мы, и улегся я на одеяло. Устал; вытянуться было приятно. И подслушивать их или там делать вид, что сплю, я не собирался. А потом, они же сами попросили их подвезти, я их к себе в машину не заманивал. И если им захотелось поговорить при чужом, не отойдя в сторонку, — это их дело. Так мне и пришлось узнать, что они за кем-то охотятся — не то ловят его, не то ищут. Вернее сказать — она. И тут я говорю про себя: «А-а. Вот вам еще одна девица, которая решила в субботу ночью узнать то, про что мама, воскресенья дождавшись, у священника спрашивала». Имени его они не называли. И не знали, куда он от них сбежал. И я так понял, что если бы они знали, куда он направился, то его бы вины тут не было — этого, который бежал. Это я быстро понял. И вот, слышу, он ей толкует, что они так могут ездить из штата в штат, пересаживаться с грузовика на грузовик

до конца дней и следов его не найдут, а она сидит себе с ребенком на бревне и слушает — тихо и вежливо, как каменная, и видно, уговорить ее или расшевелить — примерно так же просто. «Да, брат, — говорю я себе, — что она в голове, в кабине ехала, а ты в кузове сидел, на улицу сзади ноги свесив, — так порядок этот, видно, не сегодня у вас заведен». Но ничего, конечно, не сказал. Лежу, а они разговаривают — вернее, он разговаривает, негромко. И о женитьбе даже не поминает. Но говорил-то он, конечно, о ней самой, — а она себе слушает спокойно, как будто слышала уже не раз, и знает, что ей даже утруждаться не надо отвечать ему да или нет. И улыбается потихоньку. Только он этого не видел.

Потом он как будто сдался. Встал с бревна и ушел. Но лицо его я видел, когда он повернулся, — и понял, что сдаваться он даже не думает. Он просто сделал последнюю попытку и теперь до такого отчаяния себя накрутил, что готов был всем рискнуть. Так и хотелось ему сказать, что сейчас он решился на то, что надо было первым долгом сделать. Но, видно, у него были свои резоны. В общем, ушел в темноту, а она на месте сидит, лицо опустила и все еще потихоньку улы-

бается. И вслед ему даже не поглядела. Наверно, поняла, что ему хочется одному побыть и накрутить себя на то, что она ему, может, с самого начала советовала, только не словами — даме это, ясное дело, неудобно; даже такой даме, у которой семья завелась в субботу ночью.

Но скорее дело было и не в этом. А может, ей место или время показалось неподходящим, не говоря уже о зрителях. Словом, встала она немного погодя, посмотрела на меня — я, конечно, не шевелился — и влезла в машину, а немного погодя слышу, все там затихло — значит, спать улеглась. А я лежу — сна уже ни в одном глазу, — и довольно эдак долго. Но чувствую, он где-то близко — ждет, наверно, когда костер потухнет или когда я усну покрепче. И точно, только костер потух, слышу — подходит, тихо, как мышь, стал надо мной, смотрит сверху и слушает. Я — ни звука; не помню, может, всхрапнул ради него разик-другой. Короче говоря, направляется к машине, да так, как будто по яйцам ступает, а я лежу, смотрю на него и думаю про себя: «Эх, брат, если бы ты сделал это прошлой ночью, ты бы ночевал сегодня на шестьдесят миль южнее. А если бы позапрошлой ночью, я бы вас и вовсе не повстречал». И тут я немного забеспокоился.

Не оттого забеспокоился, что он с ней может что-то сделать, чего она не хочет. По правде говоря, болел-то я за мужичонку. То-то и оно. Я не знал, как мне поступить, когда она закричит. Я знал, что она закричит, а если я вскочу и побегу к машине, это его спугнет, а если не побегу, он сообразит, что я не спал и следил за ним все время, и это его еще скорей спугнет. Только зря я беспокоился. Я мог бы это сразу понять, как только их увидел».

Я чувствую, ты и так не беспокоился, потому что знал уже, как она поведет себя в таком случае говорит жена.

Точно соглашается муж. *Я не хотел, чтобы ты сама про это догадалась. Да-а. Я думал, что на этот раз хорошо запутал следы.*

Ну, рассказывай. Что вышло?

А что может выйти с такой здоровой, рослой девушкой, когда ее не предупредили, что это всего-навсего он, а несчастный мужичонка и без того уже расплакаться готов, все равно как второй ребеночек? Он продолжает:

«Никакого крика не было, ничего. Я только видел, как он влез потихоньку в кузов и пропал, потом — наверно, до пятнадцати можно было медленно досчитать — ничего, потом слышу,

такой вроде возглас удивленный — проснулась, значит, но только удивилась и недовольна слегка, но не испугалась нисколько — и негромко так говорит:

— Ай-ай-ай, мистер Банч. Как вам не совестно. Так ведь можно и ребенка разбудить. — И сам он из задней двери появился. Не быстро и совсем даже не своим ходом. Плюнь мне в глаза, если мне не показалось, что она подняла его и спустила обратно на землю, как этого ребеночка, если бы ему было, ну так, лет шесть, — и говорит: — Подите, ляжьте, поспите. Завтра нам опять ехать.

А мне прямо глядеть на него стыдно, — не дай Бог узнает, что хоть одна живая душа видела или слышала, какая у него вышла осечка. Плюнь мне в глаза, если мне вместе с ним не хотелось провалиться сквозь землю. Правда, я к земле ближе был. А он стоит там, как она его поставила. Костер уж совсем догорел, и я его еле вижу. Но знаю, как я бы там стоял и чувствовал себя на его месте. Голову бы опустил, как будто Судья сейчас скажет: «Введите его и поскорее повесьте». Но лежу — и ни звука, и чуть погодя слышу, он уходит. Слышу, кусты затрещали, как будто бросился напролом, очертя голову. Потом рассвело, а его все нету.

Ну, я ничего не сказал. Что тут скажешь? Я все-таки надеялся, что он объявится — стыдно или не стыдно, но из кустов выйдет. Развел я костер, начал завтрак готовить и немного погодя слышу, вылезает из грузовика она. Я не оглядываюсь. Но слышу, стоит так, как будто озирается, как будто угадать хочет по костру или по одеялу моему, тут он или нет. Я — ни слова, и она — ни слова. Пора уже вроде собираться и ехать. Но, думаю, не бросать же ее посреди дороги. И еще думаю — услышала бы моя жена, что я разъезжаю с хорошенькой деревенской девушкой и младенцем трех недель от роду — пускай она и говорит, что мужа разыскивает. Или теперь уже — обоих мужей. Поели мы, значит, и я говорю:

— Ну, путь у меня не близкий — надо собираться. — А она ни слова не говорит. Я на нее поглядел и вижу, лицо у нее спокойное, как ни в чем не бывало. Плюнь мне в глаза, если она хотя бы удивилась или чего-нибудь. Ну и положеньице. Что с ней прикажешь делать — а она уже и вещи собрала, и кузов веткой вымела, и уж чемодан этот картонный там, и у задней стенки одеяло сложено в виде подушки; и я говорю про себя: «Неудивительно, что ты обходишься. Когда

они от тебя сбегают, ты просто подбираешь, что от них осталось, и идешь дальше».

Она говорит:

— Я, пожалуй, тут поеду, сзади.

— Малышу, — говорю, — будет тряско.

— А я его на руках подержу, — отвечает.

— Как хотите, — я говорю. И поехали, я из окошка высунулся, назад смотрю — все надеюсь, что он появится, пока мы за поворот не выехали. Нет как нет. Рассказывают про одного, которого поймали на вокзале с чужим ребенком. А у меня мало того, что ребенок чужой — еще и женщина, и в каждой машине, которая догоняет, мерещится свора мужей и жен, уж не говоря про шерифов. Мы уже подъезжали к границе Теннесси, и я решил — либо я этот новый мотор запорю, либо доберусь-таки до большого города, где найдется дамское благотворительное общество, чтобы ее туда сдать. А сам нет-нет да и оглянусь назад — вдруг он бежит за нами; а она сидит спокойненько, как в церкви, и ребенка держит таким манером, чтобы он и кушать мог и на ухабах не подскакивал. Нет, с ними тягаться бесполезно». Он лежит в постели и смеется. «Да, брат. Плюнь мне в глаза, если кто-то с ними может потягаться».

А что потом? Что она потом сделала?

А ничего. Сидит и едет и смотрит так, словно землю первый раз в жизни видит — дорогу, деревья, столбы телефонные. Она его и не видела, пока он к задней двери не подошел. Да ей и незачем было. Только ждать — и больше ничего. И она это знала

Его?

Ну да. Стоял на обочине, когда мы выехали за поворот. Стыдно не стыдно — а стоит, побитый, но упрямый — и спокойный притом, как будто накрутил и довел себя до последнего, последнее средство испробовал и знает теперь, что доводить себя больше не придется. Он продолжает:

«На меня он и не посмотрел. Я только затормозил, а он уже — бегом к задней двери, где она сидит. Обошел кузов и стал там, а она даже не удивилась.

— Я слишком далеко зашел, — он говорит. — И провалиться мне на этом месте, если я теперь отступлюсь. — А она смотрит на него, словно с самого начала знала, как он себя поведет, когда он сам об этом еще и не думал, — и, как бы он себя ни повел, всерьез это принимать не надо.

— А никто вам и не велел отступаться, — она го-

ворит». Он смеется, лежа в постели, смеется долго. «Да, брат. С женщиной тягаться бесполезно. Ведь знаешь, что я думаю? Я думаю, она просто каталась. По-моему, у ней и в мыслях не было догонять того, кого они искали. И никогда она, по-моему, догонять не собиралась — только ему еще не сказала. Я думаю, она это первый раз в жизни так далеко от дома ушла, чтоб засветло не успеть вернуться. И благополучно в такую даль забралась, а люди ей помогают. Вот она, я думаю, и решила еще немного покататься, белый свет посмотреть — знала, видно, что как осядет теперь, так уж — на всю жизнь. Вот что я думаю. Сидит себе сзади, и он там при ней, и малыш — он даже кушать не перестал, все десять миль так и завтракал, чем тебе не вагон-ресторан? — а сама на дорогу глядит, любуется, как столбы да изгороди назад бегут, словно это — цирковой парад. Немного погодя я говорю:

— А вот вам и Солсбери.

А она говорит:

— Что?

— Солсбери, — говорю, Теннесси. — Оглянулся и на лицо ее посмотрел, а она уже как будто приготовилась и ждет, когда ее удивят, и знает, что удивление будет приятное. И, видно, так оно

и случилось, как она ждала, и ей это подошло. Потому что она говорит:

— Ну и ну. Носит же человека по свету. Двух месяцев нет, как мы из Алабамы вышли, а уже — Теннесси».